

Я ложь, кот орая всегда говорит правду.
Жан Кокто

*Маре всегда рассказывает
с большой точностью.
Его память на подробности и связана с тем,
что он обостренно переживал те минуты,
кот орые остались у него в памяти.*
Жан Кокто

1

В Монтаржи Жан Кокто писал «Трудных родителей». Однажды к нам зашел Макс Жакоб. Он составил мой гороскоп: «*Вы — Лорензаччо**, бойт есь совершит ь убийст во», — написал он; и слова «*бойт есь совершит ь убийст во*» были дважды подчеркнуты синим карандашом.

* Герой одноименной пьесы Альфреда де Мюссе. — *Здесь и далее примеч. пер.*

В то время я думал, что он имел в виду мое амплуа в театре. Позднее я понял его правоту. Я был Лорензаччо, а синий карандаш спас меня от совершения убийства.

Этот поэт открыл мне смысл Лорензаччо в тот момент, когда я лишь недавно стал им. И все же с самого детства я бессознательно стремился к этому. Я следовал по пути, который не был моим. Мной управляла неудержимая сила, которую я считал кокетством. Желая нравиться, я старался скрыть свои недостатки и контролировать реакции. Как мне это удалось? Теперь мне это трудно объяснить. Я так старательно скрыл «чудовище» под множеством достоинств, собранных отовсюду, что оно кажется уснувшим, иногда — умершим. Я могу взглянуть в его глаза — ведь это мои глаза.

Несколько лет назад «Парижское издательство» попросило меня написать воспоминания. Я возразил, что еще слишком молод и к тому же не умею писать. Хотя и вышла моя книга «Мои признания», на четвертой стороне обложки можно было прочитать: «Я помог Жану Маре привести в порядок эти признания, собранные третьим лицом. Моя роль, следовательно, была слишком мала, чтобы я мог поставить свое имя под заглавием рядом с его именем. Но я проникся любовью к Жану Маре и еще больше восхищением: его чистотой, амбициями, желанием делать гораздо больше, чем просто нравиться... Известная газета иронически отозвалась о моей работе. Этим она отвечала на некоторые мои критические замечания, опубликованные в «Комба» и адресованные видному христианскому писателю, возглавляющему эту газету. Не вижу здесь никакой связи. Но поскольку это было сделано, скажите, чье сердце ближе к Богу, этого великого человека или Жана Маре?»

Подписано — Морис Клавель, кого я люблю и кем восхищаюсь.

Ложные положения, обман предшествовали моему рождению: Луиза Шнель, моя бабушка, была родом из Эльзаса. У нее было множество братьев и сестер. Из ее сестер я знал только трех — Евгению, Мадлен и Жозефину.

Луиза вышла замуж за Модеста Вассора, уехала в Париж и родила троих детей: Альбера, Мадлен и Мари-Алину.

Модест был игроком. Деньги улетучивались.

Жозефина вышла замуж за Анри Безона. Это был очаровательный человек, работающий, честный, вскоре он стал директором страховой компании «Ля Провиданс», в которой работал. У супругов не было детей. Жозефина и Анри вырастили Мари-Алину, младшую из детей Луизы. Мари-Алина стала называться Генриеттой, и вскоре мадемуазель Вассор превратилась в мадемуазель Безон: ложные положения начались.

Новоявленная Генриетта Безон вышла замуж за Альфреда Вилен-Маре, называвшего себя просто Альфред Маре. Альфред был студентом, будущим ветеринаром. Генриетта воспитывалась в монастыре, она хотела стать монахиней. Анри Безон уговорил ее выйти замуж. Вскоре он умер от диабета. Альфред увез Генриетту в Шербур, где обосновался. Тетя Жозефина переехала к ним. У Генриетты родились трое детей: Анри в 1909 году, Мадлен в 1911-м и я, Жан, 11 декабря 1913 года.

Ложное положение: моя мать отказалась меня видеть. Ее дочь Мадлен умерла за несколько дней до моего появления на свет; она хотела еще девочку. Я обманул ее надежды; я должен был исчезнуть.

Моя бабушка Луиза оставила мужа, чтобы жить вместе со своими сестрой и дочерью.

У меня сохранилось мало воспоминаний о Шербуре. Помню большой, немного грустный дом, стены, оклеенные обоями под сафьян, кузницу... В самом деле к дому примыкали кузница и двор, в котором мы с братом играли. И сейчас еще я ощущаю запах горелой кожи. В моей памяти сохранились лошадка-качалка, детский автомобиль, подарок крестного Эжена (он не был моим настоящим крестным, настоящим был мой брат). Перед домом площадь д'Иветт, казавшаяся мне, ребенку, огромной (нам запрещалось выходить на нее), гора Руль — небольшой серый холм, который в моем воображении был полон тайн. В памяти встают также осколки бутылок на плохоньком пляже, мой бархатный костюмчик темно-синего цвета с отложным воротником и весь сопутствующий церемониал: завивка волос щипцами, обожженные уши, тросточка, которую я ронял через каждые два метра...

А как забыть внушения мамы по дороге в кинематограф, когда мы отправлялись смотреть Пирл Уайт?

Тогда, конечно, и родилась моя мечта стать актером. Я был влюблен в великолепную блондинку Пирл Уайт. Множество моих кукол, носивших имя Пирл Уайт, служили мне партнершами, так же как и оловянные солдатики, для того чтобы разыгрывать эпизоды из «Тайн Нью-Йорка», которые я перекраивал соответственно размерам моей детской.

В Шербуре моя мать слыла «парижанкой». Ее косметика, даже очень легкая, поражала их. Ее платья, пошитые по последней моде, высокие каблуки, духи, даже то, что она заставляла детей принимать ванну, — все удивляло окружающих. Это, конечно, воспоминания не мои, а матери, которыми она делилась с братом и со мной.

С 1914 по 1918 год я переболел всеми болезнями, которые может подхватить ребенок: коклюш, корь, скарлатина, абсцессы в ушах, бронхит и, ко всему прочему, испанка. Этот грипп называли «испанский», чтобы не произносить слово «чума», которое могло всполошить людей. Врачи объявили меня безнадежным, к моим губам подносили зеркальце, чтобы узнать, дышу ли я еще. Мать потребовала, чтобы мне сделали какой-то укол.

— Это его убьет, — ответил врач.

— Раз он все равно должен умереть, я сделаю этот укол сама.

Она потребовала рецепт, врач дал ей его, и мать сделала мне укол.

Она взяла на себя всю ответственность. С 41° температура упала до 36°.

— Я убила его, — сказала мать, обливаясь слезами.

— Вы его спасли, — ответил врач.

Я рассказал этот эпизод, чтобы объяснить характер моей матери. Эта женщина страстно любила своих двоих детей.

Еще она рассказывала о чудовищной поездке из Шербура в Гавр, которую мы проделали вместе, чтобы посоветоваться со специалистом: я страдал абсцессами в ушах. Шла война, и достать машину было просто невыносимо,

Моя мать была одновременно строгой и справедливой, нежной и суровой, веселой и серьезной, элегантной и красивой, красивее Пирл Уайт. Что касается моего отца, я почти не знал его, поскольку он ушел на войну в 1914 году. Мне было пять лет,

когда он вернулся, В день его приезда я, по словам матери, сидел верхом на сенбернаре. «Отец хотел спустить тебя на землю, а ты сказал: «Кто этот здоровый дуралей, который мне мешает?» Он дал тебе пощечину. Тогда я решила уехать с тобой и твоим братом Анри. Моя тетя и твоя бабушка поехали с нами».

В день отъезда мать решила с блеском отпраздновать разрыв. Весь дом был ярко освещен. Ее отъезд превратился для меня в оперную феерию. Феерия продолжалась в вагоне-салоне поезда, увозившего нас в Париж.

Мой мнимый дядя, мой ненастоящий крестный, офицер, прикомандированный к морскому порту в Шербуре, занимался организацией президентских поездок. Благодаря ему мы бесплатно путешествовали в роскоши, которая существует сейчас, кажется, только для президентов Республики. Ехали все вместе: мать, бабушка, двоюродная бабушка, мой брат и я.

Для меня все это закончилось в комнатенке консьержки, мадам Бульмье: консьержка была подругой Берты Колло, а Берта Колло — подругой матери; подругой и ее козлом отпущения. Мама, бабушка и тетя Жозефина остановились в отеле до того времени, пока будет найден дом. Нас с братом поручили подруге Берте, которая, не имея у себя места для двоих, перепоручила меня консьержке. Я подружился с мадам Бульмье, с ее собакой по кличке Мальчик и влюбился в ее дочку Фернанду, которая была на девять лет старше меня. Я решил, что женюсь на ней, и был верен ей до пятнадцати лет. Я забыл о Робере, ее ровеснике; их обручение носило куда более серьезный характер, и это приводило меня в ярость. «Ну и пусть, — успокаивал я себя, — я женюсь на маме».

Мама навещала меня. Эти славные люди принимали ее с такой же теплотой и почтением, с каким крестьяне-роялисты встречали Марию-Антуанетту во время ее бегства в Варенн.

Мое восхищение и любовь к матери росли с каждым днем. Для меня не было ничего прекраснее, чудеснее этого блестящего, надушенного существа. Мать была нежной. Я любил обнимать ее, целовать ее белоснежную шею, аромат которой, смешанный с запахом пудры, потрясал меня. Я любил обнимать подол ее платья, из-под которого выглядывали маленькие ножки в кожаных туфельках под цвет платья.

Когда она уходила, мир рушился. Даже Фернанда не могла заставить меня улыбнуться.

Наконец мать приехала, чтобы забрать меня окончательно. Мысль о том, что я покину Фернанду, мадам Бульмье, Берту, ее сына Робера, вызвала поток слез. Но зато я уезжал с мамой, держа ее под руку, в такси! Мои слезы быстро высохли. Мы поедem на поезде! Вот это жизнь!

2

Мать сняла в Везине ужасный дом из грубого камня. Его башенка приводила меня в восторг. Бассейн в саду, величиной не более трех метров, окруженный декоративными скалами, казался мне огромным, как море. Замок! Мы живем в замке. Моя мать была принцессой. Жизнь постепенно налаживалась. Бабушки разделили между собой обязанности. Никаких слуг. Это было странно для замка Бога. Тетя Жозефина убирала первый этаж, стирала, готовила завтрак, ходила на рынок и присматривала за моим братом Анри, бабушке достались второй и третий этажи, обед, глажка белья, шитье и я.

С пяти до семи часов вечера они играли в жаке*. Для меня игра в жаке была сигналом, что уже недолго осталось ждать возвращения матери. Я жил этим ожиданием, продолжая играть, как обычно играют дети. Но с пяти до семи мои игры несколько менялись; сидя под большой скатертью в столовой или зимой на корточках перед камином, я погружался в мир, в который я один мог проникать. Там я встречался с друзьями и врагами, известными только мне. Так я оставался недвижим до того

момента, когда, казалось, тело мое стало настолько бесплотным, что, если я попытаюсь зажать запястье между большим и указательным пальцами, они соприкоснутся сквозь тело. Это было мучительное и одновременно блаженное чувство. В то же время я прислушивался к разговору, который велся за игрой. Я угадывал смутное беспокойство по поводу матери, и это беспокойство постепенно овладевало мной. Я не старался от него избавиться, наоборот, я держался до тех пор, пока оно становилось почти нестерпимым. Сидя под столом, я плакал и в то же время наблюдал за собой плачущим, И мои горькие слезы доставляли мне наслаждение.

* Настольная игра с костями и фишками.

Появлялась мама. Я слышал: «Как ты поздно! Мы так беспокоились. Зачем ты заставляешь нас так волноваться?» Тогда я появлялся из-под скатерти.

Это была ни с чем не сравнимая радость, праздник. И каждый вечер, когда мать возвращалась, я обнимал ее так, будто она, наподобие Пирл Уайт в «Тайнах Нью-Йорка», прошла через тысячу опасностей, преодолела непреодолимые препятствия, чтобы вернуться к нам.

Всякий раз, возвращаясь с кучей свертков в руках, мать создавала атмосферу Рождества. Иногда нам с братом разрешалось открывать пакеты. Какое великолепие! Десерты и ранние овощи, одежда для нас и двух наших милых старушек. Были еще и другие вещи, которые мать уносила в свою комнату. В ее комнате все было голубым: занавеси, кресла, ковры, покрывало, обои. Обивка на мебели 1900 года, подделка под стиль Людовика XV.

Мама спускалась ужинать. Моя принцесса была похожа на Золушку перед балом: старый пеньюар, дырявый, выцветший, весь в разноцветных заплатках. Ужин, всегда превосходный, состоял из одного блюда и множества десертов.

— Была у Эжена, сказала, что он должен сделать это для детей... (Эжен — мой ненастоящий крестный.)

Эта фраза навсегда врезалась мне в память. Мать рассказывала о событиях дня, вернее, о том, что она могла рассказать.

На почте:

— Мошенница!

— Что вы сказали?

Служащий высовывает голову из окошка и повторяет:

— Мошенница!

Я даю ему пощечину. Дело заканчивается комиссариатом. Эжен все уладил.

Или еще:

— Я опаздывала на поезд, бегу и налетаю на какого-то типа, который мне кричит: «Грязная шлюха!» Я ему ответила: «Шлюха — может быть, но не грязная».

— Мама, что такое шлюха?

Мама объясняет:

— Это такая птица, очень красивая и элегантная*.

— О? В таком случае ты должна быть довольна!

* Игра слов: la grue — 1) журавль; 2) шлюха (фр.).

Огромным счастьем было для меня спать в маминой кровати, как и для всех детей, я думаю. По-моему, ей это тоже нравилось. Но самой большой радостью для меня было получить допуск в ванную утром, перед ее уходом.

Эта ванная комната была единственной в своем роде. Она находилась напротив голубой комнаты, с другой стороны коридора, ведущего к тетинной комнате, над кабинетом, служившим нам иногда для занятий, но больше всего для хранения игрушек. Единственное окно ванной, до которого трудно было добраться из-за тесноты, выходило в сад. Огромный шкаф XIX века занимал очень много места. В его

ящиках можно было найти железные и картонные коробки, наполненные вуалетками, лоскутками, кусочками пемзы, заколками для волос, разного рода тесемками всех цветов и размеров, газетами для опробования температуры щипцов разной величины для завивки волос, купальными шапочками, краской для ресниц, пудрой и тысячу других вещей. Кроме того, он был забит разнообразными странными предметами: там находились таз, кувшин к которому был давно разбит, мыльницы всех видов с мылом разного цвета и разных сортов, палочки губной помады, стаканчики для чистки зубов, десятки использованных и новых зубных щеток, щетки для волос и т.д.

Посреди комнаты стоял круглый стол с керосинкой, от которого исходил чарующий запах: там постоянно подогревались чайники с водой, наготове стояли побелевшие от извести кастрюли. На газовой плитке, помещавшейся на деревянной этажерке, нагревались другие щипцы для завивки. Там была еще серая ванна без облицовки, на полу растрескавшийся, дырявый линолеум. На полинявших стенах на бесчисленных кнопках держались веревочки, к которым были прицеплены разномастные полотенца. От всего этогохлама шел странный запах — смесь керосиновой копоти, жженой бумаги и волос, пудры и духов фирмы Герлен. Да, я забыл про флаконы всех фирм и размеров. Еще я забыл упомянуть о больших этажерках, к которым гвоздями были приколочены старые занавески, скрывающие выцветшие купальные халаты.

Сидя под этими занавесками прямо на старом линолеуме, я присутствовал при волшебстве.

Мрачная ванная комната превращалась в лабораторию красоты. Это было моей великой привилегией, наполнявшей меня какой-то странной радостью.

Покончив с косметикой и прической, мать приступала к выбору украшений. Она превращалась в кумира — мне хотелось самому надеть ей серьги в уши, надеть колье, браслеты, кольца. Иногда мне разрешалось выбрать платье, и я был счастлив и горд, если с моим выбором соглашались. Наконец, наступал черед шляпы, вуалетки, перчаток.

Золушка была готова к балу. Я провожал ее до садовой калитки. Каждый ее уход был для меня потрясением. Она садилась в поезд на станции Пек. Это еще одна маленькая деталь, говорящая о ложности нашего положения, поскольку жили мы тогда в Везине.

Иногда мама брала нас с собой, обычно по четвергам. Для меня все было радостью: поездка на пригородном поезде, вокзал Сен-Лазар, такси и особенно кино!

Больше всего я любил фильмы ужасов и приключенческие; моими любимыми актерами были Пирл Уайт, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Нита Нальди. Но наивысшим счастьем для меня было сидеть рядом с матерью. Я был счастлив, и меня переполняла гордость из-за обращенных на нее взглядов — все головы поворачивались в ее сторону, когда она входила, — и ни капельки не ревновал.

Часто мы ходили в гости к моему мнимому крестному в его контору на вокзале Сен-Лазар, где он занимал теперь должность начальника.

Иногда наши посещения не имели никакой определенной цели; чаще они были вынужденными: нас силой приводили в комиссариат, например, когда моя героиня путешествовала без билета или отказывалась предъявить его по той простой причине, что у контролера не было белых перчаток; или еще потому, что мать дала пощечину какому-нибудь бедняге, настолько неудачливому, что ему же приходилось приносить ей свои извинения в присутствии комиссара.

Брат не находил себе места от смущения. А я ликовал. Мне казалось, что все права на стороне мамы; она не была похожа ни на одну другую мать. Почему? Потому, что моя мать была подругой Бога, может быть, его женой, может быть, его матерью... Его матерью... но тогда, может быть, я, ну, конечно же, я был Богом. Иначе почему бы я был я?

Я представлял себе, как вхожу в кинотеатр в будний день, но не в четверг; в зале, очевидно, никого нет, потому что меня не ждут; мысленно я даю пощечину кондуктору

в автобусе, и на мой взгляд, взгляд ребенка, возомнившего себя Богом, кондуктор неминуемо должен обратиться в пепел.

«Если бы ты был Богом, ты бы знал об этом, — говорил я себе. — А ты захотел устроить себе каникулы, прожив человеческую жизнь, и поставил условие — никто не должен тебе этого говорить. Это игра Бога; я забавляюсь, представляясь ребенком человека. Дата моего возвращения назначена заранее».

Меня приняли учиться экстерном в церковную школу в Везине, а брата — в коллеж Сен-Жермен-ан-Ле. Тетя Жозефина, усердно посещавшая церковь, пустила в ход интриги и добилась, чтобы я стал служкой. Я был там самым младшим, подстриженным под Жанну д'Арк. Эта должность нравилась мне в основном из-за одеяния, но мне казалось странным, что приходится прислуживать священнику, который, не подозревая этого, служил мне же, поскольку я был Богом.

Вскоре я понял, что однажды уже спускался на землю. Не удивительно, что мне захотелось закончить свою первую жизнь драмой. И в этот раз я, как всегда, отдал предпочтение историям с плохим концом и фильмам ужасов.

Мои родные не любили, когда я приводил в дом сверстников. Посещения дяди Эжена (моего ненастоящего крестного) становились все более редкими. Зато время от времени приходил другой человек, ненастоящий дядя по имени Жак де Баланси. Высокий, темноволосый, элегантный, он называл себя двоюродным братом Сен-Гранье. Когда его спрашивали, чем он занимается, он отвечал, как моя мать: «Делами». Был здесь еще один нюанс: во время его посещений я не имел права заходить в голубую комнату.

Приходила также Берта Колло с сыном и Фернандой Бульмье, моей «невестой» из Порт де Лиля. Мы играли в крокет, и в этой игре мать не имела равных. Она надевала не будничную бедную одежду, а очаровательное голубое платье, так называемое домашнее, обшито по подолу маленькими деревянными шариками, обтянутыми таким же атласом, как и платье.

Она любила устраивать розыгрыши. Чтобы испугать Берту, она переодевалась грабителем; чтобы поставить ее в затруднительное положение, наряжалась тетей Мадлен, прибывшей из Страсбура. Сама Берта тоже участвовала в этих проделках: она, например, позволяла привязать себя к соломенному матрацу и скатывалась на спине вниз по лестнице, ставшей аттракционной горкой, или давала отвезти себя в связанном виде на тачке до самого вокзала.

В своих проделках мать не знала никакой меры. Чего тут только не было: привидения, дождь в комнате Берты, устроенный с помощью шлангов для полива; покрашенное в желтый цвет белое белье Берты, которое она только что постирала. Бедная Берта дрожала, кричала, плакала, а мы смеялись, смеялись вовсю! Берта говорила: «Что она еще выкинет? Ноги моей здесь не будет!» Но всякий раз она возвращалась, ждала и надеялась.

Маленькая, тощая, почти уродливая, лицо в морщинах, с добрыми и нежными глазами, она обожала мою мать, которая была полной ее противоположностью. Мать дарила ей платья, шляпы, сумки, пояса, дешевые украшения. По-моему, она любила Берту столь же нежно, но развлекалась ею, как игрушкой. Иногда игры эти были довольно жестокими: однажды мать загримировала ее сына Робера под мертвеца и уложила в кровать Берты, оставив на ночном столике бутылку с надписью «яд».

Эти примеры оказались для меня пагубными. Я тоже хотел сыграть «свою» шутку. Как-то раз я проник в тетину комнату и отыскал ее драгоценности. Я отправился в беседку и молотком расколол все камни, весь жемчуг, затем положил расплюснутые оправы на прежнее место. Все решили, что я сделал это из мести, и даже через много лет, когда, будучи взрослым, я рассказывал эту историю в присутствии матери, она не хотела верить, что это была только шутка.

Вскоре мы переехали из Везине в Шату. Теперь мы жили под фамилией Морель. На мои вопросы мать отвечала, что нас разыскивает отец и нам необходимо скрываться. Смена фамилии, местожительства — все приводило меня в восторг. Я

совсем не сожалел о башенке и бассейне. К тому же меня отдали на полупансион в Сен-Жерменский коллеж, где учился мой брат. Я становился взрослым.

Дом в Шату был менее уродлив, но оригинальностью не отличался. Квадратный, подделка под стиль Людовика XIII, окруженный садом. Внутри были гостиная, столовая, где мы чаще всего находились, кухня, небольшой кабинет. На втором этаже, у входа на лестницу, была комната бабушки; рядом — комната мамы, неизменно голубая. Напротив — ванная, затем комната тети. На третьем этаже — наша с братом комната (теперь мы спали в одной постели). Два чердачных помещения, маленькое и большое. Та же мебель, те же обои, что и в предыдущем доме; те же уходы утром, те же возвращения, сопровождающиеся привычными волнениями.

Кроме нас, появились еще двое — черный кот и немецкая овчарка по кличке Каргэ.

Мать была суровой, но справедливой.

Мы с братом не понимали, кого из нас она любит больше.

Она научила нас побеждать страх. Мы оба, Анри и я, действительно были трусливыми. Я боялся спускаться в погреб. Бывало, я ревел от страха, когда скрипел пол на чердаке над нашей спальней. Прежде чем лечь спать, мы заглядывали под кровать, в шкафы, боясь, что там кто-то прячется.

Мать научила нас быть справедливыми и мужественными: не стонать от раны, сохранять невозмутимость даже при жестоком обращении, например при прикладывании припарок, с помощью которых она боролась с нашими бронхитами. Наконец, не выдавать другого, дать наказать себя по ошибке, не назвав настоящего виновного. Случалось, что я недостойно пользовался этим: когда меня наказывали в коллеже, я утверждал, что это вместо товарища. В эту ложь не всегда верили, но мать делала вид, что верит. Я не часто прибегал к этому средству, только в самых серьезных случаях. Мать учила нас быть солидарными. Если брата лишали десерта, я должен был отдать ему половину своего, и наоборот.

Не знающий страха, подлости, не боящийся боли, я был главарем банды, о котором можно было только мечтать. Я стал им в коллеже. Настоящее «маленькое чудовище» с лицом ангела. Я врал, воровал, воровал все, что попадалось на глаза, и везде. Из карманов, из портфелей, из столов, в раздевалках. Даже из сумок бабушки и тети. Из сумок матери никогда. Чаще всего украденные вещи были мне не нужны, и я выбрасывал их, чтобы избежать расспросов дома.

Однажды, украв коробку с красками, не нужную мне, поскольку я не рисовал, я начал рисовать.

Я организовывал банды и возглавлял их. Я платил своим наемникам лакрицей, леденцами и другими товарами, которые покупал у привратника коллежа. Я тратил на это огромные суммы, которые черпал, в основном, из тетиной сумки, почти всегда висевшей на вешалке при входе в столовую. Проходя мимо, я запускал руку в сумку и брал одну купюру. Я никогда заранее не знал, что вытащу. Это была своего рода лотерея. Увы! Когда там бывало мало денег, тетя замечала пропажу. Опасаясь, что вором может оказаться мой брат, она молчала. Анри был ее любимцем, тогда как я был любимцем бабушки. Тетя просто прятала сумку. Мы всегда находили ее. Я говорю «мы», потому что узнал, что Анри действовал так же. Не зная, куда еще ее спрятать, тетя положила ее в кухонную плиту. Она забыла о ней и сожгла сумку вместе с деньгами.

Тетя была «богатой» родственницей, бабушка — бедной. Будучи рантье, тетя работала по дому, как служанка.

Мать приносила деньги, которые получала от своих «дел». Судя по нашей одежде, игрушкам, платьям, мехам, драгоценностям моей матери, мы, казалось, жили в достатке. И в то же время не было никаких слуг, никаких гостей, приходили только старые друзья, о которых я уже говорил.

Учился я плохо. Меня забрали из коллежа Сен-Жермен и поместили в лицей «Кондорсе»*. Каждый день я ездил на поезде в Париж. Здесь я встретил свою третью

любовь. Я забыл рассказать о второй. Первой была Фернанда, второй — дочь сторожа газового завода, расположенного неподалеку от нашего дома в Везине. Она была на два года старше меня и звалась Кармен.

* Бывший монастырь, с 1804 г. один из известнейших парижских лицеев.

Третью мою любовь, из поезда, тоже звали Кармен. Мне было двенадцать лет, ей — пятнадцать. Я был робким влюбленным — осмеливался только прижиматься к ней, когда в вагоне было полно народу, сопровождать ее или писать записки, которые я засовывал ей в сумку. Однажды к нам домой пришли полицейские. Кармен арестовали на бульваре Клиши. Они разыскивали ее сутенера, нашли письмо с моим адресом. Они пришли меня арестовать. Меня показали. Наверное, они до сих пор смеются!

В «Кондорсе» я вел себя не лучше, чем в Сен-Жермене. У меня возникла гениальная идея завести два дневника: один с настоящими оценками, то есть с очень плохими, который я подписывал вместо родителей, другой — с оценками от 18 до 20, в котором я расписывался вместо преподавателей и который показывал матери.

Все шло прекрасно до того дня, когда меня отчислили за плохую учебу. Возмущенная мать решила устроить скандал.

Поскольку я не мог больше поступить ни в один лицей, раз меня выгнали из «Кондорсе», мой ненастоящий дядя Жак де Баланси достал справку, по которой он значился моим наставником и где утверждалось, что я никогда вообще не посещал школу!

Так я был определен на полный пансион в Жансон де Сайи в качестве наказания. На самом деле это было для меня наградой, ведь эта справка льстила моему самолюбию.

Единственное, что меня огорчало, это возможность видеть мать только по четвергам и воскресеньям. Мне исполнилось тринадцать лет. Поскольку я очень отстал, меня определили в шестой класс, где различные предметы вели разные учителя. В первый день я представился им под разными фамилиями. Разумеется, это очень скоро обнаружилось. Меня наказали, но я стал героем среди товарищей, потакавших лентяю и бузотеру. Среда Жансона, где учились дети богачей, была хорошей почвой для развития у меня патологического вранья и привычки обманывать.

Брат Анри остался в коллеже Сен-Жермен. Проверить мою ложь было невозможно. Для всех я был сыном очень богатых родителей, родственников Кассаньяков, то есть потомственных аристократов. У нас четыре замка, десять автомобилей, множество слуг. Однажды мать, забравшая меня по четвергам, позвонила директору лицея, сообщив, что не может приехать за мной. Ее такси попало в аварию. Директор сказал мне об этом при всем классе: он произнес слово «автомобиль». Это разом подтверждало все мои истории, мои «испано», «делажи», «делаэ» и «вуазены»*.

* Названия марок автомобилей и самолета.

Я нисколько не волновался за мать. Мать Господа — неуязвима.

Я сочинил также, что она актриса. Меня спрашивали:

— Где она играет? Я отвечал:

— В «Комеди Франсез».

Я не знал ни одного актера этого театра и был уверен, что мои товарищи знали не больше моего.

Преподаватели и классные наставники очень любили меня и лишь того и желали, чтобы сделать своим любимцем. Но, став «любимчиком», я потерял бы уважение товарищей. Поэтому я бузил, как бешеный, чтобы отбить у преподавателей всякую симпатию к себе.

Однажды я доверился преподавателю французского языка, расспрашивавшему

меня с приветливостью, которую я принял за дружбу. Я признался ему, что хочу стать киноактером. На следующий день при всем классе он обратился ко мне:

— Месье Маре, пока вы еще не стали звездой...

Я встал и молча вышел. В течение года я ни разу не присутствовал на его уроках.

Время, отведенное на уроки французского языка, я проводил, играя в прятки с главным наставником. Я придумал игру. Она заключалась в том, чтобы учитель удалил меня и моих товарищей из класса и мы все вместе убегали от главного наставника, в обязанности которого входило следить, чтобы ученики не болтались по коридорам. Выгнанные из класса должны были находиться в дежурном помещении или множество раз переписывать заданные строчки, как в дни, когда их оставляли после уроков. Мы кричали классному наставнику «Эй, ты!», затем все разбегались по лестницам, дортуарам или туалетным комнатам, где курили сигареты. Я боялся только быть оставленным после уроков по четвергам и воскресеньям, так как в этом случае не смог бы видеться с матерью.

В один из четвергов вместо мамы за мной пришел мой ненастоящий дядя.

— Твоя мать в отъезде, она не хочет, чтобы ты лишился похода в кино, поэтому я ее заменяю, — сказал он.

Кино! Я любил кино, но только чтобы при этом рядом сидела мама и я держал ее руку в темноте зала.

— Она мне не говорила об этой поездке.

— Твоя мать еще вчера ничего не знала, она недолго будет в отъезде.

— А где она?

— В Босолей, на юге Франции.

Мне было тяжело. Я старался не показать Жаку своего огорчения. Она меня не предупредила. Впервые она не сдержала слова. Мать обожала нас с братом. Что заставило ее уехать? Я не знал ни одного родственника, кроме наших милых старушек.

— Она уехала по делам... Ну конечно же, по делам.

— Но чем же мама занимается? Она никогда не говорила мне об этом.

— Делами. Она посредница по продаже мехов.

Жак повел меня в кино, потом покормил и проводил обратно в Жансон.

Он был великолепен, нежнее, чем мог бы быть отец. В лицее ни единой весточки от матери. В субботу вечером за мной пришла тетя Жозефина. (Несколько дней спустя мне пришлось сказать, что это моя гувернантка, поскольку, на мой взгляд, милая старушка выглядела недостаточно представительной.) Я вел себя почти примерно, чтобы не попасть в карцер на случай приезда матери. Но дома не было даже письма!

Мне разрешили написать ей, тетя взялась сама отнести письмо на почту.

Воскресенье потеряло всякий смысл. Я был одинок, растерян. В Жансон я вернулся с тяжелым сердцем. Поведение мое было безупречным, так как я боялся, что меня накажут в четверг или в воскресенье, когда вернется мама.

Но в следующее воскресенье за мной опять пришел Жак.

— От мамы что-нибудь есть?

— Да, она чувствует себя хорошо, несмотря на небольшое повреждение руки, на которую наложили гипс. Она не может писать.

Обхватив руками мою голову, он нежно меня поцеловал. Я был благодарен ему за доброту и сочувствовал его горю, поскольку он также был лишен возможности видеть мать. После кино он повел меня перекусить в гостиницу «Терминюс» у вокзала Сен-Лазар, где была его штаб-квартира. Несколько его друзей играли в карты. Он представил меня: «Сын Маризы». Еще одно новое имя матери, которого я не знал!

Меня шумно приветствовали. Говорили, что я красив, «хорошенький, как девочка», как сказал Жак. На меня, желавшего прослыть в Жансоне мужественным, это замечание произвело странное впечатление. Я простил Жаку это, потому что все эти люди говорили о моей матери с восхищением и находили, что я на нее похож.

Жак проводил меня обратно в Жансон, нагруженного разнообразными

подарками: сладостями, цветными карандашами, авторучкой, пистолетом с пистонами, не считая карманных денег, которые давали мне возможность состязаться в щедрости с моими товарищами. Теперь я черпал средства из тетиной сумки только раз в неделю.

В тот вечер я не нашел фотографий матери и поднял скандал. Один из товарищей, протягивая их мне, сказал:

— Это твоя мать? Я думал, что это фотографии актрисы.

— Она актриса и моя мать.

Я рассердился на этого мальчика за то, что он нашел мою мать похожей на актрису! Я заснул, как всегда, с фотографиями матери под подушкой. Я плакал. Я частенько плакал, думая о ней.

В следующий четверг меня снова забрал Жак. Фильм с Пирл Уайт уже не шел. Он повел меня в кинотеатр на площади Мадлен смотреть «Бен-Гура». Я открыл для себя Рамона Новарро, которого с тех пор не переставал любить так сильно, что питал неприязнь к Чарльзу Хьюстону, сыгравшему эту роль тридцать лет спустя. Во время демонстрации фильма Жак часто посматривал на меня. Он говорил, что читает на моем лице все перипетии фильма.

Это был первый увиденный мною звуковой фильм. Я был потрясен. Жак сказал, что скоро все фильмы будут «говорящими». Я пришел в отчаяние и молил Бога, чтобы этого не произошло. Я хотел быть актером немом кино. И все, чему нас учили в лицее, кроме физкультуры и декламации, казалось мне ненужным для профессии актера.

Затем, как обычно, мы отправились в отель «Терминус». Но прежде чем сесть за стол, Жаку нужно было взять какие-то бумаги, которые он оставил у себя в номере. Я пошел с ним. В номере он поцеловал меня в лоб и усадил на кровать. Он не стал ничего искать в комнате и стоял спокойный, молчаливый, без тени смущения, слегка улыбаясь. Усадив меня, он не выпускал моей руки. Я смотрел на него в недоумении, в моих глазах застыл немой вопрос. Он поцеловал меня в волосы. Я решил, что ему нужно сказать мне что-то важное. Речь могла идти только о матери. Он все еще стоял, прижавшись лицом к моим волосам, и держал мою руку в своей. Это было бесконечно, невыносимо. Он осторожно согнул свою руку, и мои пальцы коснулись его. Его рука продолжала направлять мою, заставляя ласкать его. Теперь он смотрел на меня и, видел в моих глазах отсутствие всякого страха.. Я был только удивлен и заинтересован. На несколько мгновений он выпустил мою руку, затем снова взял ее. Ему уже почти не нужно было направлять ее, как вдруг она стала мокрой.

Он, как обычно, поцеловал меня в щеку, дружески похлопал по плечу, вышел в ванную и вернулся с полотенцем, чтобы вытереть мою руку, которую я все еще держал вытянутой, со смущенным видом. Он снова поцеловал меня.

— Ты ведь ничего не скажешь маме или кому-нибудь другому?

Я не ответил.

Вернувшись в Жансон в тот вечер, я не поцеловал фотографию матери. И не плакал, спрятавшись под одеяло.

3

Наконец, в субботу в приемной меня встретила мама, чтобы забрать домой. Она была прекраснее и элегантнее, чем всегда. На ее запястье не было следов перелома, оно было тонкое, благородное, как и ее руки. И множество пакетов. Дома — подарки для нас с братом.

На следующий день она играла с нами в жандармов и воров, в прятки, в крокет. Она была молода, прекрасна, беззаботна, словно ребенок. Она снова наряжалась: накладной нос, пенсне, вуалетки, старые платья тети Жозефины. Все смеялись, и она была счастлива!

Тяжело было возвращаться в лицей, хотя у меня там были хорошие товарищи.

Лучшие из них — Мальрэ и Гюйо, отец последнего выпускал карамели «Гюйо». Он дарил нам их целыми коробками. У меня был сюрприз для моих товарищей: настоящий револьвер, который я стащил у брата. Неизвестно почему, его называли «велосипедным пистолетом». Я же предпочитал называть его «револьвер». Это оружие было совершенно безобидным, поскольку внутри не было пуль. Но, когда мы говорили «настоящий револьвер», это нас опьяняло. Пистолеты с пистонами, производившие гораздо больший эффект в играх, казались нам смехотворными. Гюйо предложил мне в обмен на револьвер пятьдесят коробок карамели и что-то еще. В конце концов я согласился. Мы договорились, что я отдам ему револьвер, когда он сможет отдать мне конфеты.

В следующий понедельник все ребята из нашего дортуара отправились в душ. Мне нравилась атмосфера душевой: пар, очень своеобразный запах, тусклый зал, где каждый звук разносился гулко, как в пещере. Я всегда старался задержаться здесь подольше и одевался последним. Товарищи уже ушли, и я торопился, чтобы догнать их, когда один из классных наставников остановил меня:

— У тебя шнурок развязался.

Я наспех завязал шнурок и собирался уходить. Воспитатель чем-то напоминал Жака. Он легонько взял меня за ухо и сказал, улыбаясь: «Пойдем». Он держал меня за ухо осторожно, но крепко, так что любая попытка вырваться была напрасной. Он подвел меня к кабине душа и отдернул занавеску. Там стоял второй наставник, совершенно голый. Рассеянный свет не мог скрыть его неказистой внешности. Первый посмотрел на меня и рассмеялся. Второй был счастлив, видя мое удивление, которое он принял за восхищение. Я стал пунцовым...

Тот, что держал меня за ухо, взял с меня слово молчать и отпустил.

Я никому не рассказал о случившемся. Однако «маленькое чудовище» воспользовалось этим. Когда они дежурили, я свободно входил, выходил, курил, разговаривал, не получая ни одного замечания.

Однажды воспитатель отозвал меня в сторону:

— Маре, один из ваших товарищей вас выдал. Он сказал, что у вас есть настоящий револьвер. Боюсь, что он сказал об этом главному воспитателю. Если это так, дайте лучше мне ваше оружие, я верну его вам в субботу, когда вы пойдете домой.

Я решил, что это какой-то шантаж, и все отрицал. Потом рассказал об этом Гюйо.

— Обмен не состоится, — сказал я ему.

— Обмен все равно состоится, — ответил он. — Дай мне револьвер. Если тебя обыщут, ничего не найдут. А карамели я принесу в понедельник.

Я отдал ему револьвер.

Когда меня вызвали к главному воспитателю, я взял у товарища пистолет с пистонами.

— Маре, у вас есть настоящий револьвер?

— У меня есть только пистолет с пистонами. Я внушил остальным, что это настоящий.

— Дайте его мне.

Я отдал ему пистолет.

— Благодарю, возвращайтесь в класс. Но, если вы мне солгали, я буду вынужден выгнать вас из лица.

Немного позже меня вновь вызвали к главному воспитателю.

— Маре, вы мне солгали. Я показал вашему товарищу пистолет, который вы мне дали. Он утверждает, что это не тот. Вы играли во дворе не с игрушечным пистолетом, а с настоящим револьвером. Я требую, чтобы вы мне его отдали.

— У меня никогда не было настоящего револьвера.

Мне казалось, что я участвую в одном из тех фильмов, которые смотрел по четвергам. Я был Аль Капоне и вступил в поединок с полицией. Мне вдруг показалось, что на главном воспитателе парик и красная одежда. Я смотрел ему прямо в глаза.

— Маре, я допросил вашего лучшего друга Марле. Он мне все рассказал.

— Марле ничего не мог вам рассказать. У меня никогда не было револьвера.

— Ладно, можете идти.

Главный воспитатель вызвал Марле.

— Маре мне все рассказал. Дайте мне этот револьвер.

Марле поверил ему.

— Он не у меня, — сказал он, — а у Гьюо.

Из Жансона меня не выгнали — это был лицей, который дорожил своей репутацией. Но предупредили:

— Если вы не уйдете, мы будем вынуждены...

Я пробыл там еще несколько дней, пока дирекция лицея не потребовала от моих родственников, чтобы меня забрали.

В последние дни моего пребывания в лицее все было перевернуто вверх дном из-за отлета Нёнжесера и Коли* в Америку. Мы только тем и занимались, что передавали друг другу вырезки из газет, рассказывающие об этих героях. В ночь полета никто из наставников не мог загнать нас в дортуары. Класные воспитатели сами были возбуждены, они понимали и прощали наше поведение. Каждый из нас представлял себя Нёнжесером или Коли. На следующий день весь лицей отказывался верить в гибель столь исключительных личностей. Среди лицеистов царило всеобщее уныние. Мой отъезд прошел незамеченным. Меня снова поместили на полупансион в Сен-Жермен.

* Французские пилоты, пытавшиеся совершить беспосадочный перелет Париж — Нью-Йорк на самолете «Белая птица» и погибшие 8 мая 1927 г. над Атлантикой.

Я продолжал свои подвиги. Я даже перенес в этот лицей свою игру в прятки с главным воспитателем, но сохранял при этом необъяснимое чувство справедливости. Я разговаривал, кричал, чтобы меня выгнали из класса, пока однажды преподаватель английского языка не выгнал меня по ошибке. Я не сделал ничего предосудительного. Я отказался выйти. Этот преподаватель, кажется, в прошлом был боксером, в чем мне пришлось убедиться. Он поднял меня над полом, продержал так несколько секунд, затем поставил и толкнул к двери. Я стряхнул пыль с тех мест моего костюма, которых он коснулся. Бедняге кровь ударила в голову. Ударом кулака он свалил меня на пол. У меня пошла носом кровь. Я поднялся, подошел к нему и зло процедил: «Вы не имели права, вы будете уволены».

Вернувшись домой, я никому ничего не сказал. Я боялся материнского гнева.

Мать била нас редко. Но делала она это ручкой от метелки из перьев, твердой и гибкой, во всяком случае, это было болезненно. С тех пор как брат надел пять пар штанов одни на другие, чтобы обезопасить себя, она лупила нас по голому телу.

Я больше не считал себя Богом. Я был отвратителен, особенно вне дома.

Ленивый, тщеславный, высокомерный, раздражительный, амбициозный, вор до такой степени, что дирекция лицея вынуждена была заменить простые замки английскими, жестокий с бедными преподавателями и жалкими воспитателями, которые не заслуживали такого отношения. Например, я разбежался и на бегу подставлял себе подножку. Я летел под ноги воспитателю, тот падал на землю, поднимался весь в пыли, иногда в разорванной одежде, и он же спрашивал, не ушибся ли я, думая, что я упал случайно. Он удивлялся, видя, что мои товарищи смеются, и бранил их. Его звали Будуль. Он был славный человек.

В другой раз, когда мы поднимались по лестнице строем, исключительно для того, чтобы вызвать суматоху, смех и смутить преподавателя, я упал навзничь, притворившись, будто мне дурно. Это был мой первый трюк. Во мне рождался комедиант. Мне казалось, что мои товарищи восхищаются мною. Так ли это было? Не думаю. И все же на переменах школьный двор разделялся на два лагеря, которые сражались за право иметь меня своим главарем. В лагере победителей оказался студент из Афганистана по имени Абол, он был старше нас. Его отец был министром,

а он учился во Франции. Этот молодой человек добивался моей дружбы. По понедельникам он привозил мне подарки из Парижа, где у него была комната. Однажды он пригласил меня к себе. Здесь, в Париже, он вел себя совсем не так, как в коллеже. Он был нежным и ласковым, таким ласковым, что я сбежал. Однако на следующий день я, как обычно, принял его дружески. Его дружба мне льстила — я любил нравиться. Недостаток это или достоинство — желание нравиться? Это признание может вызвать у кого-то неодобрение, но оно сделано искренне и справедливости ради. В юности я придавал большое значение справедливости только по отношению к себе. Справедливость по отношению к другим занимала меня гораздо меньше. Оглядываясь назад, я понимаю, что сам был воплощением несправедливости. Каждый день рождаются калеки, больные, существа неразумные и бездарные. Другие — совершенно здоровые, красивые, одаренные. Скоро мы будем попрекать злого за то, что он злой, преступника — его преступлением. Может ли горбун распрямиться? Злой человек также не может стать добрым, разве только если обладает даром судить о себе и исправиться. Но эта сила дана ему еще до рождения, он не может приобрести ее, если у него нет этого дара.

Обедая однажды с профессором хирургии, я осмелился сказать ему (мы говорили об одном происшествии), что для меня не существует преступников — есть только больные. Он согласился со мной и объяснил, что, воздействуя на определенные точки мозга, можно изменить характер человека.

Ребенок, которым я был, хотел нравиться. Чтобы нравиться, он играл храбреца, скрывая страх. Он презирал трусливых товарищей и стремился сам избавиться от этого недостатка. Я начал с того, что стал спускаться в погреб нашего дома, который наводил на меня ужас. Ночью я забирался на неосвещенный чердак, прыгал с десятиметровой высоты в бассейн Пека, взбирался на крыши, стены, где без посторонних глаз заставлял себя двигаться, удерживая равновесие. Это одновременно помогло мне избавиться от головокружения.

Но больше всего я боялся выглядеть смешным. Один товарищ рассказал мне, что у него три машины и десять слуг. В нем я узнал себя. Он пускал пыль в глаза точно так же, как и я. Я нашел, что он смешон. Значит, и я был таким. С этого дня я решил говорить правду. Но начал я со «лжи наоборот». Свою буржуазную семью со скромными средствами я представил как бедную. Мне было больно, однако я испытывал определенное наслаждение.

С этого момента я стал бороться со всем, что было уродливым во мне. Не из соображений морали, а из кокетства, чтобы нравиться. Точно так же, как женщины используют косметику. Я думаю, что многие люди сделали бы невозможное, чтобы казаться красивее внешне, и что каждый может стать лучше нравственно.

Это было нелегко: «чудовище» сопротивлялось, брыкалось, проявляло себя. Кроме того, я терял свой ореол бузотера и грубияна. Меня провоцировали.

У меня был товарищ по имени Жермен, очень приятный и милый мальчик, незаметный и добрый, я ощущал его положительное влияние. Мы стали неразлучными. Сплетники поговаривали, что наша дружба особого свойства. «Чудовище» возвращалось и карало.

В другой раз я проучил одного парня, который заявил, что моя мать воровка. Пришлось применить силу, чтобы разнять нас. Тогда у меня возникло желание убить. Может быть, он хотел сказать, что я вор. Возможно, он начал эту фразу, чтобы закончить другой. Но не успел.

Впрочем, я больше не воровал. Я невольно излечился следующим образом. Мне захотелось иметь замшевую куртку. Однажды, когда я был в Париже, в четверг, я зашел в универмаг и стащил ее. Мне было страшно, до боли в животе.

Теперь мне стало понятным выражение представителей преступного мира: «Живот подвело от страха». Кроме того, я не мог выходить из дома в этой куртке, опасаясь расспросов родственников. Понадобилась хитрость индейцев сиу, чтобы носить ее. Я подарил куртку кому-то и больше не воровал.

Труднее было справиться с ленью. Но, несмотря ни на что, я сделал некоторые успехи: почувствовал вкус к учебе. Я начал интересоваться другими предметами, помимо декламации и физкультуры (по этим двум дисциплинам я всегда держал первенство). По декламации — из-за того, что появилось звуковое кино, по физкультуре — потому что у меня была хорошая мускулатура и потому что это было необходимо для моего ореола бузотера.

Дома мама не заметила перемены во мне, поскольку с ней «чудовище» становилось ангелом. К тому же ни тетя Жозефина, ни бабушка не рассказывали ей о кражах. Мой брат по-прежнему без стеснения черпал средства из черной, теперь уже залатанной, сумки.

Мама, как и раньше, возила нас каждый четверг в Париж. Мы делали покупки, примерки, затем шли в кино. Она никогда не брала билетов. Она показывала визитную карточку моего ненастоящего крестного, где сама написала: «Будьте добры предоставить места моей жене и детям... — и подписалась. — Эжен Удай».

Однажды в четверг, на третьей неделе поста, мама посадила нас, наряженных в маски, шляпы и перчатки, в такси. «Улица Одриетт», — сказала она шоферу. Она собиралась купить конфетти оптом, так как считала, что для нас было мало тех маленьких пакетиков, что продавались в магазинах. «Остановитесь здесь, — сказала мать на углу улицы Одриетт, — и подождите меня». Она оставила нас в такси. Подбежал полицейский.

— Проезжайте, — сказал он шоферу, — здесь стоять не разрешается.

— Вы останетесь здесь, — властно заявила мать шоферу, — плачу я, а не полиция. — И она ушла.

— О! — воскликнул сержант. — Ну и тупица! — И остался дожидаться возвращения матери, несомненно, для того, чтобы потребовать у неё документы.

Она вернулась, и, прежде чем полицейский успел открыть рот, я сообщил:

— Мама, он назвал тебя тупицей.

— Что?!

— Он назвал тебя тупицей.

Она дала ему пощечину.

В конце концов мы оказались в полицейском участке. Мать очень спокойна, а полицейский выкрикивает объяснения. Комиссар спрашивает у матери документы, и она протягивает ему визитную карточку моего ненастоящего крестного:

— Вот визитная карточка моего мужа.

Комиссар:

— Он должен был радоваться, что его ударила такая прелестная дама. Хотите, я вынесу ему выговор?

Мать великодушно:

— Нет, пусть он просто извинится.

Какой прекрасный день для «маленького чудовища»! Я разбрасывал конфетти в полном восторге. Мать тоже разбрасывала конфетти, она смеялась и играла о нами, будто ей было столько же лет, сколько и нам.

Как-то в четверг мы собирались в Париж. Мать была в ванной. Вдруг — звонок в садовую калитку. Суматоха. Тетя Жозефина мечется в полной растерянности. Мать, бабушка и тетя шушукуются. Нас удаляют. Тетя Жозефина возвращается к калитке, беседует с пришедшими, но не впускает их. Они ждут на улице. Тетя возвращается, разговаривает с мамой, роется в ящиках шкафа, затем поднимается на чердак и возвращается оттуда, нагруженная всяким старьем: платьями, шляпами и ботинками. Тем временем мать надевает карнавальный нос, гримируется, как для театрального спектакля: рисует морщины на лице, покрыв его слоем серой пудры, смывает краску с глаз, наклеивает густые черные брови, натягивает парик тети Жозефины, который мы называем «превращение». Затем надевает простые черные чулки, старые туфли без каблучков, поношенное платье почти до пола, такое же старое пальто, вышедшую из моды вуалетку, берет хозяйственную сумку и собирается уходить. Увидев мать в

таком наряде, я задыхаюсь от восторга:

— Берта приехала? Скажи, мама, Берта приехала?

— Да, я иду за ней на вокзал, представлюсь тетей Мадлен, — отвечает она со смехом.

— Вот будет весело. Ты потрясающе выглядишь, ты могла бы быть актрисой.

— Да, когда-то я хотела быть актрисой. Не выдавайте меня, будьте серьезными.

Мама ушла. Она была похожа на одну из наших родственниц или на какую-то странную прислугу или гувернантку у юре. Она спокойно прошла мимо мужчин, ожидавших около дома.

Мужчины долго ждали под дверью. Время от времени тетя выходила поговорить с ними. В конце концов, на исходе дня, она впустила их. Они зашли в дом, осмотрели его, потом ушли. В тот вечер мама не вернулась домой и Берта не пришла. Некоторое время мама отсутствовала.

Мой брат, ему исполнилось восемнадцать лет, ухаживал за девушкой из Везине, Симоной, к которой он меня иногда водил. У родителей Симоны был прекрасный дом, или он казался прекрасным моему восхищенному взгляду подростка. Мы играли у них, вместе ужинали. У Симоны было много братьев и сестер. Со мной она была очень приветлива. Это не нравилось Анри. По возвращении домой он задал мне взбучку и сказал, чтобы ноги моей больше не было в доме его подруги.

Но он мог не волноваться: я был влюблен в сестру одного из моих товарищей по Сен-Жермену, по фамилии Папийон. Его отец был по происхождению француз, мать англичанка, а сестра, Одетта, была просто прелесть. Они, как и я, жили в Шату, но в более шикарном доме. Одно было плохо — родные не разрешали мне приглашать их к себе.

Очень быстро я научил друзей своим играм, то есть разыгрыванию сцен из виденных мною фильмов. Мы репетировали любовные сцены. Замечательно было держать в объятиях девушку, а не мальчиков из коллежа. Поскольку мне не разрешалось ее целовать, возлюбленного играл ее брат. Я мог изображать только обманутого мужа. От ярости или от любви я горько плакал. Я имел глупость рассказать в коллеже о своих любовных историях: Кармен, Симона, Одетта. Увы! Это дошло до Папийона, мы поссорились, и я лишился права видаться с Одеттой.

Я снова встретился с Кармен, моей подругой с газового завода. Она выросла и стала очень красивой. Мне не нравился запах их комнаты: полукухни-полустоловой, где она меня принимала. Это была смесь жира и простокваши. Я повел ее в ближайший лес. Неожиданно она спросила, любил ли я уже кого-нибудь.

— Да, — ответил я, думая о другой Кармен и особенно об Одетте.

— Ты занимался любовью?

— Нет, — ответил я смущенно.

— А я — да, с рабочим завода. Ему двадцать лет, он красив и хорошо сложен. — И она в мельчайших подробностях рассказала мне об этом подвиге, расписав достоинства своего партнера. Кармен было шестнадцать лет, мне четырнадцать, и я боялся, что окажусь не таким «мускулистым», как двадцатилетний рабочий.

— Я научу тебя, — сказала она.

Я не стал брать уроки у Кармен. Я сбежал, сославшись на позднее время.

Больше я никогда ее не видел.

4

В один из вечеров мама повела меня в театр. Я уже не помню ни названия пьесы, ни фамилий главных исполнителей. Кажется, одну из «звезд» звали Лулу Эгобюрю. А может быть, так назывался спектакль: «Лулу и Гобюрю».

На сцене всего одна пара. Персонажей звали Розали и Шабишу. Может быть, эта оперетка называлась «Розали»? Я был очарован спектаклем и особенно Розали.

Когда мы вышли из театра, я крепко прижимал к себе маму, целовал ее и, как в пьесе, шептал ей:

— Ты любишь меня, моя Розали?

Чтобы поддержать игру, мама отвечала:

— Я люблю тебя, мой Шабишу.

С тех пор я не называл маму иначе, как Розали. Это имя она носила до конца жизни. Часто я напевал, подражая арии из оперетты:

Розали! Она ушла

Ее увидишь — верни ко мне...

— Ты фальшивишь! — кричала мама.

Пристыженный, я замолкал. Сама мама пела верно. Она также была прекрасной актрисой. Часто она пела дома. В маленькой гостиной в стиле Наполеона III, где мебель, черного цвета с инкрустацией из перламутра (я считал, да и сейчас считаю ее ужасной), представляла собой подделку под буль эпохи Людовика XIV, все было подобрано по цвету: занавеси, кресла, ковры, книжный шкаф того же стиля, запертый на ключ, чтобы мы с братом не прикасались к книгам с хорошими переплетами. А меня так привлекали тома Вальтера Скотта! В отместку я забирался на чердак, где стояли ящики с книгами, и читал все, что попадалось под руку. Однажды я наткнулся на странное название: *«Прелест и за поясом»*. Автором книги был, кажется, Судье де Моран. Позже я встретил этого врача, специализировавшегося в иглотерапии. Он лечил Жана Кокто, и Жан Кокто рассказал мне о его книге. Лучше бы мои родственники позволили мне портить переплеты Вальтера Скотта. В этой книге говорилось о половом воспитании маленьких китайцев, которых готовили для утех изощрённых взрослых. Конечно, я не рассказал о своей находке, тем более что мне не разрешали рыться на чердаке. Здесь я находил, как находят на всех чердаках мира, разнообразные предметы для своих игр: старые занавеси, ковры, лампы. Завладев всеми этими сокровищами, я украшал свою комнату. Я поочередно становился обойщиком, декоратором, столяром, портным. Одним из моих любимых занятий было создавать наряды.

Не найдя меня во дворе, тетя поднималась в мою комнату и заставляла меня среди моих находок.

— Кто тебе разрешил взять это?

Она звала мать, но та только смеялась, и мне позволяли превращаться в Зорро, в корсара или в Пирл Уайт.

Тетя рассердилась только тогда, когда я добрался до сундуков, в которых лежали ее платья, фантастические платья ее молодости. Там было и свадебное платье моей матери. Я надевал их одно за другим, изображая героинь прочитанных мною романов. Наконец мне все-таки пришлось положить на место тетины платья. Мама разрешила мне оставить свадебный наряд. Вскоре я сам стал мастерить платья и костюмы, которые считал достойными театра. Бабушка учила меня кроить и шить. Мне хотелось продемонстрировать свои наряды вне дома, и я стал просить разрешения ходить в них за покупками.

— Не можешь же ты идти в таком виде! — говорила тетя.

— Пусть идет, если это его развлекает, — возражала бабушка.

И я без всякого смущения отправлялся к булочнику, мяснику, к которым обычно ходил за покупками. Как я был счастлив, когда убеждался, что они меня не узнали!

Я даже хотел пойти в таком виде к кинорежиссерам, убежденный, что меня пригласят сниматься в кино. После заключения контракта я бы им сказал: «Так вот, я мужчина». А они бы ответили: «Вы великий актер!»

Конечно, нужно было обладать чрезвычайной наглостью, безрассудством и быть заядлым комедиантом, чтобы вести себя так. Когда мы ходили по воскресеньям к

мессе, приходилось пересекать всю церковь, чтобы добраться до своих мест. Этот переход был для меня настоящим испытанием. Мне хотелось убежать — так я робел. Я говорил себе, что я робок, считал себя застенчивым. На самом деле эта робость была не чем иным, как спесью. Наверное, эти люди на меня даже не смотрели, а я воображал, что они не могли заниматься ничем другим, как только глядеть на меня.

Месса наполняла меня радостью. Мать пела. Чистый, звонкий, хорошо поставленный голос, без всякой дрожи. Люди оборачивались, чтобы посмотреть на нее, я слышал шепот за спиной:

— Какой прекрасный голос!

— Немного театральный, — отвечала какая-то чопорная дама.

Выйдя из церкви, я бросался в объятия Розали. Я хотел, чтобы все знали, что это моя мать. Мы возвращались домой, как двое влюбленных. Тетя следовала за нами, неся покупки к обеду.

Однажды вечером мать, не предупредив меня, не вернулась домой. Я чувствовал, что бабушка, тетя и брат очень обеспокоены. На их лицах я читал какое-то отчаяние. Меня отправили спать. Но спать я не мог. Несколько раз я вставал, чтобы проверить, нет ли матери в спальне. Дверь ее комнаты была открыта, света в комнате не было. Я тихонько подошел к кровати, она была не разобрана. Я вернулся в свою комнату.

— Что ты делаешь?— спросил брат. Мы спали с ним на одной кровати. И добавил: — Она не вернется, она уехала.

Я заплакал. Почему она мне ничего не сказала? На следующий день родственники подтвердили мне это:

— Анри прав, твоя мать уехала.

Я сидел около переносной печки, моей «подруги», и плакал, уткнувшись носом в шерсть Каргэ, собаки, которая как будто понимала меня.

Четверг я проводил в стоявшей в саду хижине, раньше служившей гаражом для велосипедов. Я оборудовал хижину как маленький домик: старый матрац заменял кровать, я смастерил занавески, мебель в соответствии с размерами жилища, такого тесного, что, протянув руки, я мог коснуться его деревянных стен, а чтобы туда проникнуть, нужно было нагибаться. У меня была спиртовка, посуда, выигранная во время ярмарочного праздника. Я питался десертами, которые готовил из шоколадного порошка.

Сколько слез я пролил здесь! Когда я чувствовал, что кризис проходит, я находил способ вновь вызвать его, рассказывая какие-то заученные на память стихи или повторяя бессмысленные слова. Я становился великим актером, каким мечтал стать.

Обычно это заканчивалось любовной сценой, которую я разыгрывал сам с собой.

Потом я слышал голос тети, разыскивавшей меня. Я поспешно одевался.

— Ну что ты там делаешь целый день?

— Ничего, я играю.

Наконец письмо. Мне дают его.

— А что, конверта нет?

— Нет, письмо адресовано мне. Твоя мать вложила два письма а один конверт. Нет смысла платить за две марки,

Как я хотел получить письмо, адресованное лично мне, но тетя была скупа. Розали часто над ней подшучивала из-за этого. Я пошел читать письмо в свою хижину. Это было нежное письмо:

«...Внезапное и очень важное, а т акже совершенно неожиданное дело заст авило меня уехат ь. Дело очень сложное, нужно, чт обы я была здесь. Я буду от сут ст воват ь некот орое время. Будь умницей, учиь хорошо из любви к своей Розали, кот орая т ебя любит ... » и т . д.

Все это было подписано — М.Л. Вассор.

В ответ я написал отчаянное письмо, полное любви. Я спросил адрес.

— Дай мне твое письмо, я положу его в один конверт с моим,

Проклятая экономия! Как бы я был счастлив подписать конверт и отнести письмо на почту!

С каждым новым письмом приходило разочарование. Почему мать так долго отсутствует? Ведь со времени ее отъезда прошел уже год! Что от меня скрывают? Она уехала не с Жаком, поскольку он время от времени заходил к нам. Тетя и бабушка часто ездили в Париж, тогда как до отъезда Розали бывали там редко. Брат ушел из лица. Тетя нашла ему работу в «Ля Провиданс», страховой компании, где работал ее муж. Он должен был добиться там хорошего положения. Однажды он вернулся домой раньше обычного, бледный и расстроенный.

— У меня случился эпилептический припадок, — сказал он. Он хотел рассказать, как это случилось, но его начала бить дрожь, и он объяснил: — Я не буду рассказывать, потому что могу вызвать новый припадок. Я не хочу больше возвращаться в «Ля Провиданс», никогда, я просто не смогу...

Мы были потрясены. Его согрели, уложили в постель. Тетя, обожавшая его, спряталась, чтобы поплакать.

Мама скоро вернется, — сказал я с надеждой.

— Нет, твоя мать не вернется.

Тетя произнесла это резко, будто хотела заставить меня замолчать. Брат спустился обедать. За столом он неожиданно поставил стакан, из которого собирался пить, со словами:

— Я больше не смогу пить из стакана, именно тогда, когда я посмотрел на дно стакана, из которого собирался пить, это и началось.

Анри дрожал. Лицо его подергивала гримаса. Вставая, он уронил стул.

— Анри! Анри! — вскрикнула тетя.

Анри упал и начал кататься по полу. Казалось, он борется с невидимыми силами. Он бился головой о паркет, а тетя и бабушка старались удержать его, чтобы он не поранился о раскаленную печку. Наспех нацепив шляпу и пальто, тетя побежала за врачом. Я в ужасе забился в угол комнаты, повторяя:

— Анри! Анри!

Вскоре тетя вернулась с врачом, жившим неподалеку от нас.

— Это не эпилептический припадок, — сказал он, — у него не идет пена изо рта, это нервный припадок. При его рождении использовали щипцы?

— Да, — сказала тетя.

Врач прописал гарденал, который Анри предстояло принимать до конца своей жизни, отравленной вечным страхом перед приступом. Поздней приступы стали повторяться реже и наконец прошли совсем. Анри продолжал принимать свой гарденал. Мы считали, что он ему больше ни нужен. С согласия фармацевта мы заменили гарденал безвредным лекарством. У него снова начались припадки.

Я не в силах был понять, как мать могла не вернуться, зная, что брат болен. В поисках ответа тайком от моих милых старушек я перерыл весь дом. Я нарушил даже табу Розали — открыл ящики ее стола и шкафа. Содержимое я потом снова аккуратно клал на место, чтобы никто не заметил моих поисков. Приподняв постельное белье, я обнаружил барабанный револьвер. У моей матери был револьвер, как у Пирл Уайт. Я прикрыл зеркальную дверцу шкафа и увидел себя в зеркале с оружием в руках. Я прицелился в свое отражение, играя в самоубийство, приложил револьвер к виску. Вдруг подумал, что, может быть, он заряжен. Посмотрел — в нем было шесть пуль. Какая жалость! Я не могу нажать на курок! Но если я выну пулю, находящуюся напротив бойка, я смогу выстрелить, ничего не опасаясь. Так я и делаю, вынимаю эту пулю, не зная, что, нажав курок, я поверну барабан и вылетит другая пуля. Теперь я могу играть. Я смотрю на себя в зеркало. Я в отчаянии, я плачу, бормочу душераздирающие слова прощания, подношу револьвер к виску. Нажимаю на курок. Он такой

тугой, что мне не удастся его сдвинуть, я произношу:

— Розали!

Нажимаю сильнее — раздается выстрел. Гром в ушах и звон разбитого стекла. Я дрожу, трясусь, как от холода. Инстинкт ли заставил меня слегка отвести револьвер от виска? Или это произошло из-за усилия, которое мне понадобилось, чтобы держать оружие прямо? Не знаю, но, весь дрожа, я стою перед разбитым оконным стеклом, глядя на спинку стула, пробитую пулей. Прибежали встревоженные бабушка и тетя, вырвали у меня из рук револьвер.

— Жан! Что ты наделал?

— Ничего, я играл.

— Но зачем ты это сделал? Говори, мы не станем тебя ругать, только говори, умоляем тебя, говори!

Тетя и бабушка в слезах. Вдруг я понимаю, они решили, что я хотел покончить с собой. Я молчу. Спускаюсь в столовую. Как всегда, забираюсь в свой обычный угол, около печки. «Маленькое чудовище» снова вынырнуло на поверхность. Я становился очень интересным. Ребенок, который хотел покончить с собой. Может быть, Розали вернется.

Она вернулась.

Радость, восторг, смех, слезы. Я не переставал целовать ее. Я вновь страстно обнимал мамин халат из красной бумазеи, весь в заплатках, которого мне так недоставало. Я зарывался в него носом, я пьянел от этого неуловимого аромата. Даже в наряде Золушки моя Розали была самой прекрасной в мире! Ее маленький носик был чуть-чуть вздернут, ровно настолько, чтобы придать еще большее очарование. Синева моря должна казаться серой рядом с синевой ее глаз. Я целовал ее ладони, руки, шею. Я хотел целовать все, что обещал целовать в конце каждого письма к ней. Радость окрыляла меня и звала к приключениям и опасностям.

Я попросил мать забрать меня из коллежа. Я учился во втором классе*, но не был уверен, что сдам экзамены на аттестат зрелости. Я хотел стать актером. Розали беспокоила моя настойчивость. Анри перебрал все занятия: он хотел быть водолазом, пожарником, вором, ветеринарным врачом. Мать ставила меня в пример:

— Вот Жан верен своей мечте, а ведь он моложе тебя.

* Второй класс во Франции — последний перед выпускным классом.

Но настал момент, когда нужно было согласиться с моим выбором. Маму вовсе не приводила в восторг перспектива иметь сына, бегающего в поисках случайного заработка. Она попросила меня остаться в коллеже еще на год и пообещала, что после этого заберет меня оттуда. Но «чудовище» вновь всплыло на поверхность. Мои переодевания пока еще ни для чего не послужили. Для учеников коллежа, находившихся на полном пансионе, четверг отводился для прогулок. Они ходили в лагерь Лож, в глубине Сен-Жерменского парка, в сопровождении преподавателя физкультуры, которого я не любил.

Вновь вынырнув на поверхность, «чудовище» решило сыграть шутку. Я предупредил товарищей — никакой импровизации. В тот четверг, порывшись в гардеробе матери, я взял платье, шелковые чулки, прелестные туфли, сумочку, шляпу и немного грима. Я пошел в лес, переоделся и вернулся дожидаться «прогулки» у выхода из коллежа.

Я проследовал за гуляющими до самого лагеря, меня узнали несколько товарищей. Один из них представил меня как сестру, и преподаватель ухаживал за мной всю вторую половину дня. Я считал себя изумительным актером, не думая о том, к каким двусмысленным толкам это может привести.

На следующий день в столовой ко мне подошел главный воспитатель:

— Маре, мне сказали, что вы вчера ходили в лагерь Лож, переодевшись женщиной?

- Да, господин надзиратель, ну и что?
- Это возмутительно.
- В четверг я могу заниматься, чем хочу, это вас не касается.
- Вас выгонят.
- Ну что ж, в таком случае меня выгонят не без причины.

«Чудовище» ликовало. Был июнь. Стояла сильная жара, такая, что гудронное покрытие двора плавилось. Я набрал побольше гудрона, скатал шар, незаметно пронес его в коллеж и заткнул все замочные скважины в классах.

Два часа. Обеденный перерыв окончен. Никто не мог войти в классы. Все ученики стояли под дверью. Еще я набрал больших камней и разбил ими девятнадцать оконных стекол. Я был уверен, что меня выгонят. И я не стал ждать. Я ушел сам.

За воротами коллежа я осознал, что натворил. Что скажет мать? Только бы она ничего не узнала.

На следующий день я ушел из дома, как обычно. Дождался почтальона.

— Есть для нас письма? — спросил я безразличным тоном.

Почтальон передал мне несколько конвертов. На одном стоял штамп коллежа. Я положил остальные письма в ящик и вскрыл конверт. Директор коллежа выражал сожаление, что вынужден меня исключить. Я разорвал письмо.

Целый месяц я жил в трамваях, поездах, на вокзалах, на улицах, в Сен-Жерменском парке. Бывало, что, не слезая, я ездил по маршруту Сен-Жермен — Париж, Париж — Сен-Жермен.

На каникулы мать увезла меня в Туке. Я дал себе слово во всем ей признаться. Наступал вечер, но я ничего не говорил. Каждый прошедший день приближал момент возвращения в школу. Я терзался.

Однажды мать получила письмо и, прочитав его, упала в обморок. Я решил, что она мертва. Поведение мое было глупым и бесполезным. Плача, я целовал ее, но мне даже в голову не приходило позвать врача. Мать пришла в себя и сказала:

— Нужно возвращаться в Париж. Жак стащил у меня тридцать две тысячи франков.

Мы вернулись в Шату.

Вскоре мать пришла в Сен-Жерменский коллеж, как она это делала каждый год, чтобы заплатить за учебу.

— Но, мадам, ваш сын уже не учится в нашем коллеже.

В качестве наказания меня поместили на год в религиозную школу Сен-Никола в Бюзанвале, считавшуюся заведением строгих правил.

Здесь я нашел дружбу, понимание, почувствовал вкус к учебе. Снобизм здесь — я называю его так только потому, что ставлю в противоположность снобизму Сен-Жермена, — состоял в том, чтобы стать первым в классе и быть серьезным.

Меня приняли в Общину святой Девы. Я прислуживал во время мессы. Я молился за мать, прося прощения у Бога за то, что любил ее больше, чем его. Я превратился в добросовестного ученика, хотя давалось мне это нелегко, поэтому я так и не стал первым в классе.

В субботу вечером тетя Жозефина приходила за мной. Я с радостью возвращался в наш дом в Шату. Целую неделю я не был в объятиях матери. Излияниям не было конца. Хотя мне уже исполнилось пятнадцать лет, с ней я вел себя как маленький ребенок. Анри ласково посмеивался. Сам он старался казаться мужчиной. Говорили о его скором уходе в армию. Он хотел уехать до призыва и попасть в Рур, еще занятый нашими войсками. Он туда попал, увы!

Через полгода военной службы он так затосковал, что решил вернуться во Францию. С несколькими товарищами они «взяли напрокат» машину. Беглецы потерпели аварию достаточно далеко от лагеря, чтобы их можно было считать дезертирами и арестовать за кражу машины. Родственникам удалось достать медицинские справки, свидетельствующие, что брат действительно болен. Это спасло его от военной тюрьмы, но пережитые неприятные события вызвали новый

припадок. Его уволили из армии.

Он вернулся в Шату совершенно растерянный, тетя и мать преданно ухаживали за ним. Он стал торговцем автомобилями у concessionера фирмы «Пежо» на площади Клиши. На углу улицы Клиши стоял газетный киоск. Продавщица была замужем, молодая, довольно привлекательная — Анри влюбился в нее. Любовь доказывается подарками... Поскольку Розали снова путешествовала, ее платья, шарфы, сумки, меха переключивались на площадь Клиши! Нужно было развлекать хорошенькую продавщицу, улетучивались и деньги из тетиной сумки.

Конечно, от меня попытались это скрыть. Но когда Анри возвращался, упреки были столь бурными, что я все слышал. Уже тогда я считал, что во имя любви можно совершить любой поступок. Я даже нарисовал гуашью две картинку цветов и подарил их брату для его возлюбленной. Я надеялся, что это ограничит пропажи. Мне было очень трудно извинять Анри за то, что он воровал прекрасные наряды Золушки.

Мать написала мне. Как всегда во время ее поездок, я должен был отдавать свои ответы бабушкам, а они отправляли их по почте. Таким образом, мои субботы и воскресенья были пусты, и я почти с радостью возвращался в Бюзанваль.

Розали попросила меня сделать обложки нотных тетрадей для одной монашки, ее подруги. Я проводил воскресенья, вооружившись кисточками и красками. Работая для матери, я чувствовал себя ближе к ней.

5

После окончания учебного года, как мне обещала Розали, меня забрали из Сен-Никола. Я так и не посмел сказать, что переменял мнение, что хотел бы продолжать учебу. Мне исполнилось шестнадцать лет. Пришло время зарабатывать на жизнь.

«Актер! Мы подумаем над этим, когда вернется твоя мать». Меня устроили учеником к мелкому производителю радиоприемников, затем на завод Пате в Шату. Моя работа состояла в том, чтобы целый день калибровать магниты. Я отдавал заработанные деньги тете, кроме тех, которые получал за сверхурочные часы. Эти деньги шли на мои карманные расходы. Чтобы иметь больше карманных денег, я нанимался кадди*. Меня унижало, когда мне давали на чай, но, поскольку давали по пятнадцать или двадцать франков, я подавлял свою гордыню — недостаток, от которого я еще не избавился.

* Человек, подносящий игрокам клюшки на площадке для гольфа.

Мне не нравилась работа на заводе. Тетя сказала:

— Ты хочешь сниматься в кино, увлекаешься живописью; я нашла тебе место ученика у фотографа в Везине.

Работая фотографом, я проявлял, печатал, ретушировал. Удачей было то, что хозяин занимался живописью. Это была очень плохая живопись. Тем не менее некоторым профессиональным навыкам он меня научил.

Мать вернулась из путешествия. Между ней и моим братом произошла довольно тягостная сцена. Она попросила его больше никогда не появляться в нашем доме. Что касается меня, то я считал, что с ее возвращением все изменится. Ничего подобного. Ей очень понравилось, что я занимаюсь фотографией, и она нашла мне новое место у Анри Манюэля, поборника «расплывчатого изображения». Как и другие родственники, Розали не хотела, чтобы я был актером.

— Посмотрим позже, будешь ли ты упорствовать в своем желании стать «паяцем».

Чтобы добраться до Анри Манюэля на улицу Фобур-Монмартр, я садился в поезд на вокзале Шату. Затем шел пешком с вокзала Сен-Лазар до улицы Фобур-Монмартр

через Прованскую улицу. Утром и вечером. Четыре девушки уже волновали меня, но это были чувства чисто платонического характера. Нужно было испытать другие. По обеим сторонам Прованской улицы стояли девушки, предлагавшие: «Пойдем, милый?»

Однажды вечером я дал себе слово пойти с первой, которая скажет мне этот пароль. Я не очень хорошо вижу, особенно вдаль. Меня показали окулисту, он прописал очки. Впервые я надел их в классе, это вызвало всеобщий смех. В результате я их больше никогда не надевал.

У меня близорукость с астигматизмом. Кто знает, не был ли этот хохот удачей для моей карьеры? С очками на носу я, возможно, стал бы другим персонажем...

Итак, я плохо видел.

— Пойдем, милый.

Я следую за девушкой. Она хромает. Я не решаюсь сбежать. В комнате уже слишком поздно. Когда я замечаю, что она косит, мы уже у нее дома. Отступить поздно.

У Анри Манюэля я чаще всего занимался тем, что печатал фотографии, сушил их на большом вращающемся электрическом цилиндре, тянущем два холста, между которыми помещались фотографии. Цилиндр нагревался с помощью находившейся в нем трубки, в которую подавался газ. Я работал каждое второе воскресенье. Начинал с того, что запускал машину, потом спичкой зажигал горелку, просунув верхнюю часть туловища в цилиндр через треугольное отверстие в плоской части машины. Нужно было проделывать это быстро, так как вырезанный треугольник находился с другой стороны чугунного бруса, поддерживающего ось цилиндра. Вместо того чтобы зажечь газовую горелку и потом запустить машину, я по тупости делал наоборот. Один раз газ зажегся не сразу, мое тело оказалось зажатым между чугунным брусом и железным треугольником. Моя голова будет медленно отрезана! Что-то вроде казни, от которой Пирл Уайт моего детства всегда спасалась. Кроме меня, еще никого из сослуживцев нет. Треугольник начинает перепиливать мне шею. Это невозможно! Я не могу умереть так глупо! Кто-нибудь придет... И действительно, директор появился вовремя, бросился ко мне, выключил машину. Машина остановилась, но высвободиться я не мог. Пришлось разбирать сушилку.

Говорят, мне сопутствует удача. Возможно, именно с этого дня я стал с ней считаться. Из-за этого случая, который чуть было не закончился трагически, меня вызвали в кабинет Анри Манюэля. Там я познакомился с его секретарем Андре Ж., который был старше меня лет на десять. Он был музыкантом, писал, немного занимался живописью и театром, пел, вообще был образованным. Я обязан ему тем, что открыл для себя Пруста, Жида, Колетт, Селина, Оскара Уайльда, Жана Кокто. Мы ежедневно проводили вместе двухчасовой перерыв — обедали в ресторане, потом бродили по Парижу. Я столько узнал благодаря ему! Разумеется, я вскоре признался ему в своем страстном увлечении театром и кино. Он посоветовал мне работать, подсказал, какие классические роли можно выучить, и предложил пройти прослушивание в Училище Мобель, которым руководил г-н Дориваль. Я выучил слова Чаттертона, героя одноименной драмы Альфреда де Виньи. Этот персонаж приводил меня в восторг. Я решил сыграть его на прослушивании. Мне было восемнадцать лет, я был уверен, что театр меня ждет. Поскольку некому было подавать мне реплики, я выбрал длинный монолог.

Во время прослушивания, охваченный необузданным вдохновением, я потерял всякий контроль над собой. Я был Чаттертоном. Я наслаждался болью, я плакал, как бывало, в детстве у печки, и решил, что великолепен. «Ты был великолепен,— сказал я себе, закончив сцену. Я освободился от гипноза посреди всеобщего молчания. — Он не знает, что сказать, так потрясла его моя игра», — подумал я.

Голос господина Дориваля моментально отрезвил меня.

— Молодой человек, вам нужно лечиться, вы законченный истерик.

Слова Дориваля вызвали взрыв хохота. Я упал с облаков. Моей ноги там больше

никогда не было. Но этот человек одной фразой научил меня, как добиться успеха, и я всегда буду благодарен ему за это.

Именно после этого прослушивания я заболел той тяжелой и неизлечимой болезнью, которая зовется любовью к театру. Вскоре я понял, что ремесло актера состоит не в том, чтобы пребывать в состоянии гипноза и наслаждаться, как какой-нибудь мазохист, муками своих персонажей, а, призвав на помощь свои чувства, скрытые эмоции, управлять ими, выдавая ровно столько, сколько нужно.

На следующий день за обедом я рассказал Андре Ж. о своем провале. Чтобы утешить меня, он поведал мне историю своего прослушивания. Андре отправил Шарлю Дюллелю отчаянное письмо, в котором говорил о самоубийстве. Он писал, что его последним шансом будет прослушивание у Дюллелю. Его пригласили.

Андре был неприметным юношей, приходившим в отчаяние из-за ранней лысины и нелюбви матери, которую он обожал. Худой, с лицом не уродливым, не красивым, но с добрыми и красивыми глазами зеленого цвета, прикрытыми тяжелыми веками с длинными и густыми ресницами, темными бровями, которые были бы густыми, не выщипывая он их так сильно. У него была танцующая походка, а жесты — такие же мягкие, как и взгляд. И еще — очень добрая улыбка.

Чтобы побороть робость, он решил принять что-нибудь успокоительное перед прослушиванием у Шарля Дюллелю и выпил несколько рюмок коньяку, хотя обычно не употреблял ничего крепкого. Когда он явился за кулисы театра «Ателье», Дюллелю искал среди актеров, проходивших прослушивание, кого-нибудь, кто подал бы реплику Мизантропу. Но там не было ни одной женщины.

— Нет ли среди вас кого-нибудь, кто хотел бы подать реплику за Селимену?

Молчание. Никто из актеров не отважился показаться смешным перед учителем.

— Я! — сказал Андре. — Я хочу. Коньяк сделал свое дело, и перед оторопевшей аудиторией предстала разнузданная Селимена в брюках.

— Ваша фамилия? — спросил Дюллелю по окончании сцены.

— Андре Ж.

— Как? Это вы мне писали?..

Андре не покончил с собой. Он оставил театр и стал секретарем Анри Манюэля.

В мои обязанности работы у фотографа входило также ходить за покупками.

Нужно было ехать автобусом или на метро. Я так любил автобус и его площадку, что дал себе клятву, даже разбогатев, и дальше пользоваться этим видом транспорта. Однажды я вскочил в автобус на ходу.

— Площадь Мадлен, — сказал я кондуктору, расплачиваясь за билет.

— Вы ошиблись, надо было сесть на Е.

За несколько секунд, которые я находился на площадке, один молодой человек поразил меня своим некрасивым красным лицом. Это происходило в Ришелье-Друо, я решил идти пешком до площади Мадлен. Я плохо знал Париж. Дойдя до Оперы, я спросил дорогу у прохожего.

— Нужно идти прямо, — ответил он, — я провожу вас.

Это был краснолицый из автобуса. Случилось так, что, пытаясь пройти от магазина «Прентан» до вокзала Сен-Лазар, я оказался на площади Республики. Его звали Эдуард.

— Как героя «Фальшивомонетчиков», — сказал я.

— Вы читали эту книгу?

— Друг посоветовал мне прочитать ее, и она так взволновала меня, что я решил прочитать все книги Андре Жида. Сейчас я читаю вот эту. — Я показал ему книгу, которую держал в руке. — Я хотел бы сыграть Лафкадио.

— Вы актер? — спросил он.

— Нет, но я хотел бы им стать.

— Если вы хотите, я дам вам почитать книги Андре Жида. В какой день я могу вам их принести?

На следующий день я рассказал Андре Ж. об этой встрече. Кажется, его это

расстроило. Любопытно, но только сегодня я обнаружил, что у Андре Ж. были те же инициалы, что и у Андре Жида. Дружба, которую мы с Андре питали друг к другу, была разного свойства. Он был готов на все ради меня, а я на гораздо меньшее ради него. Я все рассказывал ему, он мне. Но он давал мне все: учил меня, направлял. Взамен я причинял ему только огорчения. Мы общались всего два часа в день. Он страдал от этого. А я уходил к Розали. Когда она была рядом, все вокруг светилось счастьем. Она захотела познакомиться с Андре и пригласила нас пообедать у Поккарди. Я так хвалил красоту Розали, ее элегантность, фантазию, что побаивался суждения Андре. Но он был покорен. К концу обеда он называл мою мать Розали, а меня — Шабишу. Что доставило мне особое удовольствие от обеда, так это то, что теперь я мог больше говорить с Андре о Розали. Она захотела познакомиться и с Эдуардом, с которым мы часто встречались. Я солгал, представив его как товарища по коллежу. На самом деле он был почти на десять лет старше меня.

Иногда мне позволяли оставаться в Париже до отправления последнего поезда, отходившего без двадцати час.

Краснолицый стал коричневым. Он готовился к экзаменам на звание капитана дальнего плавания. Он был невысокого роста, его каштановые волосы были разделены посредине пробором, глаза орехового цвета с красивым разрезом. Прямой нос, натянутая кожа, одновременно блестящая и сухая, производившая впечатление чрезвычайной чистоты и здоровья. Ровные зубы, десны, яркий цвет которых оживлялся «бриллиантовой» эмалью. Коренастый, просто одетый, спортивный, в брюках с безупречными складками, он казался моложе своих лет. Но были в нем какая-то значительность, превосходство. Я подражал его походке. Заказывая новый костюм, старался выбрать ткань, фасон, похожие на его. С первыми лучами солнца я подставлял ему лицо, чтобы загореть, как мой друг. Наконец я выпросил у него фотографию и спрятал ее в матросском сундучке, служившем мебелью в моей хижине — велосипедном гараже, где я продолжал играть, несмотря на свой возраст. Я тоже подарил ему свою фотографию, надеясь, что и он поместит ее среди фотографий, висевших на самом виду над диваном. Он не сделал этого, и когда я спросил почему, он ответил:

— Ты особая статья.

Иногда я навещал брата. После окончания работы я мог быть почти уверен, что встречу его на площади Клиши вместе с его продавщицей газет. Однажды он спросил меня о Розали.

— Она снова путешествует...

— Путешествует! — повторил Анри, глядя на меня.

— Знаешь, — сказал я ему, — она, определенно, простит тебя. Она тебя любит, но ей непонятно, как ты мог взять столько вещей в ее отсутствие. Она думает, что ты ее не любишь.

— Я люблю ее, — сказал брат со слезами. На следующей неделе нужно было сделать репортаж для Анри Манюэля в тюрьме Сен-Лазар. Вместе со мной и оператором пошел наш директор, господин Сильвестр. При входе нас попросили предъявить документы.

В Сен-Лазаре, впоследствии разрушенном, размещался лепрозорий XII века, ставший государственной тюрьмой во время Революции, затем женской тюрьмой. Здание имело свой стиль, но было ветхим и грязным. Одну из надзирательниц — сестру Леониду — наградили орденом Почетного легиона. Это и было темой нашего репортажа.

Господин Сильвестр решил воспользоваться случаем и сфотографировать все службы: административные помещения, медпункт, часовню. Нас сопровождала одна из сестер. Вдруг появился директор тюрьмы, что-то сказал господину Сильвестру, затем попросил меня уйти и сам проводил меня до двери. Я спросил причину. Мне невразумительно объяснили, что мы находимся в женской тюрьме и, поскольку я молодой человек, это может вызвать волнения среди узниц. Я повинился, отметил,

однако, про себя, что оператор не намного старше меня.

Через несколько дней меня уволили из фотоателье.

— Вы понимаете, почему? — спросил господин Сильвестр.

Я не стал задавать вопросов. Я догадывался о том, чему отказывался верить. Я падал в бездонную пропасть. Всем своим существом я не мог поверить, еще надеялся. Я побежал на вокзал. Казалось, поезд не движется. Все так же бегом я добрался от вокзала Шату до дома. Было уже темно, и я плакал не сдерживаясь. Боль в боку заставила замедлить бег. Садовая решетка, цепляющийся за нее плющ, дверь — все казалось мне другим. Я вытер слезы, привел в порядок одежду, подождал, пока дыхание станет нормальным. Но войти не решался. Тетя и бабушка были дома. Они, как обычно, играли в жаке. Но даже здесь мне все казалось другим. Тетя и бабушка ждали, что я, как обычно, поцелую их. Я стоял молча, не зная, задать мучающий меня вопрос или нет.

— Меня уволили, — сообщил я наконец.

— Но почему, почему? Что ты еще там натворил?

— Ничего, ничего... По работе мне пришлось поехать в Сен-Лазар... но не на вокзал. Тетя, это правда?.. Мама...

Тетя обняла меня. Я задышался от слез. Мои славные старушки не знали, что сказать:

— Бедный малыш, бедный малыш...

Я вырвался из их объятий и убежал в свою комнату, упал на кровать, рыдая от горя и ударяя по ней кулаком. Меня пытались утешить:

— Бедный малыш, твоя мать больна. Она клептоманка.

Я не спросил значения этого слова, которое услышал впервые, но я не хотел, чтобы моя мать была такой. Мама не могла быть больной. Я плакал не от стыда, я плакал, представляя мать несчастной, одинокой. Более того, Розали становилась героиней. И я вновь извлек свой ореол бузотера коллежа, чтобы сделать ей из него корону. Не нужно ждать. Нужно как можно скорее написать Розали, что я все знаю и люблю ее так же и даже еще больше. Я стану богатым и сумею спасти ее и сделать счастливой.

В этом письме я не называл ее Розали: она хочет наверняка, чтобы я назвал ее мамой.

А жизнь продолжалась. Двигались поезда, автобусы, такси. Люди продолжали суетиться на улицах. Мне казалось странным, невозможным, что мне так больно, так тяжело на сердце, а жизнь идет своим чередом.

Я нашел другую работу — у Изабе, специалиста модной фотографии. Кроме печатания, ретуширования, рисования меня часто просили позировать для мужских моделей. Это позволило мне собрать коллекцию фотографий, с которой я рассчитывал посетить киностудии и режиссеров.

Я продолжал встречаться с Андре Ж., который знал от господина Сильвестра причину моего увольнения. На нашу дружбу это не повлияло. Что касается Эдуарда, то он уехал из Парижа. Я получил от него письмо, в котором он просил не пытаться с ним увидеться, говорил, что ему надоела парижская жизнь и он уезжает за границу и никогда не вернется. Я сел в поезд, отправляющийся в пять часов утра. Приехал к нему. Никого. Консьерж заверил, что он действительно уехал.

После выполнения необходимых формальностей мне удалось повидать Розали. В первый раз мне разрешили встретиться с ней в приемной сестер. Кажется, они ходатайствовали за нее. Розали завоевала их симпатии. Она занималась часовней и библиотекой, пела во время службы, играла на фисгармонии. Более того, она подарила им свои обложки для нот, которые я разрисовал. Мама питала большое уважение к сестре-сиделке. Эта дружба длилась всю их жизнь. Сестрам нравилась лояльность Розали как по отношению к ним, так и по отношению к другим узникам. На религиозные праздники мне поручали посылать цветы для часовни и кое-что из продуктов.

Сестра М. встречалась с моей матерью и вне тюрьмы, Семья этой сестры часто приглашала мать в гости. Не думаю, чтобы семья знала, где родилась их дружба. Меня тоже иногда приглашали.

Сестра М. слышала каждый день разговоры заключенных, которые не стеснялись употреблять при ней выражения, смысла которых она не понимала. Так однажды во время праздничного обеда по случаю причастия ее племянника она сказала при матери: «Как вы меня все достали!»

Эффект был сокрушительный. Но когда мать заметила: «М., вы не должны так говорить», — она спросила в полном изумлении: «Но почему?» Все за столом покатались со смеху.

Они часто беседовали на богословские темы. По-моему, именно Розали затевала эти беседы, чтобы смутить бедную сестру. Розали бывала в восторге, если ей удавалось поставить подругу в затруднительное положение. Я говорил выше, что мать воспитывалась в монастыре и хотела стать монахиней. Она стала атеисткой.

Я регулярно навещал Розали. Но теперь я виделся с ней в общей приемной. Я выходил оттуда подавленный и одновременно полный решимости драться за нее.

На многих киностудиях я оставлял свои фотографии, но — без всякого успеха: ни одного, даже самого маленького эпизода!

Тогда я решил действовать методично: выписать из справочника фамилии всех режиссеров и попытаться с ними встретиться. Но мне это не удавалось.

Однажды я позвонил в дверь М.Л. Слуга-китаец сказал, что он в конторе, и дал адрес. Бегу туда. Поднимаюсь на шестой этаж. Наверху мужество меня покидает. Я спускаюсь этажом ниже. Нет, не стоило подниматься так высоко, чтобы уйти ни с чем. Ступени, по которым мне нужно снова подняться, представляются мне горой. Я воображаю привратника, секретарей, ассистентов, вопросы, ответы. Открываю, вхожу. С бьющимся сердцем прикрываю за собой дверь. Никого. Тишина, афиши фильмов, фотографии. Это меня смущает.

— Что вам угодно?

Передо мной человек лет пятидесяти.

— Видеть господина М.Л.

— От кого?

— По личному делу.

— Ну, дальше? Могу я узнать цель вашего визита?

Этот господин слишком элегантен. Это он.

— Вы господин М.Л.?

— Да, что вы хотите?

Я теряю хладнокровие, путаюсь в словах.

— Сниматься в кино. Поэтому я подумал о вас.

— Войдите.

Меня бьет дрожь. Комната в стиле ультрамодерн тридцатых годов, с претензией на кубизм. Вместо письменного стола стеклянная пластинка огромных размеров, положенная на два куба черного дерева. Позади очень большая фотография актера в сцене одного из фильмов М.Л.: кубистские декорации, кубистская рамка.

— А почему же вы решили прийти... ко мне?

— Я восхищаюсь всеми вашими фильмами (я не знал даже их названий).

— Вам нужны деньги?

— Да.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Живописью.

— Вы выставляетесь?

— Да. У «Независимых», в Большом дворце.

Это была правда. Тогда все могли выставляться у «Независимых». Для того чтобы выставить две картины, нужно было заплатить сто пятьдесят франков. Я с трудом собрал нужную сумму и дал две картины.

— Мы съездим посмотреть их вместе.

Мы договариваемся о встрече.

В назначенный день я захожу к нему. Мы отправляемся в автомобиле марки «Обурн» с шофером в ливрее. И вот мы перед моими картинами.

— Они продаются?

— Да.

— Сколько?

Одновременно он листает в каталоге список названий и цен. Я быстро говорю:

— Нет, нет, не смотрите! Поскольку я был уверен, что их никто не купит, я назначил очень высокую цену... для собственного удовольствия: три тысячи пятьсот и две тысячи пятьсот.

— А для меня?

— Тысяча пятьсот и тысяча.

Он решается в пользу той, что стоит тысячу. «Невезучий красавчик»: мой портрет на фоне стены, испещренной граффити. Он дает мне двести франков задатка и предлагает зайти к нему через неделю. Он снова дает мне двести франков и опять назначает встречу через неделю, и так далее.

Когда я получил восемьсот франков, выставка закрылась и я предложил ему привезти свое произведение. Он сказал:

— О! Чтобы оно валялось в шкафу? Право же, не стоит.

Если бы у меня еще были эти восемьсот франков, я вернул бы их, но я проглотил унижение, а затем и обед, на который он меня пригласил.

— Я чувствую, что могу стать великим актером.

— Вы не сидели бы за моим столом, если бы я был другого мнения.

Он предлагает мне попробоваться на роль в фильме его друга Жака Деваля «Этьенна». Эва Франсис будет моей партнершей.

Я больше не живу. В долгожданный день моя правая щека украсилась огромным прыщом. Грумер уверяет, что его не будет видно. Он наносит мне на лицо крем, пудру, румяна и губную помаду. Я похож на девчонку в брюках. М.Л. издает возмущенные вопли:

— Немедленно убрать все это!

Мое волнение удваивается, я в полной растерянности. Где-то в уголке студии, не глядя в зеркало, я плюю на платок и вытираю лицо. На меня направляют свет прожекторов. Сердце бешено колотится. Мне кажется, что спереди я горю, а сзади замерзаю. Я дрожу. Я чувствую, что смешон. Мне кажется, что рабочие на съемочной площадке смеются надо мной.

Снимают. Я отдаюсь телом и душой — голова, сердце, страсть, молодость. Уголок рта сводит нервный тик. Все.

Проходит несколько дней; долгий кошмар ожидания. Наконец просмотр, в зале темно. На экране возникает страшилище, тощее, прыщавое, жестикулирующее, с высоким голосом.

Пусть никогда не зажигается свет!

Но он зажигается. Вспотев от стыда, я смотрю прямо перед собой, чтобы никого не видеть. Эва Франсис похлопывает меня по спине.

— Неплохо.

— Как вы себя находите? — это М.Л.

— Ужасно, плохо.

— И я того же мнения.

Я выхожу в состоянии агонии. Нужно работать. Нужно найти актерские курсы и оставить работу фотографа.

Заведение моего патрона переезжает. Еще раз я чуть-чуть не лишился головы.

Должен сказать, что мой гороскоп предписывает опасаться огня и воды. Уже во второй раз одна из этих двух стихий готовила мне ужасную смерть.

У Изабе был гидравлический лифт — «праотец всех лифтов», сказал Жан Кокто.

Действовал он бесшумно, с раздражающей медлительностью. Он спас мне жизнь.

Во время переезда я наклонился над клеткой, чтобы что-то сказать товарищу, находившемуся этажом ниже. Я не слышал, как подошел лифт. Сначала оказалось зажатым мое тело, потом голова. Смерть неминуема. Моя последняя и единственная мысль: я никогда не надену свой смокинг. За несколько дней до этого я заказал себе смокинг в магазине готового платья. Я теряю сознание, следовательно, умираю. Мой товарищ, увидевший опасность, молниеносно преодолел разделявший нас этаж и ударил кулаком по двери лифта. Лифт тотчас остановился. Я тяжело рухнул на землю.

Очнулся я в больнице. Мать сидела возле меня. Мне было стыдно признаться, что не о ней я подумал перед смертью. В действительности для меня не было границы между этим обмороком и смертью. Иногда мне снятся подобные сны: я лежу, привязанный к доске, вслед за другими попадаю под какой-то инструмент вроде бороны, но с загнутыми зубьями, которым меня обезглавливают. Наверное, потому что я приучен преодолевать страх, я не испытываю ужаса от этих кошмаров. В самый жуткий момент я раздваиваюсь и присутствую при собственной казни, зная, что это сон и что мне ничего не грозит.

МЛ. сказал, что собирается ставить «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Он хочет сделать фотопробы со мной. Я обесцвечиваю и сам завиваю волосы, мне представляется, что именно так должен выглядеть Дориан Грей. Конечно, я в таком виде больше похож на шведа, чем на англичанина. Тем не менее я доволен результатом. Я еду на студию на своем любимом виде транспорта — на автобусе. Нужно сделать пересадку на Пигаль. Я схожу. Какой-то молодой человек сходит вместе со мной и говорит:

— Извините, что задерживаю вас, я художник и хотел бы написать ваш портрет.

Смущенный, я признаюсь ему, что обычно выгляжу иначе. У меня волосы не такие светлые и не кудрявые. Я еду на пробы к фильму «Портрет Дориана Грея». Этим художником оказался Жак Дюпон, ставший впоследствии знаменитым. Он не написал моего портрета, а я не стал Дорианом Греем, поскольку фильм так и не был снят. А если бы и был, то не думаю, чтобы мне доверили эту роль.

М.Л. дал мне возможность работать статистом в нескольких своих фильмах. Однажды я услышал, как, говоря о комто, он заявил продюсеру:

— Не приглашайте этого актера, он приносит несчастье.

Речь шла о талантливом актере.

Я повержен в трепет. Оказывается, можно испортить человеку карьеру из суеверия. Теперь я буду всегда говорить, что мне неслыханно везет и что судьба всегда мне благоприятствует. Оставалось доказать это.

Объявление в газете привело меня к некоему господину Попликсу, который каждую среду давал бесплатные уроки в театре «Мишель». Увы! Чтобы быть зачисленным на эти курсы, нужно брать частные уроки у него же. У меня нет денег, и я обещаю покрасить и оклеить обоями его квартиру. А он найдет мне партнершу, которая будет подыгрывать...

Для вступительного конкурсного экзамена в Школу драматического искусства Попликс выбирает мне пьесу Анри Батая «Холокост», неизвестную даже Ивонне де Бре, которая в свое время была его женой.

Моя партнерша играла слепую, я — паралитика!

Попликс доволен:

— Это будет просто чудо, если вас не примут.

— Берегитесь, — говорю я ему, — я почти специалист по чудесам.

В день экзамена объявление «Холокоста» производит странное впечатление. Я слышу голоса членов жюри: «Холокост»? Кто автор? Что? Не знаю. Батай? Не знаю такого!»

Меня останавливают после нескольких реплик.

Чудо произошло: провалился!

Мои товарищи:

— Ты же говорил, что тебе всегда везет.

— Именно в этом мое везение. Моя судьба не в Школе драматического искусства. Она ведет меня другим путем.

Это знак того, что я должен выбрать себе преподавателя с антиконсерваторскими, антитрадиционными взглядами. Я пойду к Дюллелю.

В очередной раз моя семья переезжает. Мы будем жить в Шелл, около вокзала. Новый дом, новая фамилия, новая собака — немецкая овчарка по кличке Милый.

М.Л. приглашает меня пообедать вдвоем.

Весь в синем, костюм, галстук, рубашка, каскетка, я захожу за ним. Тот же шофер в ливрее везет нас в автомобиле марки «Обурн», черном снаружи и обитом внутри красной кожей. До меня доходит, что моя каскетка неприлична. Я снимаю ее и прячу.

— Вы хотите обедать в людном месте или где-нибудь в тихом уголке?

Мой плохо скроенный костюм вынуждает меня ответить:

— Где поменьше народу.

М.Л. что-то говорит шоферу. Машина останавливается на углу улиц Пантьевр и Камбасереса. Мы поднимаемся по лестнице и оказываемся в отдельном кабинете. Накрытый стол ясно показывает, что нас ждали. В глубине комнаты распахнута дверь: видна разобранная кровать.

Я немею, леденею. Нам подают еду. М.Л. пытается вести беседу, я отвечаю только «да» и «нет». Не смею взглянуть на него, смотрю прямо перед собой, то есть на отворенную дверь и кровать. М.Л., в свою очередь, становится очень холоден. Он требует счет, и мы вновь оказываемся на улице.

— Вот деньги на такси.

— Нет, нет, спасибо, я люблю автобусы, — говорю я весело.

— Что это на вас нашло?

— Ничего, пустяки. Спасибо за обед. До свидания.

После этого обеда всякий раз, как М.Л. собирался снимать новый фильм, он приглашал меня в контору и обещал главную роль. Проходили недели, иногда месяцы, меня приглашали статистом или на эпизодические роли. Я соглашался. Когда я встречал М.Л. на съемочной площадке, он подходил ко мне и говорил:

— Как жаль, что вы не захотели играть главную роль.

Вскоре пришло время прохождения военной службы. Я просился в Бизерту, в морскую авиацию. Меня определили в Версаль.

М.Л. сказал, чтобы я добился увольнения на месяц для участия в съемках его фильма. Я добился отпуска, объединив все увольнения за год. Фильм сняли без меня.

Чтобы чем-то занять мой ненужный отпуск, он заказал мне декоративное панно для своей столовой в псевдоиспанском стиле. Я вручил ему панно, но оно казалось мне столь ужасным, что я попросил его разрешения сделать другое, по своему вкусу. Он согласился, и я сдержал слово.

Служба окончена. Нужно на что-то жить. Мне нечем платить за уроки.

Родственники настаивают, чтобы я нашел «серьезную» работу. Внезапно умирает тетя. Мы снова переезжаем, на этот раз в Париж, на улицу Пти-Отель. Во время переезда мать снова отсутствует. Я делаю все сам, почти в одиночку, поскольку бабушка совсем слаба: оборудую квартиру с любовью и... малыми средствами. Я художник, электрик, обойщик и даже краснодеревщик. Особенно тщательно я отделяю комнату Розали.

По возвращении мать просит меня сопровождать ее в магазины, точнее, идти впереди нее, торговаться в отделе мехов — короче, отвлекать продавцов. Я делаю это против воли, но делаю.

В то время мама каждый день попрекала меня тем, что я ничего не зарабатываю, ничего не делаю. «Ничего не делаю» означало учебу на курсах.

Не имея возможности оплачивать курсы, я согласился быть статистом у Дюллеля: статисты имели право на бесплатные уроки. В «Юлии Цезаре» я исполнил четыре роли, одна из них с текстом. Я произносил его с гордостью: «Они не хотели бы,

чтобы вы выходили сегодня; вытацив внутренности жертвы, они не нашли сердца зверя».

Из всех ролей, которые я сыграл до сих пор, это единственная, текст которой я помню слово в слово. Кроме этой маленькой роли, я изображал обнаженного бегуна, галла, несущего тело Цезаря, и солдата.

Дюллен питал ко мне симпатию, потому что я работал. Я никогда не пропускал занятий, которые он давал по субботам — с пяти до семи часов. У меня всегда была готова сцена, когда он называл мою фамилию. Не так обстояли дела со многими моими товарищами, которые находили разные уважительные причины: «Господин Дюллен, я не нашел никого для подачи реплики, не нашел текста. Я был болен... был занят в фильме». И т.д.

— Маре!

Я был готов.

— Ну что ж, раз один Маре хочет работать, я прослушаю только его.

В тот раз он работал лишь со мной: игра, дикция, дыхание, постановка голоса. Обычно он обращал внимание только на игру. Сейчас я сожалею, что не делал записей. Нас всех увлекали и захватывали его указания. Мы многому учились также, когда на сцене были наши товарищи, как если мы играли сами. Мне хотелось бы еще раз услышать, например, как он объясняет «Скупого» или «Гамлета» Жану Вилару, учившемуся вместе с нами.

Он избегал указывать интонацию. Его ум, инстинкт, театральный опыт находили, придумывали, создавали, вели нас к театру, который мы открывали и любили благодаря ему. Он редко играл сцену. Он делал это иногда, чтобы доказать нам, как легко и просто войти в роль, почувствовать себя персонажем. Слушателю драматических курсов всегда хочется перевернуть горы. И Шарль Дюллен неожиданно проигрывал или, скорее, проживал перед нами сцену. И тогда мы присутствовали при том, чего никогда не видела публика: мы видели Шарля Дюллена — учителя, еще более великого актера и режиссера, чем тот, каким его видели зрители.

Для меня уроки были бесплатными, работа статиста давала заработок — десять франков в день. Я не хотел просить денег у матери, а десяти не хватало на проезд, на еду и на грим.

Я решил попросить небольшой прибавки у Дюллена.

— И сколько бы ты хотел, малыш?

— Двадцать пять франков, господин Дюллен.

Он смотрит на меня очень грустно.

— Ты хочешь разорить театр, малыш.

Теперь я знаю, что у Дюллена были серьезные финансовые затруднения. Труппа была многочисленной, он без конца шел на большие жертвы. Кроме того, он дал мне гораздо больше, чем эти двадцать пять франков, в которых он мне отказал. Он дал мне любовь к театру и средство для завоевания своего места в нем.

Как-то раз я подготовил монолог Нерона и попросил товарища, который каждый вечер изображал вместе со мной римского бегуна, подавать мне реплику. Перед уроком мы репетируем вдвоем. Мой товарищ слушает меня совершенно оторопевший:

— Ты что, собираешься вот так подать эту сцену Дюллему?

— Да, а что?

— Ты сошел с ума! Нет, ты совершенно сошел с ума! Ну и разнесет же он тебя!

Я показал сцену. Дюллен не разнес меня. Я даже почувствовал снисходительность, симпатию. За так называемые консерваторские сцены брались все слушатели курсов. Одни были лучше, другие хуже, но у всех была одна и та же манера фразировать, исполнять речитативом — один и тот же тон. В том, что показал я, было нечто необычное, безусловно, со множеством недостатков, но не традиционное. И в

этот день Дюллен работал только со мной. Мне посчастливилось учиться у этого исключительного педагога. И, когда я говорил, что мой провал в Школе драматического искусства был удачей, не зная этого, я оказался прав.

Когда молодые люди спрашивают, как стать актером, я всегда советую курсы. Иногда мне отвечают:

— У меня нет денег.

У меня тоже не было денег. Но уверен, если преподаватель видит у ученика любовь к театру, он не откажет ему в уроках. Мне также говорят в ответ:

— Дюллена уже нет.

Есть другие преподаватели. И я знаю очень хороших. Не нужно забывать, что у каждого — своя философия, но при этом нужно иметь мужество быть к себе очень строгим и самокритичным. Критика необходима. Именно поэтому даже плохой преподаватель полезен.

Я никогда раньше не рассматривал свою профессию как ремесло. Если рассматривать ее как таковое, нужно браться за дело с той же серьезностью и терпением, как за любое другое ремесло. С первых же уроков я понял это. Поэтому после провала в Школе драматического искусства и поступления к Дюллелю я решил, что пробуду у него три года, что бы ни случилось.

Меня обижало и задевало отрицательное отношение Розали к моей работе статиста и учебе на курсах. По правде сказать, для нее работа, которая не приносила денег, не была работой. Отсюда возникло разногласие между нами, мучившее меня. И все же, как ни странно, я еще больше любил театр.

После смерти тети вся домашняя работа легла на плечи бабушки. Я все меньше помогал ей, поскольку ложился поздно и вставал тоже поздно. Кроме того, я запирался в спальне, чтобы работать над сценами для курсов. В глазах бабушки театр был постыдным ремеслом, занятием для лентяев. Она вторила Розали.

Однажды вечером мама не вернулась домой. Когда я пришел из театра «Ателье», бабушка ждала меня. Ее покрасневшие глаза ясно говорили, что, такая одинокая в эти часы ожидания, она могла заглушить свои страдания только слезами. Я обнял ее, поцеловал в мокрые щеки. Стол был накрыт. На газовой плите стояли остывшие кастрюли. Я приготовил ей липовый отвар, она выпила его залпом. Ей было холодно. Я принес шерстяной платок. Она сидела в кресле у окна и то и дело подскакивала при малейшем звуке тормозящей машины, протирала запотевшие стекла и говорила:

— Твоя мать убьет меня, твоя мать заставит меня умереть от горя.

Я мечтал спасти Розали, спасти от нее самой. Как? Мне было двадцать два года, я зарабатывал десять франков в день, а нужно было зарабатывать достаточно, чтобы избавить ее от того, что она называла работой. Сколько времени мне понадобится для этого? Я люблю Розали больше всего на свете, а что я делаю для нее? Ничего.

Утром раздался звонок. Я открыл дверь. Какая-то женщина протянула мне письмо. Я узнал почерк Розали. «Я в больнице Ларибуазьер», — писала она. Мать сообщала отделение, палату, просила прийти к ней в часы посещения и тайком принести одежду: плиссированную юбку, свитер, туфли. Она собиралась уйти из больницы со мной. Она добавляла, что здорова.

Возбужденный, счастливый, я понял, что могу спасти Розали. Я хорошо понимал, что речь идет о побеге.

С нетерпением я дожидался часа посещения. Полученных от матери сведений было достаточно, чтобы мне не потребовались дополнительные объяснения. Я спрятал юбку и шерстяной свитер под пальто, туфли завернул в ткань и привязал к своему поясу. Как только я вошел в палату, сразу же увидел Розали. Я подбежал, чтобы поцеловать ее, и незаметно засунул под простыни юбку и свитер. Потом передал ей

туфли. Пока мы разговаривали, она оделась. Одеваясь, она рассказала, что ее задержали в магазине, отвели в комиссариат. Во время допроса она схватила горсть

булавок, лежавших на столе, и бросила их себе в рот. Комиссар кинулся к ней, стал звать на помощь. Силой удалось открыть ей рот и вытащить булавки. Мать сделала вид, что проглотила часть булавок. Она извивалась от боли, плевалась кровью. Ее отправили в больницу. Из больницы она передала для меня записку с женщиной, которую выписывали.

— Возьми меня под руку, и медленно выйдем, — сказала она.

Мы вышли. Пока мы дошли до такси, казалось, прошли века. Я был счастлив — я стал спасителем Розали.

Мы доехали до Елисейских полей. Взяли другое такси, чтобы доехать до вокзала Сен-Лазар. Здесь прошли через зал, вышли на улицу Амстердам, взяли третье такси и доехали до улицы Пти-Отель, где мы жили.

— Розали! Когда-нибудь я разбогатею и не позволю тебе «работать».

— Жан! Тебе нужно подумать о серьезной работе.

— Дай мне еще год. Если через год я не разбогатею и не добьюсь успеха, обещаю найти работу по твоему усмотрению. А пока, если нужно, я буду тебе помогать.

Итак, я продолжал навещать торговцев мехами, драгоценностями и другие магазины. В конце концов я стал действовать гораздо непринужденнее.

Я наблюдал, как «работает» Розали. Она всегда носила плиссированную юбку с резинкой на талии, которая позволяла делать ее растягивающейся. Под юбку надевала

трикотажные брюки, сильно суженные в коленях, а пальто скрывало ее уловку. Летом пальто было из легкой ткани, оно напоминало платье. Во время «работы» Розали полнела на глазах. Мне казалось, что в моем присутствии с ней не случится ничего плохого. Я серьезно верил в свою удачу. Я не сомневался, что до конца года получу роль. Однако я хорошо понимал, что нужно помочь своей удаче.

Режиссер М.Л., узнав, что я работаю статистом у Дюллена, прислал мне записку: *«Господин Жан!*

Мне кажется, что я несколько отстал (или забежал вперед) с вами. Я произвел подсчет и констатирую, что с прилагаемым чеком, маленькими ролями и большой картой иной в ваш вместительный карман попали три тысячи триста франков. То есть на десять процентов больше, чем я вам обещал. Это не так уж плохо. Как бы только ваш новый возлюбленный «Господин Театр» не заставил вас перейти и на черный хлеб, когда вы от казались есть белый. Но, может быть, вы предпочитаете есть черный хлеб. Тем хуже. М.Л.»

Слово «черный» было подчеркнуто. Следовательно, на М.Л. можно было больше не рассчитывать. Я снова побывал в нескольких кинофирмах, но безрезультатно. Вскоре я узнал, что Жан Кокто собирается ставить новую пьесу. Жан-Пьер Омон должен был играть в ней главную роль. Я хотел встретиться с Жаном Кокто. Для этого мне нужен был его адрес.

У нас с Жан-Пьером Омоном примерно одинаковый тип внешности. Может быть, меня возьмут к нему дублером.

Невозможно отыскать этот адрес. Хотелось верить в свою удачу. Значит, моей удачей будет не знать Жана Кокто. Неудача становилась спасительным предупреждением, направлявшим мою судьбу на лучший путь. Думаю, именно так приходит удача. Она любит, когда ее любят, ей льстит, если ты стараешься высоко нести ее знамя. Это — мнение, которое я высказываю, и совет, который даю.

С этого момента я вновь погрузился в «Юлия Цезаря», больше не думая о Кокто и стараясь хорошо работать. Я надеялся, что Дюллен вознаградит меня за мою преданность и даст мне роли.

Однажды вечером во время антракта в «Юлии Цезаре» ко мне подошла девушка своеобразной внешности — одновременно и некрасивая, и привлекательная.

— Меня зовут Дина, — сказала она. — Я учусь на курсах Руло. Мы создали молодежную группу. Вышла такая история: Руло обещал нам пьесу «Высота 3.200»,

только для нас, ребят с его курсов. Постепенно вместо нас он набрал звезд. Мы решили не отступать и самим поставить спектакль. Покажем его в июле на выставке. У нас достаточно девушек, но мало ребят. Хотите войти в нашу группу?

— Мне не хотелось бы бросать «Юлия Цезаря», я надеюсь получить здесь роль в будущем году. Я не хочу вызывать недовольство Дюллена.

— Очень жаль, — сказала она, — мне бы хотелось, чтобы вы были с нами.

— Мне тоже жаль... А что это за пьеса?

— «Царь Эдип» Жана Кокто, — уточняет она, удаляясь.

— Подождите, это все меняет!

Я не воспринял всерьез историю с молодыми актерами, но это была возможность вернуться к идее дублировать Жан-Пьера Омона. Я спросил:

— Что нужно делать?

— В субботу, в четыре часа, прослушивание в студии Вакера.

— Без четверти пять я должен буду уйти. Я посещаю курсы Дюллена и никогда не пропускаю занятий.

— Вы пройдете одним из первых. У вас есть сцена?

— «С любовью не шутят».

— А кто-нибудь для реплики?

— Нет.

— Я вам подам реплику.

— До субботы.

В субботу я явился ровно в четыре часа. Кокто нет. Половина пятого, без пятнадцати пять, Кокто все еще нет.

— Я вынужден уйти. Я иду к Дюллени. Вернусь после курсов. Если Кокто захочет меня подождать...

В семь часов я возвращаюсь. Кокто здесь. Он не так молод, как я воображал, удивительно худой, очень элегантный. Его элегантность исходит от него самого, а не от его костюма, который сам по себе не слишком изыскан. Рукава его пиджака подвернуты над тонкими запястьями, несомненно, для удобства. Обшлага рубашки очень тугие, так же как воротник и галстук, кажется, они вот-вот задушат его. Странное, треугольное, удлиненное лицо, на голове беспорядочная шевелюра. Морщинки вокруг живых, умных глаз с очень маленьким зрачком в центре сине-зеленой радужной оболочки, окаймленной голубым.

Он говорит с нами просто, как равный с равными, но говорит один, поскольку никто из нас не осмеливается ввязаться в этот мнимый диалог, превращающийся в монолог.

Он ставит вопросы и дает ответы, разделяемые словечком «да?». Он продолжает: «Вы еще не показывали свою сцену, да? Я вас слушаю».

Я играю роль Пердикана. Дина, подающая мне реплики, изумительна. Она горит, искрится. Это первая великая актриса, которую я вижу перед собой. Это мне помогает. У меня такое ощущение, что я превзошел самого себя.

Жан Кокто поручил мне главную роль — роль Эдипа. Я узнаю, что помимо «Царя Эдипа» мы будем играть в этой же программе «Макбета», который поставит Жюльен Берто. Я буду играть Малкольма. Все это я слушал, как во сне.

После ухода Жана Кокто произошло замешательство, причину которого я не понял. Дина спросила мой номер телефона, обещала позвонить.

То, что Жан Кокто дал мне главную роль Эдипа, не устраивало труппу. Приглашенный сверх штата, я оказался на первом месте. Они пошли к Кокто, объяснили ему, что я с других курсов и что это несправедливо. Кокто все понял и отдал роль Эдипа Мишелю Витольду, а мне поручил роль человека из хора. Но я должен был остаться Малкольмом в «Макбете».

Позвонила Дина. Мы договорились о встрече. Боясь огорчить меня, она рассказала все это очень тактично. Я в восторге: Эдип или человек из хора, но я буду дублером Жан-Пьера Омона.

Мы репетируем в зале благотворительного общества XV округа Парижа. Терпеливый, вежливый, простой, даже шуточный, Жан Кокто поправляет нас как товарищ, дает указания так, как если бы мы были великими актерами. Иногда его сопровождают Ол Браун и Марсель Килл, который был его гидом в путешествии «Вокруг света в восемьдесят дней». Хотя Жан Кокто держится очень просто, я не смею обратиться к нему. Это дублирование Жан-Пьера Омона давит, беспокоит, терзает меня. Нет, я ему ничего не скажу. Но как-то он сам подошел ко мне и сказал:

— Жан-Пьер Омон должен был играть в моей пьесе в театре «Эвр» в октябре; контракты фильмов не позволяют ему этого. Хотите играть вместо него?

— Да, да, конечно.

— Нужно, чтобы я прочел вам пьесу.

Направляясь в отель «Кастилия», где жил Жан Кокто, я вспомнил о режиссере М.Л. Что я буду делать, если окажусь в аналогичной ситуации?

Я стучусь в дверь. Вхожу. Его комната ничем не отличалась бы от комнат других скромных отелей, если бы не масляная лампа, серебряное блюдо, серебряные иглы, кольца из нефрита, трубки, опиум и этот запах, который Пикассо называл самым тонким; если бы не бумаги и прикрепленные повсюду рисунки, книги, тетради в беспорядке, однако только кажущемся; если бы не несколько странных предметов, таких, как янтарное яблоко с бриллиантовыми листьями, золотые коробочки, деревянная рука.

Ол Браун, Марсель Килл сидят на кровати, Жан Кокто лежит в белом купальном халате, запачканном опиумом и прожженным сигаретами, на шее у него повязан платок, да так туго, что врезается в кожу. Он курит.

Я смущен, очарован и восхищен тем, что нахожусь здесь, как если бы в одну секунду я преодолел горы и моря и оказался в волшебном и запретном месте. Кокто тепло прощается с друзьями, дает мне знак сесть. Поскольку на стульях лежит одежда, я сажусь на пол у кровати около него. Он уже не курит. Начинает читать металлическим голосом, ясно и отчетливо. Читает очень быстро, нанизывая слова, почти без всяких связей. Его ритм неподражаем. Ни один актер не смог бы его уловить. Я никогда не слышал такого произведения или по крайней мере произведения, которое можно было бы с ним сравнить. Язык, сценические находки, роли — все ново для меня. Роль Галаада, непорочного Рыцаря в Белых Доспехах, которую я должен был сыграть, приводит меня в восторг. Я признаюсь ему в этом в конце первого действия и извиняюсь за то, что не могу выразить все, что чувствую, и это правда.

— Я слишком устал, чтобы читать дальше, вы не могли бы прийти в другой раз? — спрашивает он.

Оказавшись на улице, я бросаюсь бежать, я прыгаю и мысленно восклицаю: «Это невозможно, это невозможно!»

Дома я ничего не сказал матери. Слишком много аннулированных обещаний киноледи привело к драмам. Пусть это будет сюрпризом. До конца года у меня будет новая, главная роль. И в этот раз мне дали ее за мой талант! Жан Кокто бескорыстен. Между нами нет и тени двусмысленности.

Неделю спустя я снова стучусь в его дверь. Та же атмосфера, что и в первое посещение, но Ола Брауна и Марселя Килла нет. Я снова вспомнил отдельный кабинет на улице Камбасереса. Как и в первый раз, я сажусь возле кровати. Жан Кокто на одном дыхании читает второе действие. У него такой вид, будто он читает свое произведение перед самой авторитетной аудиторией. Он снова говорит, что устал, и просит прийти на следующей неделе.

Я вышел от него такой же возбужденный, как и после первого чтения, но удивленный. И все-таки я еще опасался последнего чтения.

Что я буду делать, если?.. Я боюсь ответить честно. Я не смею признаться себе, что я всего лишь карьерист.

В назначенный день я в номере Кокто. Он дочитывает третье действие. Я не знаю, что сказать, так мне понравилась пьеса. Я неловок и искренен, а он обращается с этим

глупым мальчишкой, как с самым образованным человеком на свете, добиваясь его мнения, как истины. Он не играет, он искренен, и в этом, я считаю, его необыкновенность, щедрость.

— Вы Галаад непорочный. Я хочу, чтобы вы сыграли в моей пьесе «Рыцари Круглого стола». Но вы должны пройти прослушивание в присутствии директрисы театра «Эвр» госпожи Полетт Паке, — говорит он.

Мной овладевает тревога.

— Еще я должен вас предупредить: если вы будете играть в моей пьесе, вас будут считать моим другом.

— Я буду этим очень горд, — слышу я свой ответ.

Я снова на улице, безумно счастливый, однако немного обеспокоенный.

Я играю свою сцену, принесшую мне удачу, из пьесы «С любовью не шутят» вместе с той же своеобразной некрасивой девушкой Диной, которая подавала мне реплику. Она исполняла роль чтеца в «Царе Эдипе» и роль леди Макбет в «Макбете».

Полетт Паке подписала со мной первый контракт. Профсоюзный минимум — шестьдесят франков, они кажутся мне целым состоянием. Я еще не могу дать возможность Розали жить на широкую ногу, но смогу внести свою долю в семейный бюджет, и потом — у меня главная роль! Теперь появилась надежда, что сбудутся мои мечты!

Наконец 12 июля 1937 года мы играем «Царя Эдипа» в «Театре Антуана». Спектакль был объявлен на неделю, а продержался три недели. Гийом Монен сделал декорации по указаниям и рисункам Жана Кокто. Костюмы придумал Жан Кокто, используя материалы, подаренные Коко Шанель. Некоторые из них представляли собой смонтированные металлические пластинки, гибкие, но какого веса! Это было необычно и ново. Для костюма пастуха Жан Кокто, думая сэкономить наши средства, предложил купить очёски ткани. В каждую петлю мы продевали очёски ткани, которую предварительно накручивали на палец, чтобы придать ей вид овечьей шерсти. Такая имитация овечьей шкуры стоила нам целого состояния — табачные лавки в округе сбыли весь свой запас трубочисток, так много их понадобилось!

Мой костюм, если его можно так назвать, состоял из белых повязок, как у тяжелораненого. В действительности я был почти голый.

Я лежал неподвижно, как статуя, на возвышении, прямо в зале, перед сценой. Еще двое моих товарищей — Ален Нобис и Люсьен Мерель — вместе со мной составляли хор. Я находился в центре, а они по бокам сцены.

Моя бабушка была уроженкой Эльзаса, и в детстве я подражал ее акценту. Надо мной подшучивали. Меня называли Хан Маре. Лежа на своем возвышении (было это воспоминанием детства или я подражал Марианне Освальд, очаровавшей меня, не знаю), я произносил придыхательное «h» перед словом Эдип. Очевидно, это должно было производить странное впечатление. Однако Жан Кокто не делал мне замечаний. По-моему, ему всегда нравились акценты. Он хотел, чтобы у Иокасты был славянский акцент.

Однажды Андре Ж. повел меня в «Палас» на Марианну Освальд. Я сохранил об этом спектакле неизгладимое воспоминание. Ее появление на сцене меня потрясло. Высокая, затянутая в черное платье с длинными рукавами, чем-то напомнившая мне Дину на прослушивании. Мертвенно-бледный цвет лица, выступающая за края губ ярко-красная помада, зеленые глаза, рыжие взлохмаченные волосы, беспорядочные жесты — все, кажется, было вызовом красоте. Она словно вступала в бой. Пела воинственно, не щадя своего таланта. Ее еврейско-немецкий акцент придавал большое своеобразие ее исполнению.

Она исполняла зонг из «Трехгрошовой оперы».

И вдруг публика как с цепи сорвалась. Весь зал неистовствовал.

Зал ревел, свистел. Я кричал: «Браво!» Меня стали оскорблять, и все это чуть не окончилось дракой.

С этого дня я проникся к ней восхищением.

Спектакль «Царь Эдип» был необыкновенно прекрасен, но так своеобразен, что некоторые зрители оставались нечувствительными к этой красоте и даже негодовали. Актеры двигались только по прямой линии или под прямым углом, каждым своим жестом рисовали цифру. Одни зрители перешептывались, другие хихикали. Со своего возвышения я вел бой. Я резко поворачивал голову к весельчакам и, не мигая, смотрел на них. Эта статуя, живая и злая, обращала их самих в статуи. В конце концов я полюбил борьбу, и это возвышение приучило меня к ней.

Жан Кокто писал об этом:

«Мы видели, как Жан Марс, неподвижный в переплетении своих повязок, сражался с насмешливой толпой и, несмотря на неподвижность, горел таким яростным гневом против этих глупцов, что от всего его существа исходило пламя, как от дракона, охраняющего сокровища. Ему удалось победить глупые смешки только силой своего духа».

Несмотря на молодость исполнителей, спектакль получился своеобразным и интересным. Мишель Витольд уже тогда заявил о себе как о великом актере. Остальные играли с такой любовью и неистовой силой, что просто излучали внутренний свет, который не может дать одно ремесло.

Жана Кокто не было в зале. Это нас огорчало. Он всегда смотрел спектакль из-за кулис и сам гремел в тамтам. Но один вечер он обещал нам присутствовать в зале. Мы очень боялись его оценки. В этот вечер он не пришел за кулисы после спектакля. Мы были в отчаянии. Мы решили, что не понравились ему.

Мне поручили сходить к Кокто в отель «Кастилия». Я попросил разрешения подняться к нему.

— Господин Кокто, вы находите, что мы плохо играли?

— Я нахожу вас всех восхитительными, а спектакль настолько прекрасным, что я разрыдался. Я был смешон, я сбежал.

Во время репетиций и представлений «Царя Эдипа» родилась моя репутация очень любезного человека. В действительности я не был таким и до сих пор таким не стал. От плохой репутации, как и от хорошей, невозможно избавиться. Я хорошо знаком с Мадлен Робинсон. Мы вместе учились на курсах Дюллена. Я восхищаюсь ею и люблю ее. У нас абсолютно одинаковый характер. Если она даст кому-нибудь пощечину, ее оскорбляют. Если я дам кому-то пощечину, обо мне говорят как о герое.

-

В начале своей карьеры я хотел создать себе репутацию любезного человека, как раньше создал репутацию удачливого. Мне пришлось столкнуться с нашей молодой компанией. Роль Эдипа, предложенная мне в первый же день, уязвила их. Когда Жан Кокто предложил мне сыграть в «Рыцарях Круглого стола», это подлило масла в огонь. Обо мне пошли довольно неприятные толки за кулисами. Очаровательная малышка по прозвищу Сверчок передавала мне их, помогая переодеваться. Что было делать? Давать пощечины? Драться? Это значило бы подвести человека, который меня предупредил. Делать ответные подлости невозможно, постыдно. Мне оставалось одно — оказывать им услуги. Не из доброты и не из любезности. Это был мой способ мести. Тем, кто говорил обо мне самые ужасные гадости, я оказывал услуги. Они терялись, не знали, что говорить, как себя вести.

В конце концов меня стали считать круглым идиотом, но замолчали.

Это стало моей системой, своеобразной хитростью. Давало ощущение легкости, непринужденности. Уродство и подлость давят. Сам себе не нравишься. А это что-то вроде морального комфорта, дающего ощущение счастья. И потом, я заметил, что злые очень быстро теряют больше, чем выигрывают. В конечном итоге побеждает доброта.

Хотя спектакль был заявлен на неделю и играла его молодежь, он наделал много шума. Я не подозревал, что все, связанное с Жаном Кокто, становилось значительным.

Примчались репортеры, фотографы. «Вог», «Харперс Базар» даже прислали своих лучших фотографов. Все газеты пестрели моими фотографиями.

После окончания представлений Кокто исчез. В течение двух месяцев от него не было никаких вестей, так же как и от моей будущей директрисы Полетт Паке. Я беспокоился за судьбу своей роли. Сидел у телефона. Вдруг — звонок Жана Кокто:

— Приходите немедленно! Произошла катастрофа!

Я бросился в отель «Кастилия». По дороге меня одолевали тревожные мысли. Наверное, Жан-Пьер Омон освободился и будет играть в пьесе. У меня заберут роль. В отчаянии я готов был зарыдать.

Отель «Кастилия». Стучу в дверь, вхожу. Кокто курит опиум, смотрит на меня. Он, кажется, так же удручен, как и я. Я закрываю дверь и неподвижно стою. Жду самого худшего. Кокто кладет трубку. Он в купальном халате. Его руки безжизненно опускаются вдоль тела, он повторяет:

— Произошла катастрофа...

Он похож на ребенка, опасующегося наказания.

— Катастрофа... Я люблю вас.

Этот человек, которым я восхищаюсь, дал мне то, чего я желал больше всего на свете. И ничего не попросил взамен. Я не люблю его. Как может он любить меня... меня... это невозможно.

— Жан, вы видите, как я живу. Спасите меня. Только вы можете меня спасти...

— Я тоже люблю вас, — говорю я ему.

Я лгал. Да, я лгал.

Объяснить эту ложь трудно. Я испытывал к Жану Кокто чувство восхищения, огромного уважения, что, конечно, не соответствовало его чувству. И еще я был польщен.

Кроме того, мысль о том, что ничтожное существо, каким я был, может спасти великого поэта, вдохновляла меня. Именно в эту секунду я должен был стать кем-то вроде Лорензаччо. Я решил дарить счастье, «бросить вызов несчастью, спутнику поэтов», как мне писал Кокто впоследствии.

Конечно, не следует забывать карьериста, готового на все ради достижения своей цели. Я не признавался себе в этом, пытаюсь видеть в своем поведении только то, что могло меня украсить. Мне хотелось вести себя в этой лжи так, как если бы это было правдой. Я обещал себе, что буду безупречен и постараюсь стать таким, каким Кокто меня представлял. Я хотел стать актером? Ну что же, я буду играть роль, чтобы человек, которым я восхищаюсь, был счастлив. Я не долго играл эту роль. Каждый, кто приближался к Жану, не мог его не полюбить,

Вот еще одно сходство с Лорензаччо, который попадает в собственные сети и не может отступить. Внимание! Лорензаччо мелкого формата.

С самого начала я поклялся, что отучу его от наркотиков. Однако впоследствии мне часто приходилось помогать ему при курении. Однажды он попросил меня приехать в отель «Кастилия».

— Зайди за мной в полдень.

Когда я пришел, он спал. Я позвал его, стал трясти, сначала легонько, потом сильнее. Его глаза оставались закрытыми. Он боролся с собой, чтобы выйти из состояния сна. Наконец его губы зашевелились. Сначала я не разобрал ни одного слова. Это было похоже на протяжный вздох. Он хотел закурить, чтобы проснуться, но у него не было сил подняться, зажечь лампу, скатать шарики опиума. Он хотел, чтобы это сделал я. Как? Я видел, как он это делает, но сумею ли я? Я зажигаю масляную лампу, серебряной иглой беру каплю опиума, слегка прокаливаю ее на огне, с помощью нефритового кольца пытаюсь придать опиуму нужную форму. Вновь набираю опиума, прокаливаю. Постепенно мне удается получить нужную конусообразную форму. Затем я помещаю шарик в трубку и держу ее над пламенем. Когда шарик приклеивается к головке трубки, прокаливаю его серебряной иглой. Протягиваю трубку Жану, следя за тем, чтобы опиум не закрыл крошечное отверстие

головки. Жан делает вдох и просыпается. Первое, что я от него слышу, — вовсе не слова благодарности или приветствия:

— Я хотел бы умереть.

Я молчу. На глаза наворачиваются слезы... Я хотел бы видеть его счастливым. Тут он замечает меня, просит прощения, обнимает.

— Жан, ты не хочешь умереть.

— Нет, теперь не хочу. Во сне я забыл, что счастлив. Старая привычка.

Он удивляется, как мне удалось справиться с опиумом. Теперь, когда ужас пробуждения позади, Жан очень весел. Он рассказывает, с кем обедал накануне, кого встретил. Он всегда рассказывал так забавно, что мне казалось, будто большую часть своих историй он придумывает.

Позднее, когда нам пришлось вместе пережить несколько анекдотических случаев и я слышал, как он их рассказывал, я с удивлением заметил, что он ничего не придумывает, а передает все абсолютно точно. Но его взгляд на вещи, его манера изложения были столь забавны и поэтичны, что большинство людей думали, будто он сочиняет. В разных компаниях он рассказывал одну и ту же историю несколько раз. И мне никогда не надоедало слушать ее, так как с каждым разом история становилась все красочней и забавней.

Он быстро закончил свой туалет. Пока он курил, я приготовил ему ванну.

Он рассказал мне, что Ол Браун подружился с ним после того, как этот знаменитый боксер попросил однажды разрешения принять у него ванну. Так вот, приняв ванну, он собрался выпустить воду, но Жан крикнул ему:

«Мы опаздываем, не спускай воду, я вымоюсь в твоей воде».

— Жан, ты не боишься, что в отеле узнают о том, что ты куришь?

— Зажги керосиновую лампу.

— Жан, когда я пришел к тебе в первый раз, керосиновая лампа горела. Но уже возле лифта чувствовался особенный запах опиума.

— Пикассо говорит, что это самый тонкий, необычный запах.

Одевшись, он надушился одеколоном, специально изготовленным для него в аптеке Леклера по рецепту, который дала ему Коко Шанель. Это была туалетная вода императрицы Евгении, с которой Жан встречался. Мне казалось почти невероятным, что он был знаком с императрицей Евгенией. Самое удивительное, что так оно и было.

К четырем часам мы вышли поесть. В это время было открыто только у Прюнье. Прямо у стойки мы ели очень острые блюда, потому что у обоих не было аппетита — конечно, из-за неурочного времени нашего обеда. У Прюнье мы обедали почти ежедневно, хотя у Жана денег не было. Счета за гостиницу накапливались. Когда их набиралось слишком много, их отправляли Коко Шанель, которая их оплачивала. Это она так распорядилась.

Жан считал, что я слишком мало трачу.

— Нет, — отвечал я ему, — наоборот, я трачу очень много.

Жан не соглашался:

— Ты возвращаешься домой пешком. Вместо того чтобы взять такси. А ты ведь любишь ездить на такси.

Я как-то рассказал ему, что, когда у меня в кармане было всего десять франков, я брал такси и, когда счетчик показывал девять франков, выходил, даже если еще не доехал, потому что обязательно хотел дать чаевые.

— Я возвращаюсь пешком, потому что у меня нет денег.

— Я тебе дам.

Нет. Это мой новый способ быть расточительным — не просить денег.

Поговаривали, что Жан Кокто скуп, что он никогда не просит счет в ресторане, если обедает с друзьями. А он просто не думал об этом. Он увлеченно говорил, говорил, и всегда находил кто-нибудь, кто требовал счет и оплачивал его. Он замечал это много позже. Однажды он попросил меня напомнить ему об этом, но я не посмел. Я просто заплатил сам.

Но скупым он не был. Я не могу допустить, чтобы Жана называли скупым. Он всю жизнь всем помогал. А когда у него не было денег, он продавал вещи, которыми дорожил, чтобы помочь другу.

Легко давать деньги, когда они есть. Жан давал гораздо большее. Он не мог отказать в помощи: написать статью, предисловие, сделать рисунок, похлопотать за кого-то, дать совет в работе. Постановка «Царя Эдипа», сделанная им для неизвестных молодых актеров, — лучшее тому свидетельство; Он подарил нам три месяца своего времени. Это большая щедрость, чем оплатить счет в ресторане.

В отель «Кастилия» к Жану Кокто приходили много друзей. Самым частым гостем был Кристиан Берар. Я предпочитал его другим. Все называли его Бебе*, несмотря на бороду. Часто его сопровождал Борис Кохно. Берар никогда не разлучался со своей собачкой — по кличке Кола, — маленьким разномастным tenerифом. У Бебе были светло-рыжие волосы, обычно растрепанные, и такого же цвета борода.

Кожа, как у младенца, — бледная, тонкая, почти розовая, блестящая. Большие глаза, нежные и умные, с густыми длинными ресницами. Детское, вопрошающее выражение лица. Каждый его вопрос вел к открытиям и находкам.

* Младенец (фр.).

Его одежда никогда не выглядела новой, даже если была таковой. Чаще всего пиджак не гармонировал с брюками, которые он нередко забывал застегнуть. Рубашки никогда не были белыми, кроме тех случаев, когда он одевался на торжественный обед или на премьеру. Тогда его волосы были причесаны, но одна непокорная прядь, даже напомаженная, все портила.

Борис, напротив, был безупречен. Редкие, очень тщательно причесанные волосы, приличный костюм, до блеска начищенные туфли, белая рубашка, идеально подобранный галстук. Глаза черные и блестящие, взгляд твердый и ироничный, подбородок выбрит до синевы. Резко очерченные яркие губы, белое лицо.

Он доставал из кармана золотые портсигары фирмы Фамберже, роскошные зажигалки, кошельки. Ему нравилось, чтобы все их видели, и он с удовольствием их показывал.

Они оба мне нравились. Комната в отеле «Кастилия» принимала праздничный вид, когда они там появлялись. Часто они наряжались и вместе с Жаном разыгрывали целые спектакли. В ход шло все, что попадалось под руку: салфетки, полотенца, простыни, покрывала, подушки, корзина для бумаг, купальные халаты, грязное белье. Нередко единственным хохочущим свидетелем этих импровизаций бывал я.

Я рассказываю все это, чтобы подчеркнуть молодость, беззаботность тех минут, тогда как в других местах мы переживали разные драматические события и испытывали физические и духовные страдания.

Приходил еще один гость, который нравился мне гораздо меньше, — Морис Сакс. То, что рассказал о нем Жан, возмутило меня. Например, этот «друг», которого Жан послал к своей матери за какими-то бумагами, унес много рукописей и интимных писем, а впоследствии продал их. Жану сообщил об этом владелец книжного магазина. Я не понимал, как может Жан продолжать общение с этим типом.

Перед началом репетиций «Рыцарей Круглого стола» Жан повез меня на юг, в Тулон, к своей подруге, декоратору по имени Кула Роппа.

Мать не одобряла мою поездку. Я впервые ехал на юг. Нет, я ошибся: однажды я ездил к матери в Монпелье, в пересылочную тюрьму, где она в очередной раз отбывала наказание. Поэтому от юга у меня осталось грустное воспоминание, тем более что я чуть не утонул в Палавас-ле-Фло. Этот пляж разделен надвое каналом. Я хотел вплавь перебраться с одного пляжа на другой, но меня отнесло течением. Я не осмелился позвать на помощь — боялся показаться смешным. Меня вытащили. Мой гороскоп! «Берегись воды и огня» — всегда.

Матери не нравилось, что я проведу несколько недель с Жаном Кокто. Я

объяснил ей, что это необходимо для подготовки пьесы. Розали не выразила своего мнения по поводу «Царя Эдипа» и «Макбета». Она еще не верила, что «Рыцари» станут моим настоящим дебютом. Я больше не работал статистом у Дюллена. Поэтому ей непонятна была причина моих ночных возвращений. А я был так счастлив, мне хотелось, чтобы и она радовалась вместе со мной. Она же страдала оттого, что я могу быть счастлив без нее. Наше необыкновенное согласие рушилось.

Впервые я путешествовал в спальном вагоне. Наше купе не было похоже на другие: опиум придавал ему таинственность. Мы зажигали керосиновую лампу, закладывали полотенцами щель под дверь, затем зажигали масляную лампу и приоткрывали окно.

Я не курил, но зато чувствовал себя, как в коллеже, когда делал что-то запретное.

Закончив курить, Жан лежал совершенно неподвижно, вытянув руки вдоль тела. Он занимал нижнюю полку, я верхнюю. Я тушил свет, чтобы он думал, будто я сплю. Его глаза оставались открытыми. Я знал, что он работает.

«После Баланса начинается юг. Видишь крыши из розовой черепицы...»

Все пейзажи, страны, города, увиденные с ним, были несравненны. Благодаря ему я открывал красоты, о которых даже не подозревал, которых сам никогда бы не заметил. Так, в Тулоне мы останавливались возле каждой двери с красивым или оригинальной формы молотком, любовались знаменитыми кариатидами на носу старинных таможенных судов. Часами мы бродили по улицам города. Его восхищение всем прекрасным, необычным так много мне дало! И при этом ни разу он не пытался преподать мне урок. Я мог смело задавать ему вопросы, выдающие мою ужасную необразованность. Он отвечал на них терпеливо, без удивления. Я был счастлив. Я больше не играл комедию: я любил Жана.

У Кулы Роппы, где мы жили, была очень уютная квартирка с видом на порт: две комнаты и гостиная в мансарде.

Очень быстро комната, в которой жил Жан, становилась похожей на него. Его безделушки, его бумаги, его упорядоченный беспорядок совершенно преобразили ее. Я работал тогда над «Рыцарями Круглого стола», как правило, на террасе или на пляже. Возвращаясь, я обнаруживал чудеса: повсюду были разложены рисунки для декораций, костюмов, предназначенные мне или изображавшие меня. Если ему хотелось немного раскрасить рисунки, он использовал все, что попадалось под руку: цветные чернила, мелки, косметику Кулы Роппы.

Как-то во время вечерней прогулки Жан пришел в восторг от вывески перчаточника. Теперь всякий раз, когда мы проходили мимо лавки, он любовался этой железной перчаткой, выкрашенной в красный цвет. Часто мы выходили на прогулку специально, чтобы вновь ее увидеть. Однажды ночью, ничего не сказав Жану, я отправился к лавке перчаточника. Взобрался на второй этаж и, уцепившись за перчатку, повис на ней и висел, пока она не оторвалась. Когда я притащил ее Жану, он не поверил своим глазам.

Кула Роппа тоже курила опиум, но редко вместе с Жаном. Нас обслуживал бой индокитайского происхождения, присутствие которого придавало квартире еще большую необычность.

Однажды я спал совершенно голый на кровати в комнате Жана. Было очень жарко. Семь часов утра — для нас это еще ночь. Раздался стук в дверь, и она тут же распахнулась. Это полицейские, их было шестеро. Я натянул халат. Они на меня не смотрят. Все время они будут действовать так, как будто меня здесь нет. Хотя позже я узнал, что застигнутый в комнате курильщика опиума также считается таковым.

Очень вежливо, ссылаясь на свой долг, они составили протокол и забрали все принадлежности для курения. То же самое они проделали в комнате Кулы Роппы. Жан убит.

— Что делать?

— Будешь лечиться, — сказал я.

— Нет, Жанно, нет, лечение от наркомании стоит очень дорого, и, потом, на это

нужно время. У меня его нет. Я должен вернуться в Париж, чтобы поставить нашу пьесу.

— Жан, ты должен вылечиться.

— Нет, я лучше утоплюсь в порту. Я не хочу больше курить и не хочу лечиться, я хочу умереть.

— Жан!

— Если я брошу курить, у меня может начаться приступ. Это жуткие боли, я не хочу ждать.

— Жан, ты говорил, что можно получить опиум из остатков. — Когда чистишь трубку, из нее высыпается вещество, похожее на кофейную гущу. — Так вот, как-то, не зная, куда девать остатки, я положил их в большой конверт и заклеил. Он должен быть здесь, среди твоих бумаг.

Мы нашли конверт. Жан и Кула приготовили опиум. Вся квартира провоняла этим запахом. Они скатали шарики и проглотили их вместе с кофе.

Жан послал меня в Марсель, дал адрес. Я отправился туда и вернулся с опиумом и всем необходимым для курения.

Сколько времени понадобится, чтобы излечить Жана от наркомании? Я часто сетовал на себя за то, что не воспользовался этим случаем.

Наконец мы репетируем «Рыцарей Круглого стола». Люсьена Богаэрт, для которой была написана роль королевы, не хочет ее играть, Эдвиж Фейер тоже отказывается. Полетт Пакс нашла молодую неизвестную актрису Анни Морен. Роль королевы потрясающе сложная. Анни Морен играет хорошо, не более того, тогда как нужно быть гениальной.

По моему настоянию Мишеля Витольда взяли на роль Мерлина. Он молод, но какой талант и какая безмерная любовь к театру! Жан-Луи Барро отказался от роли Гевейна, и Жан поручил ее Жоржу Роллену. Он не привнесет в нее ни загадочности, ни чувственности, ни находок. Бланшетт Брюнуа очаровательна в роли Эландины. Самсон Фенсильбер будет играть короля Артура, Паскаль — Ланселота, Ив Форже — Сеграмона.

Жан много сил отдает режиссуре. Он со всеми любезен и приветлив. Точный, прямой, он ничего не готовит заранее. Он импровизирует. Ему нравятся его исполнители, которым он расточает похвалы.

После одной из репетиций Жан сказал мне:

— В последней сцене ты был так трогателен, что я заплакал.

На следующий день, после репетиции, на которую он привел одного из своих друзей:

— Такой-то сказал мне, что рыцарь не должен плакать.

Я изменил свою манеру игры.

Накануне генеральной репетиции:

— Я больше ни разу не испытал того волнения, в которое ты привел меня на одной из репетиций. Играй так, как ты играл тогда.

Но я уже не смог. Я затратил столько усилий, чтобы совладать со своими чувствами, стремясь измениться, что уже был не способен найти верный тон.

Моя роль непорочного Галаада приводила меня в трепет. О моем скором появлении говорили в течение всего первого акта. Трубы Пёрселла* возвещали о моем приходе. Ослепляющий свет, разверзается стена. Появляюсь я в белых, расшитых золотом одеждах, иду прямо перед собой, ничего не видя, и, по замыслу Жана Кокто, вещаю громовым голосом.

* Пёрселл Генри (ок. 1659 - 1695) — английский композитор XVII века, придворный музыкант Стюартов.

От музыки Пёрселла у меня подкашиваются ноги, свет ослепляет. Все эти оправдания к тому, чтобы признаться, что я был, по-моему, никуда не годен.

Париж разделил мое мнение. В одной статье говорилось: «Что до Жана Маре, он красив. И только». Я так не считал. Мои фотографии казались мне да и сейчас кажутся слащавыми. Раз начали говорить о моей внешности, значит, у меня не находят никакого таланта. К тому же я тоже так думал. Эта красота... Сначала решили, что я ею кичусь, позже вообразили, что я от нее страдаю. И то и другое неверно и абсурдно. Прежде всего, я никогда не считал себя красивым. Это не кокетство, наоборот. Если бы я был наделен совершенной красотой, я не стал бы от нее отказываться. Красота — это тоже вопрос моды.

В «Блеске и нищете куртизанок» Бальзак описывает Эстер как некрасивую женщину. Такая, как он ее изображает, Эстер наделена красотой современных суперзвезд. А те женщины, которых он описывает как красавиц, в наше время, напротив, не считали бы очаровательными.

Я убежден, что моя внешность таинственным образом совпала с преходящим вкусом определенной эпохи. Ту красоту, которой меня наделили, я никогда не любил, но и не сетовал на нее. Она была одним из элементов моей удачи, которой я старался помогать.

Если роль требует красоты, я сделаю все, чтобы казаться красивым. Это такое же творчество, как когда я стараюсь выглядеть некрасивым, если того требует роль.

Самую большую радость доставила мне одна журналистка. Она присутствовала на генеральной репетиции «Рыцарей Круглого стола», потом посмотрела спектакль еще раз и заявила: «Вы сделали большие успехи». Поскольку мне не нравился тот актер, которым я становился, я поставил перед собой одну цель: делать успехи. Неожиданно, пока шли спектакли, Жан Кокто уехал путешествовать. Позже я узнал, что его сопровождали Марсель Килл и Ол Браун. Целых два месяца я не имел от него известии, ни одной маленькой строчки. Напрасно старался я понять его поведение.

Розали, несколько успокоившись, начала привыкать к мысли, что я буду актером. Из зарабатываемых мною шестидесяти франков сорок я отдавал на хозяйство. Я был удивлен, когда мать, строго судившая обо всем, что я делал, похвалила мою игру в «Рыцарях». Поскольку я сам считал, что играю плохо, я ожидал услышать от нее суровую критику. Лестный гул в зале при моем появлении на сцене произвел на нее впечатление.

— Вот увидишь, скоро я буду зарабатывать много денег и тебе не придется «работать», — говорил я.

— Посмотрим.

Я больше не сопровождал ее в магазинах. Я почти сожалел об этом, поскольку был уверен, что одним своим присутствием охраняю ее.

Здоровье бабушки внушало тревогу. Врач был настроен пессимистически.

Розали по-прежнему не желала видеть моего брата. Я выступил в его защиту. «Нужно все забыть, заняться его лечением», — сказал я ей. Наконец мать согласилась, чтобы он вернулся домой. Мы избегали разговоров о его приключении. Любовница его бросила. Он был грустен и нездоров. Все это снова сблизило меня с Розали. Как будто опять вернулась Розали моего детства.

Я продолжал учиться на курсах Дюллена. Я работал вдвое больше, стремясь быть достойным той удачи, которой не заслужил.

Дюллен предложил мне две роли в следующей пьесе, которую он собирался ставить: голого альфонса в первой части и более интересную роль во второй. Не имея возможности посоветоваться с Жаном, который все еще отсутствовал, я согласился.

Со времени «Царя Эдипа» меня часто приглашал фотограф из журнала «Вог». У него я встретился с Лукино Висконти. Он был ассистентом Жана Ренуара, но я этого не знал. Он видел «Рыцарей Круглого стола» и предложил мне работать в Италии. Я отказался, но, несмотря на это, мы остались большими друзьями.

Вернулся Жан Кокто, неожиданно нагрянув в мою артистическую в театре «Эвр». Шли последние представления. Мне было грустно расставаться со своей первой большой ролью.

Слишком счастливый оттого, что снова вижу его, я ни о чем его не спрашивал. Позднее в отеле «Кастилия» он объяснил, что уехал, потому что испугался того размаха, какой приняла наша дружба. Его отъезд был чем-то вроде бегства, он просил у меня за это прощения. По окончании спектаклей мы три дня не выходили из комнаты в отеле «Кастилия». Обеды нам приносили прямо в номер.

В отсутствие Жана я прочитал его книги «Опиум» и «Мирская тайна». В «Опиуме» он говорит, что никогда не смог бы жить рядом с человеком, который не курит. Я дал себе слово жить с ним, никогда не курить и помочь ему избавиться от этой пагубной привычки.

Говорили, что Жан Кокто старался приобщить своих друзей к наркотикам. Я утверждаю, что мне он этого никогда не предлагал. Более того, мне кажется, он испытывал ко мне некоторое уважение именно из-за того, что я не поддавался искушению. Он видел меня как бы в роли, которую мне дал, — непорочного рыцаря в белых доспехах, защищенного неуязвимым панцирем. Но должен признаться, что аксессуары курильщика и сама атмосфера комнаты были большим соблазном. Жан объяснял мне, что опиум не дает никаких видений, никаких эйфорических грез. В Жане с самого рождения все было неправильно: волосы росли в разные стороны, зубы и позвоночник были искривлены, ему постоянно было не по себе. Только опиум давал равновесие, которое ему было необходимо. Курильщики опиума не бывают вульгарны. Опиум придает им духовное изящество, изысканную вежливость, чего не скажешь о других наркотиках. Когда Марсель Килл на время перестает курить, он пьет и становится другим персонажем, совершенно чуждым мне.

Я остерегался говорить Жану, что опиум меня привлекает. Моя профессия была для меня самым главным, и я смутно понимал, что нужно выбирать. Опиум необходимо принимать в определенные часы, без него нельзя обойтись, не испытывая ужасных болей, в результате становишься рабом. А профессия актера требует здоровья и сил, которые можно приобрести только образцовой дисциплиной.

В своей книге «Мирская тайна» Жан Кокто писал об одном неизвестном мне художнике Де Кирико, высказывая о нем выходящие за пределы моего понимания мысли. Я даже разрыдался во время чтения, да так сильно, что пришлось отложить книгу. Я попросил Жана объяснить мне это. Он сказал: «Это потому, что в тебе живет чувство совершенства».

Он обнял меня, улыбаясь, будто извиняясь за фразу, которая могла показаться мне претенциозной. Но в нем никогда не было претенциозности. Он говорил правду.

Впоследствии я анализировал свою реакцию на произведения искусства. Меня больше потрясло совершенство исполнения, чем сюжет. Я получил еще одно тому доказательство, когда Кокто привел меня в литературную ложу «Одеона». Ивонна де Бре играла в «Екатерине — императоре». И вдруг и пьеса и ложа — все исчезло. Я понял, чем могли быть корифеи сцены — «священные чудовища», о которых говорил Жан. Я вскочил с кресла и, стоя, как во сне, аплодировал.

В тот вечер Жан решил написать пьесу для нас двоих.

Я репетировал у Дюллена. За неделю до генеральной репетиции у меня забрали одну из ролей, самую интересную. Осталась только роль голого альфонса в «Плутусе». Я ушел от Дюллена. Жан пригласил меня поехать с ним на время, пока он будет писать пьесу, в Монтаржи. Мы остановились в «Отель де ля Пост».

«Здесь приступы бурных чувств меня не настигают», — говорил Жан.

Он любил уезжать в такого рода места для работы над новой пьесой. Маленький городок, пересекаемый множеством каналов, старые дома, очаровательный закрытый театр, живописные окрестности, простой, комфортабельный отель, хорошая кухня.

Я привез с собой тексты классических пьес для работы, книги. Жан рисовал, курил, лежал целыми часами, бродил со мной по окрестностям и по улицам маленького городка. Он не писал.

К нам приезжали друзья: Роже Ланн, Марсель Килл, Макс Жакоб. Макс Жакоб был нашим соседом. Однажды он принял нас в базилике Сен-Бенуа, где занимал

убогую комнатенку. Он показывал посетителям церковь. Он был кем-то вроде ризничего, и ему не оказывали никакого почтения. Замечал ли он это? Думаю, что нет. Он был погружен в свою веру и много рисовал.

Он показал нам новую серию гуашей.

Я испытывал сильную привязанность к Максу Жакобу. Во всяком случае, почти по долгу службы я мгновенно привязываюсь к людям, которых любят те, кого люблю я. Справедливости ради я должен признать, что врожденное кокетство заставляет меня стараться понравиться друзьям моих друзей, чтобы в мое отсутствие они говорили обо мне и укрепляли их дружеское отношение ко мне. Неужели во мне живет только расчет и я всегда буду следовать заданной линии поведения? Но к Макс Жакобу мое чувство было спонтанным, меня пленяли его интеллигентность и доброта. Кроме того, мне нравилось наблюдать, как они с Жаном предавались воспоминаниям о той героической эпохе, когда шла «война писем» — наступательная война против буржуа, оборонительная против сюрреалистов. Их диалог приводил меня в восторг.

Во время наших долгих прогулок я пытался доказать Жану, что я вовсе не так хорош, как он себе воображает, что он ошибается, видя во мне архангела, я вовсе не непорочен. Тогда он объяснил мне, что непорочность вовсе не то, что под этим понимают. Чистота означает быть цельным. Дьявол чист, потому что он не может делать добро.

— Значит, я дьявол.

— Ты мой ангел-хранитель, — засмеялся он.

Я страдал от своей глупости. Это возмущало Жана и даже иногда раздражало.

— Никогда не говори этого! Ты даешь людям молот, которым они будут бить тебя по голове.

Но как я мог не считать себя глупым рядом с ним? И даже рядом с людьми его круга.

Он по-прежнему не писал. Я начал беспокоиться. Он спросил, что бы я хотел сыграть. Я сказал, что хотел бы сыграть современного, живого, темпераментного героя, который бы плакал, смеялся и не был бы красив.

Стол был готов — чернила, перья, бумага, но Жан продолжал лежать, вытянув руки вдоль тела, с открытыми или закрытыми глазами. Время от времени он читал взятые мной в поездку классические пьесы «Британик»*, «Мизантроп»** или детективы. Засыпали мы очень поздно.

* «Британик» — трагедия Жана Расина (1669).

** «Мизантроп» — комедия Жана-Батиста Мольера (1666).

Как-то ночью, около четырех часов утра, он встал, сел к столу, раскрыл тетрадь и начал писать. Я впервые видел, как он пишет. Я не смел перевернуть страницу книги, пошевеливаться, почти не дышал.

Одна сиделка призналась Жану: «Когда вы пишете, я не хотела бы встретиться с вами где-нибудь в лесу». Она была права. Во время работы в его лице было что-то пугающее: рот сжат так сильно, что уголки губ опускались сантиметра на два, не меньше, все черты выражали страдание. Он быстро писал судорожно подергивающейся рукой.

Он писал всю неделю, днями и ночами на одном дыхании, без помарок, почти без отдыха. Его лицо покрывалось морщинами, все черты искажались, на них появлялось свирепое выражение убийцы. Убийцы своих персонажей. Я боролся со сном, чтобы быть рядом с ним, но не выдерживал. Мне было очень стыдно. Он меня успокаивал.

Через неделю пьеса была закончена. Я был потрясен.

Уже два месяца мы жили в Монтаржи. Жан признался, что, когда он лежал, пьеса рождалась в нем, акт за актом, сцена за сценой, фраза за фразой, слово за словом, и когда он писал — что он, кстати сказать, терпеть не мог, — он становился в некотором роде своим секретарем.

На восьмой день Жан прочитал мне пьесу на одном дыхании, несмотря на усталость. Я молчал. Он посмотрел на меня и понял, до какой степени я удручен.

— Она тебе не нравится? — спросил он.

— Я нахожу ее чудесной.

— Тогда почему этот убитый вид?

— Жан, я потрясен, взволнован так, что ты себе не можешь представить. Твоя пьеса — чудо, я обожаю ее.

На самом деле я был в отчаянии. Я понимал, что никогда не смогу сыграть такую роль, что у меня нет для этого ни таланта, ни сил. Я не хотел ему в этом признаться, чтобы не поколебать его доверия.

Я сказал только:

— Это самая прекрасная роль, о которой может мечтать молодой актер. Я буду много работать, чтобы быть достойным ее.

Потом мы стали придумывать название. Я говорю «мы», потому что, как всегда, Жан великодушно хотел, чтобы я участвовал в его работе.

Я был счастлив и горд. Только сейчас, когда пишу эти строки, я понимаю, что не оказывал ему никакой помощи. Со стороны Жана в этом не было позы, он был искренен, и я ему верил.

Позднее, во время написания других пьес, он иногда останавливался и говорил:

— Тут завязывается узел, который мне не удастся развязать.

Я просил его объяснить мне ситуацию, и он объяснял. Тогда я предлагал решения, которые мы обсуждали. После этого узел развязывался. Возможно, я таким образом был ему полезен. Впрочем, подозреваю, что в тот момент, когда он описывал мне препятствие, решение было им уже найдено.

Мы перебрали сотни названий. Только два из них казались подходящими: «Кибитки» и «Дом, где хлопают двери». Мы вернулись в Париж, так и не найдя решения.

Жан написал пьесу для Жуве, Мадлен Озере, Габриэлы Дорзиа, Ивонны де Бре и для меня.

— Замечательно! Успех обеспечен, — сказал Жуве.

Я очень горд, что буду работать с Жуве. Но через неделю он вернул пьесу под предлогом, что «на ней не заработаешь ни гроша».

Жан всегда думал, что Мадлен Озере решила, что ее роль слишком маленькая. Я же полагаю, что, скорее всего, Жуве сомневался в отношении меня. Дальнейшие события доказали это.

Мы обошли все театры Парижа, но безуспешно. Оценки были разные, отказы одинаковые.

Подумать только, нынешние директора театров гонятся за пьесами и не находят их! Странно... Я два года был директором театра, и мне ни разу не принесли пьесу. Между тем я ближе познакомился с Ивонной де Бре. Мне хотелось, чтобы она ответила дружбой на мое бьющее через край восхищение. Очень скоро она подарила мне свою дружбу. Однажды в присутствии Жана Кокто, сидя на его кровати, она пожелала прорепетировать со мной отрывок из пьесы. Возможно, для того, чтобы посмотреть, на что я способен. У меня было одно желание — сбежать.

— Сцену у кровати, — говорит она.

Я пытаюсь уклониться, я умоляю, на этот раз я действительно докажу, что у меня нет никакого таланта. Подавать реплику гению! Невозможно! Она настаивает. Я упираюсь. Она бросает мне:

— Который час?

— Шесть.

Сам того не желая, я поддержал разговор.

— Мишель! — продолжает она.

Я вижу ее взволнованное лицо. Она вот-вот зарыдает, она на грани нервного срыва. Потрясающе достоверно. Я отвечаю ей, почти не отдавая себе в этом отчета.

Своим талантом она возносит меня до таких вершин, которых я не надеялся достигнуть. Теперь все становится легким. Мне нужно лишь следовать за ней, смотреть на нее, слушать. Она так смешна, что я хохочу во все горло, так трагична, что я

обливаюсь слезами. В общем, мне уже не нужно было играть, я жил благодаря ее лицу, которое преображалось под влиянием испытываемых ею чувств и чего-то сверхъестественного, более правдивого, чем правда. Именно в эту минуту я подумал, что спасен. У меня теперь было одно желание — работать с ней. Но было ли это «работой» — переходить от смеха к слезам, глядя в ее глаза?

Жан прочитал пьесу Габриэлле Дорзиа, она приняла свою роль с восторгом. Но театра нет: ни один не хочет ставить пьесу!

Продается театр «Эдуарда VII». Что, если купить его? Не имея денег, Жан пытается их достать. Ему удается собрать лишь небольшую сумму. Не хватает тридцати двух тысяч франков, тридцати двух тысяч, которые невозможно найти.

Подумать только, недавно одной авантюристке, выдавшей себя за жену Жана Кокто, удалось присвоить тридцать два миллиона! Нам хватило бы тысячной доли. Как-то вечером Габриэлла Дорзиа, Ивонна де Бре, Жан Кокто, его секретарь Раймон Мюллер и я собрались в кафе «Бык на крыше». Жан Кокто в отчаянии, мы тоже.

— Никому я не нужен, — говорит Жан спокойно, — мой отец покончил жизнь самоубийством, я поступлю так же.

Мы сражены. В первый раз Жан говорит об этой драме. Меня охватывает паника. Нужно его спасать. Вдруг у меня возникла идея. Никому ничего не сказав, я вышел к телефону, нашел в справочнике номер отеля «Ритц». Оказавшись один в телефонной будке, я больше не владею собой—я плачу как ребенок. С трудом разбираю эти чертовы мелкие буквы телефонного справочника. Мадемуазель Шанель на проводе.

— Мадемуазель, Жан хочет покончить с собой. Я знаю, что вы много сделали для него, для театра. Он не может найти театр, чтобы поставить свою пьесу. Театр «Эдуарда VII» продается. Жану не хватает тридцати двух тысяч франков. Одолжите их ему, умоляю вас.

— Который час? — спросила Шанель, пока я старался унять рыдания, которые исторгало все мое существо; она не могла не слышать.

— Кажется, час ночи.

— Послушай, дружок, я работаю с раннего утра и не желаю, чтобы меня будили среди ночи из-за каких-то историй с театром, о котором я не желаю больше никогда слышать.

Она повесила трубку.

Поток моих слез не остановить. Я не могу спуститься вниз. А спуститься надо. Наконец мне удалось успокоиться. Я зашел в умывальную комнату, подставил лицо под струю холодной воды. А в это время внизу — всеобщее ликование. Секретарь Жана побывал у Алисы Косеа и Роже Капгра, директора театра «Амбассадёр». Они берут пьесу, даже не прочитав ее.

Только вернувшись в отель «Кастилия», я осмелился рассказать о своем телефонном звонке.

— Боже мой! Что ты наделал?!—воскликнул Жан.

Не знаю точно, что Коко Шанель и Жан могли наговорить друг другу на следующий день по телефону, но они больше не встречались до генеральной репетиции пьесы. Они поссорились, кажется, из-за того, что Коко Шанель заявила, будто я хотел выудить у нее тридцать две тысячи франков. Жан так никогда и не сказал мне правды.

Алиса Косеа и Роже Капгра пригласили нас к себе на улицу Нёнжесера-и-Коли для чтения пьесы. Это была шикарная современная двухэтажная квартира с огромными застекленными оконными проемами, выходящими на Булонский лес. Я ослеплен. Жан находит все это гротескным.

— Как я смогу читать в этом аквариуме? — говорит он.

К тому же во время чтения Алиса не перестает обмакивать намазанное маслом печенье в чай. Это меня бесит.

По окончании чтения они выражают свое восхищение.

Роже Капгра предлагает название «Трудные родители». Принято. Репетиции начнутся в сентябре.

Я рассказал обо всем Розали. Не каждый день я с ней делился тем, что со мной происходило, — я ждал, пока почувствую в этом неодолимую потребность. Но рано или поздно она становилась моей наперсницей. Я рассказывал ей о Жане, об Ивонне, о моих замечательных планах.

— На этот раз я надеюсь заработать достаточно, чтобы тебе не нужно было «работать».

Розали не мешала мне мечтать, часто расспрашивала. Обычно она охлаждала мои порывы. Ее вопросы чаще всего смущали меня. Иногда меня поражали выражения, которые она употребляла и которых раньше не было в ее лексиконе. Я также находил ее менее элегантной. Но от этого моя любовь к ней не уменьшалась. Я без конца рассказывал о ней Жану, который использовал все это в «Трудных родителях». В пьесе я называю мать Софи, хотя ее зовут Ивонна, потому что я называл свою мать Розали, хотя ее имя Генриетта или, вернее, Мари-Алина. Я также описал наши дома в Везине и Шату, квартиру на улице Пти-Отель.

Словечко «невероятно» из «Трудных родителей» пришло в пьесу не от матери, а от меня. Я произносил по всякому поводу «шикарно». Жан, находивший это слово не французским, заменил его на «не-ве-ро-ят-но».

Розали устраивала мне сцены из-за моих отлучек и из-за друзей. Исключение составлял Андре Ж., с которым мы продолжали встречаться. К нему одному она относилась терпимо. Разумеется, мне хотелось, чтобы Розали познакомилась с Жаном. Жан изо всех сил старался ей понравиться, но его любезность и врожденная приветливость не тронули ее. Я не мог согласиться с тем суровым и несправедливым суждением, которое она неизменно высказывала о нем.

В ожидании сентября Жан взял меня с собой на юг. Мы жили у его знакомой, известной журналистки по имени Титаина, в ее великолепном доме в Прамуське. Я забыл упомянуть, что после полицейского обыска в Тулоне мы уже жили у нее. Я чувствовал себя тогда немного не в своей тарелке: меня принимали из-за Жана и прекрасно обошлись бы без меня.

На этот раз она была очаровательна. А я был счастлив тем, что, живя на берегу моря, мог опробовать аппараты для подводного плавания майора Леприё, о котором Жан упоминает в «Трудных родителях». Так я случайно одним из первых начал заниматься подводной охотой, используя аппараты, позднее усовершенствованные Кусто. Леприё больше не мог оплачивать патент, и Кусто перекупил его. Очаровательный, рассеянный майор воплощал в себе тип изобретателя, как его изображают на карикатурах. Он жил в маленьком домике у порта Сен-Рафаэль. Когда почтальон опускал письма в его почтовый ящик, они падали прямо к нему на кровать. Таким образом он получал письма, не сделав ни одного движения, сразу после пробуждения.

Все остальное в его доме было в том же духе. Кроме прочего, он изобрел специальное зеркало, рирпроекцию, которой пользуются почти во всех фильмах. Актер играет перед изображениями, проецируемыми на это зеркало. При этом он как будто ведет автомобиль, который на самом деле неподвижен, или мы видим его крупным планом, скачущим на лошади или же прогуливающимся по Токио, хотя на самом деле он находится в парижской студии. Это изобретение Леприё по окончании срока действия патента стали использовать американцы.

Жан Кокто никогда не читал газет, но всегда был в курсе всех событий. Разговоры, которые велись в июле 1938 года, повергали в трепет. Все говорили о вероятности начала войны в ближайшие месяцы. Я не мог себе этого представить. Я отказывался в это верить. Начинают поговаривать о мобилизации, впрочем, кажется,

какой-то контингент уже мобилизован. стыдно признаться, но я думал не о войне, не о страданиях миллионов и миллионов людей и не о смерти, а о том, что я не буду играть в «Трудных родителях».

С ужасающей наивностью я молился. Со мной подобного не случилось со времени моего первого причастия. «Я прошу тебя, Господи, только об одном: отсрочить войну на год». Эту молитву, которую я присовокуплял к «Отче Наш», я произносил до самой премьеры «Трудных родителей». Я едва осмеливаюсь рассказать эту историю, заставляющую меня краснеть, настолько все наивно, эгоистично, несерьезно, недопустимо. Но непонятная смесь ребенка и взрослого, добра и зла, слабости и карьеризма, веры и неверия, хитрости и искренности, ума и глупости — все это я.

Конечно, я не думаю, что война отодвинулась на год благодаря моей молитве, но, так или иначе, в тот год она не началась, и я решил, что должен продолжать молиться. Я и сейчас молюсь. Верю ли я в Бога? Думаю, что да. Однако я перестал соблюдать религиозные обряды и ходить в церковь с тех пор, как стал совершать достойные порицания поступки. Прежде всего из стыда доверить их священнику и особенно потому, что я не хотел бы обещать не совершать их снова. Я старался молиться, усиленно сосредоточив мысль на том, что я произносил в своей молитве. «Прости долги наши, яко и мы отпускаем должникам нашим», — этот завет стал настолько необходимым, что я пытался следовать ему постоянно, и надо сказать — не без труда. Не раз дурная непосредственность моего характера заставляла меня нарушать его. Я также спрашивал себя, не из суеверия ли я молюсь. Когда мы просим Бога исполнить какое-то желание, это означает, что мы жаждем чего-то больше всего на свете и, желая чего-то, что выше наших сил, прилагаем больше усилий, чтобы преодолеть возникающие препятствия, и в конце концов побеждаем их. Так что это — молитва или сила нашего желания позволяет нам исполнить его?

Вскоре мне стало стыдно вечно что-то вымаливать. Я дошел до того, что стал опускать вторую часть «Отче Наш».

Я открылся Жану. Он не только не смеялся, а, наоборот, посоветовал мне молиться. Мне показалось, что он доволен. Он понял, какую я переживаю драму, стал расспрашивать. Я рассказал, что Розали арестовали, и объяснил, кто моя мать. Он обнял меня, нашел нужные слова, чтобы утешить. У меня больше не было от него секретов. Наша дружба только укрепилась.

Возвращаясь в Париж, мы заехали в Дакс повидать Капгра и Алису Косеа, которая находилась там на лечении. Я репетировал с Алисой в ее гостиничном номере. Она нашла мою игру правдивой, достоверной. Она уверена, что я хорошо сыграю роль.

Жан начал писать большую поэму «Пожар», которую он посвятит мне. Я счастлив.

8

Париж, начались репетиции. Первая катастрофа: заболела Ивонна де Бре. После перенесенной операции у нее бывают приступы, побуждающие ее пить. Капгра не хочет рисковать, Ивонна де Бре сама колеблется. Я уговариваю ее, Капгра, Жана Кокто. Но тем не менее приглашена другая актриса — Жермена Дермоз. Для меня все рушится.

Я не смогу играть без Ивонны. Я обнаруживаю, что репетиции в комнате и репетиции на сцене — нечто совершенно разное. Мои эмоции не видны из зала. Нужно все усиливать. Без Ивонны я это сделать не смогу. Я борюсь, используя свои слабые возможности. На месте стоящей передо мной Дермоз представляю Ивонну, вижу ее горящие глаза, слышу ее голос, отвечаю Ивонне в ее регистре, и мои чувства выплескиваются в зал!

Я прошу прощения у Жермены Дермоз, я обманул ее, как обманывает любовник или муж. Иначе мне пришлось бы отказаться от роли. Когда я проводывал больную

Ивонну, мне казалось, что ее я тоже обманываю. Она меня ободряла. Я рассказал ей, что со мной происходит. Она узнала от Жана и даже от Капгра, как я сражался за нее, хотя в действительности я сражался за себя. Ивонна подарила мне свою дружбу, можно даже сказать — любовь.

На репетициях меня не покидает чувство неловкости. Мне кажется, что Алиса Косеа не верит в меня. Неужели образ моего героя, так хорошо выстроенный в комнате, рухнет на первых же репетициях?

Это был серьезный урок для меня. Я понял, что естественность в жизни не то же самое, что естественность на сцене. Нужно владеть техникой преувеличения, преобразования, уметь усиливать свои чувства и подниматься до их высоты, особенно когда, как в моем случае, мешают голос, диапазон которого не соответствует внешности. Я быстро делал успехи. Но Алиса все еще недовольна. За кулисами она поставила ультиматум: «Или он, или я». Ее поддерживал Жуве. Как-то во время антракта «Мизантропа» (Алиса Косеа играла этот спектакль в театре «Амбассадёр») он сказал: «Жан Маре? Подождите, вы еще с ним наплачетесь!» Я узнал об этом за несколько дней до генеральной репетиции, и это навело меня на мысль, что я был одной из причин, если не единственной, его отказа играть в пьесе.

Жан стойко держался, несмотря на все ультиматумы дирекции. Но как, должно быть, он был обеспокоен! Он скрывал это от меня. Симпатии других моих товарищей служили мне поддержкой.

Наступил день генеральной репетиции. Меня буквально скрутило пополам за кулисами. В зале был весь Париж. Я слышал голоса своих товарищей на сцене. В зале царил мертвая тишина, и внутри у меня все помертвело. Руки были влажными. Холодный пот струился по всему телу. Страх. Страх пронизывал внутренности — ощущение одновременно жуткое и фантастическое. В желудке все горело. Я уже не думал о своем выходе, уверенный, что лишусь сознания раньше.

Рабочие сцены, помощники режиссера что-то говорили — я их не слышал. Один из помощников режиссера неподалеку от меня перечислял знаменитостей, присутствующих в зале. Самые известные имена казались мне незнакомыми, но одно из них вдруг заставило меня очнуться: Жуве. Мгновенно агрессивность побеждает страх или почти побеждает. Его остается во мне ровно столько, чтобы наполниться ощущениями персонажа, молодого человека, который возвращается к родителям после того, как провел ночь вне дома.

Вот нужный момент — я бросаюсь в холодную воду, сейчас я скажу родителям: «Послушайте, дети мои!» Если бы публика засмеялась при этой реплике! Она смеется. Победа! Конец сцены я играю свободно и уверенно. Уже во время первого антракта можно не сомневаться в успехе. Публика бросается за кулисы, заполняет гримерные, даже мою.

Во втором акте мне аплодируют в середине моей большой сцены. Когда я в слезах падаю в кресло, публика устраивает овацию. Я покидаю сцену все еще под аплодисменты, весь разбитый, в поту. Раздеваюсь, смываю пот, растираюсь. Вдруг до меня доносится гром аплодисментов. Занавес опускается. Нужно выходить на поклон. Я раздет. Мне кричат, что публика требует меня. Я выхожу на подмости в купальном халате. Овация. Я плачу. Я не верю ни глазам своим, ни ушам. Неужели это я? Мою гримерную заполняют звезды, к которым я никогда не надеялся приблизиться. Более того, я не могу сказать, что недоволен собой. Я в опьянении. Ивонна де Бре произносит слово «гений». Это меня отрезвляет: я не доверяю ее нежной дружбе. Известная актриса Маргарита Жамуа заявляет, что я никогда не смогу играть другие роли. Я подумаю об этом. А если серьезно, я очень многим обязан этой фразе. Благодаря ей я всю свою жизнь буду стремиться к трудностям и к ролям, противоположным моей истинной природе.

В третьем акте я спокоен. За четверть часа до выхода на сцену, предварительно умывшись, я ложусь перед дверью, откуда должен выходить, и начинаю плакать. Я

плачу, чтобы глаза стали красными, а голос гнусавым. Изумление рабочих сцены усиливается, когда перед выходом на сцену я вытираю слезы.

Это опухшее и бледное лицо, торчащие дыбом волосы, особенно слишком широкие в поясе и оттого сползающие брюки, которые я подтягиваю, жуя кусочек сахара, вызывают взрыв смеха, который наполняет меня гордостью.

Спектакль закончился триумфом. Публика плакала, смеялась, редела, звучали имена Мольера и Расина. Я чувствовал себя безгранично счастливым. Вдруг почти одновременно раскрылись дверь моей гримерной — и объятия Коко Шанель. Я повернулся к ней спиной. Дверь с треском захлопнулась. С другой стороны я услышал голос Шанель:

— Малыш Маре — просто невежа.

— Что ты еще ей сделал? — спросил Жан.

Жуве, как выяснилось, в зале не было.

На следующий день Коко Шанель позвонила Жану. В конечном итоге она одобрила мое поведение, сказав, что на моем месте поступила бы так же.

— Попроси его простить меня и приходите ко мне вместе обедать.

С этого дня она стала моей доброй феей. В свое время я расскажу об этом.

В тот год в мою жизнь пришла настоящая радость. Каждый вечер я шел в театр, как на свидание к любимой. Я уходил из театра изнуренный, но блаженный. С каждым спектаклем я делал успехи. Критики были единодушны — они хвалили меня, пьесу, моих товарищей. Все они были великолепны, особенно Габриэлла Дорзиа и Марсель Андре. Дорзиа была воплощением таланта, элегантности, искренности, добросовестности. Как жаль, что Ивонна де Бре оказалась не столь дисциплинированной!

Я зарабатывал двести пятьдесят франков в день. Никогда я не чувствовал себя таким богачом. Когда я получал деньги в конце первой недели, у меня было ощущение, что я их ворую, — такое удовольствие я получал от игры.

Я гордился тем, что могу давать матери сто франков в день. Достаточно ли этого, чтобы она перестала «работать»?

Несмотря на повышение цен на билеты, спектакль шел с аншлагом. Когда группа студентов попросила разрешения посмотреть пьесу, Кокто предложил пригласить сначала преподавателей, а они решат, кто пойдет на спектакль. Это вызвало жуткую кампанию в «Официальной газете муниципальных советников Парижа». В ней говорилось, что Жан Кокто хочет показать подросткам пьесу, которая может побудить их к разврату, что его пьеса — это кровосмешительство, выставленное напоказ. Чтение этого официального бюллетеня, который Капгра подsunул Жану Кокто, вызвало

у него приступ бешеной ярости. Он ответил в газете «Се суар», имевшей самый крупный тираж среди парижской прессы: «Я не допущу, чтобы коллекционеры непристойных ; открыток позволяли себе осуждать мою пьесу».

Скандал принял огромные размеры. Поскольку театр «Амбассадёр» принадлежит городу Парижу, нас выставляют за дверь. Мы покидаем его в понедельник. Во вторник мы уже играем в «Буфф-Паризьен». Весь Париж ломится туда, чтобы увидеть непристойную пьесу, и, надо сказать, с этой точки зрения публика была совершенно разочарована.

Поскольку я был прообразом своего персонажа — сына, меня непосредственно касалось это обвинение в кровосмешительстве... Во время опроса зрителей — на вопрос, считают ли они это произведение аморальным — все удивленно восклицали: «Нет!» В «Буфф-Паризьен» обычно играли оперетты. Как-то вечером, выходя из театра после «Трудных родителей», какой-то человек с еще влажными глазами говорил своей жене: «Я знаю, ты такая же!»

Розали не узнала себя в матери из «Трудных родителей». Теперь она была согласна, чтобы я работал в театре. А она продолжала заниматься своей «работой». Отсюда мучительные, невыносимые сцены. Все чаще она критиковала Жана Кокто,

основываясь на том, что я ей рассказывал. Я угрожал, что уйду из дома, если она будет продолжать жить так, как привыкла.

Жан не хочет больше жить в гостинице. Мы ищем квартиру. Его секретарь нашел то, что нужно, в любимом квартале Жана, на площади Мадлен, — большая гостиная, библиотека, комната для Жана, комната для меня, столовая, которой, правда, мы никогда не пользовались. Мебели у нас не было. Мы купили два пружинных матраца и обычные матрацы. Ивонна де Бре, Габриэлла Дорзиа подарили нам одеяла, простыни, подушки. На блошином рынке мы купили несколько предметов, из которых сделали лампы; матросский сундучок служил ночным столиком. Жан пока не получал полагающихся ему денег за авторские права, а я еще был недостаточно богат.

У нас не было стульев. Жан считал, что это очень неудобно. Я пообещал раздобыть стулья в сквере на Елисейских полях, возле театра «Амбассадёр». На глазах у полицейского и двух удивленных проституток, вскинув на голову два железных садовых кресла, я дотащил их до площади Мадлен. Покрасил их в белый цвет и для удобства сшил подушки. Жан, смеясь, рассказывал эту историю всем желающим.

Постепенно квартира обставлялась. В ней не было ни одного ценного предмета, и все-таки это жилище не было похоже ни на одно другое.

Ивонна де Бре подарила Жану письменный стол Анри Батая. В моей комнате стоял старый игорный стол, выкрашенный белой краской. Сукно стола я заменил цветным рисунком Жана, сверху накрыл стеклом. На белой гипсовой колонне восседал старый петух из проржавевшего железа. На стенах были развешаны рисунки Жана, один из них очень большой, выполненный на простыне. В вычурном канделябре вместо свечей были стеклянные шары от рыбацких сетей. Все свои сокровища я складывал в матросский сундучок, помещавшийся в ногах моей кровати. Наконец, в гостиной стояли стол, несколько стульев и книжный шкаф, который был там еще до нашего появления.

Мой переезд на площадь Мадлен вызвал негодование Розали. Только много позже она простила Жана — она считала его единственным виновником, хотя на самом деле это решение исходило от меня.

Спектакль «Трудные родители» продолжал идти с неизменным успехом, и я был по-прежнему счастлив этим. Во время одного из вечерних спектаклей директор Роже Капгра сообщил мне, что какой-то молодой человек в пижаме небесно-голубого цвета, в домашних тапочках, с бутылкой виски и блоком из пятидесяти пачек «Честерфильда» в руках обратился к контролеру с просьбой найти ему место в зале.

— Поскольку он пришел ради тебя, а в зал я его пустить не могу, направляю его к тебе.

В антракте я поднялся в гримерную, совершенно позабыв о посетителе. Я увидел там молодого человека, американца, который сидел на полу, курил и пил. Несмотря на свое странное одеяние, он был элегантный, очень красивый, обезоруживающий непосредственностью своих девятнадцати лет. Я спросил, почему он пришел в театр в таком виде, заметив, что меня это несколько не шокирует. Он отвечал, что болен, что друзья унесли всю его одежду, так как знали, что он собирался пойти на спектакль. «Поэтому мне пришлось выйти в пижаме», — закончил он.

Я поместил его в закрытой сеткой ложе бенуара — такие еще существовали в то время. После спектакля моим товарищам захотелось на него взглянуть. Мы с Жаном отвезли

его на улицу Бак, где он жил, на моей «Ликорн» — машине, историю которой я забыл рассказать, а она имеет историю.

Роже Капгра был необычным директором. Как-то он сказал мне:

— У героя-любовника должна быть машина. У тебя есть права?

— Да.

На самом деле я получил права случайно, за пять лет до того. С тех пор я ни разу не садился за руль. Понятно, что, не имея никакой практики, я не умел водить машину.

— Так вот, — продолжал Капгра, — в Клиши продаются две подержанные машины. Поедешь туда, выберешь, какая тебе понравится, и вернешься на ней. Я дам деньги, а потом буду удерживать часть суммы из твоего жалованья.

Я поехал в Клиши. Мне предстояло выбрать между «Грэмпедж» и «Ликорн». Первая — огромная американская машина, наводила на меня страх, вторая — небольшая двухместная машина с откидным верхом. Я взял вторую и отправился в путь.

На проспекте Клиши я столкнулся с такси. Своим бампером я зацепился за его бампер. Водитель такси орет, возмущается. Я вылез из машины, высвободил свой бампер, но забыл поставить тормоз, в результате чего машина сама откатилась назад и столкнулась с автобусом. Водитель автобуса тоже стал орать.

Я смотрю на обоих водителей и смущенно говорю: «Простите меня, я не умею водить».

Они дружно хохочут и помогают мне отъехать, так как, ко всему прочему, у моей машины заглох мотор и я не могу сдвинуться с места.

1939 год был для меня самым счастливым, потому что я добился первого настоящего успеха и потому что дебют — самый волнующий момент в жизни.

Я забыл сказать, что на следующий день после премьеры «Трудных родителей» я получил странную корзину с цветами аронника и ландышем, обильно посыпанными золотой пудрой. Нечто удручающее. Удивленный Жан Кокто спросил:

— Кто мог прислать тебе такую мерзость?

Даже не взглянув на карточку, приложенную к корзине, я ответил:

— Это может быть только режиссер М.Л.

Прочитав карточку, мы убедились, что я не ошибся.

Мной заинтересовались кинопродюсеры. Один из них пригласил меня на роль в фильме «Засада» по пьесе Кистемэкерса. Уже были подписаны контракты с Валентиной Тессье и Жюлем Берри. Мне было лестно сниматься с такими актерами, и я подписал контракт. Принесли сценарий. Я в ужасе. Звоню продюсеру, чтобы отказаться. Он передает трубку Жюлю Берри, и тот пытается меня уговорить. Робея перед великим актером, я не смею настаивать на своем. Повесив трубку, я пишу продюсеру заказное письмо, в котором заявляю, что, чего бы мне это ни стоило, отказываюсь от роли в его фильме. Пришлось одолжить деньги и заплатить неустойку, чтобы вернуть себе свободу. Таким образом, моя кинематографическая карьера началась с того, что я заплатил, чтобы не играть. Чтобы меня утешить, Жан обещал перенести на экран «Трудных родителей». Но я не нуждался в утешении — я был счастлив, моя работа меня опьяняла.

Во всяком случае, я считаю, что тому, кто играет в театре, обеспечено три часа счастья в день, что бы с ним ни произошло. Я предавался работе, как другие предаются пороку, достигая почти пределов наслаждения.

И вот однажды на моем преображенном от радости лице появились признаки странного заболевания: бляшки, затем мокнущие корочки, которые приходилось сдирать каждый вечер, чтобы наложить специальную мазь, а поверх нее грим. Через какие-нибудь четверть часа эти места снова начинали сочиться. Я консультировался у огромного количества врачей, которые предполагали у меня болезнь печени, какую-то невозможную венерическую болезнь. Однажды, когда Жан выступал с лекцией, я случайно увидел свое лицо в зеркале и разрыдался. Жан отвез меня домой, тщетно пытаясь успокоить. Я не переставал плакать при мысли, что скоро не смогу играть. Я предпочел бы самый ужасный внутренний недуг. Наконец один специалист определил, что у меня детская болезнь — сыпь. Он дал мне ртутную мазь, предупредив, что есть один шанс из тысячи, что я ее перенесу. Когда я нанес мазь на лицо, мне показалось, что я умираю, схожу с ума. Мазь жгла, но я мужественно терпел, настолько велико было желание выздороветь. Зажав в зубах платок, с глазами, полными слез, я бродил по комнате, ударяясь о стены.

Жан умолял меня стереть мазь. В конце концов в шесть часов утра я уступил. У

него был такой вид, будто он страдал еще больше, чем я. Я вытер и промыл лицо. Кожа сожжена. Раздражение вызвало у меня что-то вроде насморка. На следующий день врач прописал другую мазь, и через два дня я был здоров. Все это время я продолжал играть в театре.

Неожиданно во время первого акта у меня на сцене пошла носом кровь. Я пытаюсь остановить ее, прижав к носу платок, но скоро он становится насквозь мокрым. Я беру второй, из грудного кармана, — то же самое. Жермена Дермоз дает мне свой платок, затем шарф. Зрители из первых рядов протягивают мне свои платки, намоченные в умывальной. Кровь все течет и течет. И так весь первый акт.

В антракте прибежал дежурный врач, сделал мне укол и напустил в нос газу. Я играю последние два акта, ощущая, что кровь течет мне в горло.

На следующее утро я проснулся с резкой болью в ушах: у меня двусторонний отит. Врач сказал, что снимает с себя всякую ответственность, если я вечером выйду на сцену. От каждого произнесенного слова у меня разламывается череп. На следующий день об игре не может быть и речи — температура сорок один и бред.

Молодой актер Ив Форже, который играл Сеграмона в «Рыцарях Круглого стола», выучил роль тайком от всех. Хотя внешне он не подходил для персонажа — он креол, его охотно взяли. Он обесцветил свои черные курчавые волосы. Спектакли не были прерваны. Сборы снизились. Я очень горд этим. Но, как бы там ни было, я был очень болен и страдал еще больше оттого, что не играл.

Когда я был в бреду, прибежала мать. Она ухаживала за мной вместе с Жаном. Врач подозревал мастоидит, возможно, менингит. Пенициллина тогда еще не знали.

Когда у моей постели сидела Розали, Жан оставался в коридоре, меряя его шагами из конца в конец и обливаясь слезами, которые не мог сдержать. Он стонал так, будто болел сам. Розали поняла и прониклась уважением к связывающей нас крепкой дружбе.

Лечивший меня доктор Обен сделал мне операцию, которую я согласился перенести без наркоза. Я снова заболел, он прооперировал меня вторично. Жан, вне себя от беспокойства, хотел пригласить другого врача. Я отказался и рассказал об этом доктору Обену. Этот другой врач был шарлатаном, на которого Жану пришлось горько сетовать позже, во время съемок «Красавицы и Зверя». Обен не сказал о нем ничего плохого, но заявил, что если этот врач придет, он сам будет вынужден прекратить лечить меня.

Даже моя болезнь была как бы частью того праздника, каким стал для меня 1939 год. Мне казалось, что я болен впервые, несмотря на все болезни, которые у меня были в юности. Весь Париж навещал меня. Приносили подарки, цветы, редкие фрукты, всячески выражали дружеские чувства.

Я попросил Жана составить для меня список книг, которые, по его мнению, необходимо прочесть. Хотел воспользоваться вынужденным бездельем для того, чтобы повысить свою культуру, оставлявшую желать лучшего. Он не только составил список, но купил книги и подарил мне. Он указывал только одну книгу каждого автора, но, когда я прочитывал ее, мне, конечно, хотелось прочесть остальные. Итак, я прочитал один шедевр за другим: «Адольфа» Бенжамена Констана, «Африканские впечатления» Руссея, «Войну и мир» Толстого, «Сагу о Йесте Берлинге» Сельмы Лагерлёф, «Пана» Кнута Гамсуна, «Пелеаса и Мелисанду» Метерлинка, «Красное и черное» Стендаля, «Манон» аббата Прево, «Шевалье де Мезон-Руж» Александра Дюма, «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака, «Дьявола во плоти» Раймона Радиге, «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда, «Идиота» Достоевского, «Волшебную гору» Томаса Манна, «Негра с «Нарцисса» Джозефа Конрада, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Фантастические новеллы» Эдгара По, «Белый клык» Джека Лондона, «Принцессу Киевскую» г-жи де Лафайет.

Помню, «Идиота» Достоевского я читал, когда у меня была температура сорок градусов. Я не мог оторваться от книги, несмотря на увещевания Жана, опасавшегося,

что это меня утомляет.

Денхем Футе, по прозвищу Пижама, тоже пришел меня проведать. Он был очень элегантен, держался все так же непринужденно. Уходя, он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я был очень удивлен тем, что американец целует меня по-русски.

9

Доктор Обен определил восстановительный период — два месяца. Я в отчаянии. Еще два месяца я не смогу играть! Для меня, начинающего артиста, получившего роль в пьесе, которую я обожаю, это настоящая пытка! Чтобы утешить меня, Жан Кокто предложил поехать куда-нибудь. Он планировал во время путешествия написать новую пьесу и спросил, какого типа роль я хотел бы сыграть. Я только что прочел «Преступление и наказание». Воспылав страстью к Раскольникову, я предложил Жану вдохновиться этим образом.

Жан купил у друзей машину— светло-коричневый «Матфорд», окрестив ее «Косулей». Мы наняли водителя, так как я был далеко не в том состоянии, чтобы вести машину. И вот мы на пути к бассейну Аркашона.

В пути я присутствовал при незабываемом событии: Жан неожиданно спросил, есть ли у меня бумага и ручка. У меня был только блокнот с адресами (не очень заполненный), я дал его ему. Он писал, писал. В зеркале я видел его лицо, это лицо убийцы, появляющееся у него в минуты творчества. Больше я не смел оборачиваться. Молчал, убежденный, что он пишет новую пьесу, будущую «Пишущую машинку». Я ошибался. Он писал книгу, которую я считаю одной из самых прекрасных, созданных им, — «Конец Потомака», он выстреливал ее залпами. Он освобождался от нее для того, чтобы потом писать пьесу. Таким образом, я получил доказательство того, что он использовал правильный термин, говоря, что у него это не вдохновение, а выдыхание. Он закончил книгу в Эксидейле, куда мы приехали после Пике вместе с Роже Данном.

В Пике мы остановились в маленьком отеле без удобств, настоящей деревенской хижине, где в свое время вместе жили Кокто, Пьер Бенуа и Радиге. Именно здесь Жан запирает Рэмона Радиге в его комнате и выпускал только после того, как тот передавал ему не менее десяти написанных и должным образом проверенных страниц. Так он заставлял его творить.

Пока Жан писал, я отдыхал и учился рисовать, не смея рисовать. Я представлял себе картину, которую хотел бы создать. Я воображал, какие краски я бы использовал, как водил бы кистью. Вскоре мое желание рисовать стало столь сильным, что, купив все необходимое, я устроился перед группой засохших деревьев. Они казались привидениями. Жан попросил показать, что я делаю, но я отказался. «Это дилетантство, ребячество, — сказал я ему, — открытка!» Во второй половине дня он опять подошел ко мне. Каким-то чудом я нарисовал именно то место, где Жан сидел, отдыхая вместе с Радиге. Вызванное этим воспоминанием волнение, та огромная дружба, которую он питал ко мне, заставили меня более чем подозрительно отнестись к его восхищению. Он похвалил мою работу, сказав, что я настоящий художник, и просил подарить ему эту картину. Только поэтому я продолжил работу над ней.

Вернувшись в Париж после краткого пребывания в Дордони, где Жан завершил «Конец Потомака», я снова с упоением взялся за свою роль. Капгра широко рекламирует мое возвращение. Впервые в жизни я вижу свою фамилию, напечатанную в газете таким крупным шрифтом. Я с гордостью показал газету Габриэлле Дорзиа, не подумав о том, что в рекламе нет других фамилий, кроме моей. Но Габриэлла очень любит меня, поэтому мило говорит: «Жанно, я проработала тридцать лет, прежде чем мне сделали такую рекламу».

Я пригласил своего врача посмотреть пьесу. Он заявил: «Если бы я знал, какая у вас роль, то никогда не разрешил бы вам играть».

Плакать каждый вечер, лежа в пыли, перед выходом на сцену, заливаясь слезами во втором, затем в третьем акте — это и было, конечно, причиной воспаления

носовых пазух, вызвавшего все мои несчастья.

Что касается моей медсестры, видевшей пьесу в тот трагический вечер, то ей особенно понравилась «сцена носового кровотечения». Странная, однако, наивность у медсестры.

Секретарь Жана, Раймон Мюллер ушел от него. Я предложил на его место Андре Ж., о котором часто рассказывал Жану. Жан согласился, несомненно, чтобы доставить мне удовольствие.

Наш дом, точнее, квартира была по-своему очаровательна благодаря ее убранству, и простому и необычному одновременно. У нас бывали с визитами Жорж и Нора Орик, Пикассо, Жан Гюго, Кристиан Берар, Марсель Килл, Жан Деборд, Ивонна де Бре, Дорзиа и много других замечательных друзей.

Я говорил мало. Зачарованный, я наблюдал, как рождались проекты и создавались произведения. Аппель Феноза сделал скульптурный портрет Жана, затем мой. Удивительный скульптор. Я был поражен уверенностью его дрожащей руки.

Главным нашим «развлечением» была работа.

Я попросил Жана позировать и начал писать его портрет.

На следующее утро я нашел под дверью своей комнаты стихотворение:

Портрет

В каждой черточке нужно любовь передать.

Жизнь свою я тебе вверяю

И, позируя, лишь одного желаю:

Портретом твоим стать.

Неподвижным сумею я быть, будто роза,
Как она, весь в щипах и кудрях лепестков.
И когда закончена будет поза,
Пусть модель разобьют в миллиарды кусков.

Я хотел бы суметь для него всем на свете —
Актером, художником, ангелом стать,
Чтоб больше никто в этом звездном портрете
Другого меня не сумел распознать.

Для меня это было огромным счастьем. Я спрятал стихотворение в свой матросский сундучок, служивший мне ночным столиком. Моя сокровищница пополнялась.

Через несколько дней я снова обнаружил листочек желтой бумаги.

Стихотворение называлось:

Черное солнце

Портрет похож — сомненья нет,
Как на белый похож белый цвет,
Как меж собою две розы похожи.
Это то же и все же не то же.

Да, похож он, этот портрет,
Но больше на наших сердец сиянье.
В нем, правда, много есть моих черт,
Но я вижу в нем черт наших слиянье.

Часто гроза нам любовь сменяет,
Гром — уж слышу раскаты его.
Вспыхнув, молния освещает

Черное солнце лица твоего.

Однажды к нам зашел Марсель Килл. Жан был занят, и гостя принимал я. Я извинился и объяснил, что Жан не спал всю ночь. Марсель заявил, что причиной тому кокаин.

— Как? Жан не принимает кокаин.

— Да нет же, принимает.

После ухода Марселя я допросил Жана. Он отрицал.

— Поклянись моей жизнью.

Он поклялся. Я успокоился. Вечером, лежа на его постели, я делаю вид, что сплю. Несколько раз Жан заходит в ванную комнату. Не слышно было, чтобы текла вода. В конце концов я встаю и заявляю:

— Ты принимаешь кокаин.

И он сознался.

— Ты поклялся моей жизнью. Я должен бы быть уже мертв.

Он пообещал больше не принимать кокаин и отдал мне пакет с зельем, который я выбросил в туалет. Он сдержал слово. Более того, он обещал лечиться от наркомании.

Я понимал, что для этого нужно было дождаться подходящего момента. Эта мысль зрела у Жана. Доказательство тому — стихотворение на листке бумаги, сложенном в виде звезды, который он просунул под мою дверь.

Наркоман

О солнце любви твоей обжигаясь,
Но бегу от защиты любой,
Ибо если я чем опьяняюсь,
То вовсе не опиумом, а тобой.

Жан много времени отдавал подготовке к изданию «Конца Потомака». Он писал предисловие, правил корректурные оттиски. Удивительно, он написал «Потомак» в 1913 году, накануне войны, а теперь, в 1939-м, пишет «Конец Потомака», где описывает разрушенные города.

Мы жили на площади Мадлен. Прежде Жан жил в этом же районе, на близлежащих улицах: Анжу, Виньон, Камбон, а теперь на самой площади.

— Когда ты описываешь мою комнату в «Конце Потомака», то упоминаешь о железном петухе с выщипанной шеей и негнущимися лапами, стоящем на куче золотого навоза. Разумеется, я узнал петуха, но золотой навоз?

— Золотой навоз?.. Это ты,— ответил он.

Почти ежедневно я находил желтые и белые листочки, сложенные по-разному, так, что, когда я их разворачивал, получался разный рисунок. Эти стихи лучше любых объяснений рассказывают о нашей дружбе.

Один лишь стих, один!

Утром спрятал я песни, что ночью писал,
Желтых листьев ковер сундучок устилал.

Неужели мой ангел к стихам привыкает?

Ведь привычка всегда что-то в нас убивает.

Постараюсь же быть на тебя я похожим

И в любви своей мудрым и осторожным.

Стих один лишь найдешь на пороге своем.

Наблюдая, как Феноза работает над его и моим бюстами, Жан не может удержаться, чтобы не начать лепить самому. Он лепит фавна. Он не просит меня позировать, но этот фавн похож на меня, как и многие рисунки, созданные им до нашего знакомства. Он посвящает мне следующее стихотворение.

Фавн

Что случилось? На Лувр я взираю с тоскою,
Ибо всюду сокрыта в нем сила любви.
Наплюю я, музей, на скульптуры твои
И секреты твои всему миру раскрою.
Я бегу, я бешусь, возвращаюсь к себе,
Оставаться один в темноте я не смею.
Быстро нос, рот леплю, как умею,
И меня этот путь вновь приводит к тебе.
Дьявол, смерть и несчастье, совсем лишь недавно
Жил я вашим законом, покорный судьбе,
Но теперь бойтесь рожек моего фавна.
И еще вот это.

Мой шедевр

Твоя краса, Жанно, осенена крылами,
Их ясно вижу на твоих плечах,
И все несхожее с любимыми чертами
Лишь отвращение внушает мне и страх.

Как тот дракон, что пену извергает
С копьем в боку, рыча до хрипоты,
Пока чело святой Георгий оmyвает
В ручье твоей небесной красоты.

Тебя я славлю песнею высокой,
Чтоб был ты прежним бурям вопреки,
Иначе снова станет жизнь жестокой
Без ласки твоей любящей руки.

Скажи, что нужно всем тем мерзким спрутам,
Что даже в дом ползут наш нарушать покой?
Тридцать девятый: мой шедевр единственный
Похожим стать на Жана, что любим тобой.

10

Я любил Жана. Маленький Лорензаччо попался на собственную удочку. Я хотел дарить счастье. Конечно, не признаваясь себе в этом, поскольку живший во мне актеришка любил благородные роли, чтобы скрыть от самого себя мелкого карьериста, каким я был. Чтобы разобраться в своих чувствах, я спрашивал себя: «На что ты способен ради него?» И отвечал без колебаний: «На все! Я отдал бы жизнь за него».

Я задавал себе этот вопрос и по поводу других людей. Никогда не было такого же ответа. Тем не менее я не был архангелом, каким представлял меня Жан. Мне нравилось проводить время с друзьями моего возраста. Я использовал для этого вечера, когда Жан не мог взять меня с собой. Я рассказывал ему о том, что происходило на этих вечерах и с кем я был. Я рассказывал об этом и Андре Ж., а он передавал мои рассказы Жану, но по-своему.

Я часто проводил время с Денхемом Футсом по прозвищу Пижамы и его друзьями. Этот юноша привлекал меня всем тем, чем я не обладал. Он американец, но воспитан, как англичанин. Непринужденной уверенностью, манерой командовать, принимать, разговаривать, хотя ему было всего девятнадцать лет, он напоминал мне Дориана Грея.

Мы с Жаном получили приглашение на костюмированный бал «Людовик XIV и его время» к Этьенне де Бомон. Я никогда не бывал на такого рода вечерах. Я знал, что Этьенна де Бомон послужила прообразом героини романа «Бал у графа д'Оржеля» Рэмона Радиге. Раньше я уже бывал в особняке на улице Дюрок. Хотя Жан был большим другом графа де Бомона, он не хотел присутствовать на этом вечере, а тем более наряжаться. Он посоветовал мне пойти туда вместе с Денхемом и одним из своих друзей — Ж.Ф. Костюмы сочинили, исходя из того, что у нас было. Мой, например, состоял из коврика из шкуры пантеры, подаренного мне Ивонной де Бре, сапог с заткнутыми в голенища виноградными листьями, парика в стиле Людовика XIV.

Денхем и Жан-Луи сделали свои костюмы из фустанеллы греческих солдат, которые им дал Жан. Среди богато костюмированных персонажей наше появление было сразу замечено, тем более что, входя, Денхем уронил золотую коробочку, из которой высыпался героин. Денхем кое-как собрал его.

Вечер был скучный. Я признал, что Жан был прав, когда отказался пойти. Умирая от жажды, мы тщетно пытались найти что-нибудь выпить. Поэтому мы очень рано вернулись в квартиру на площади Мадлен. Жан, смеясь, объяснил, что мы, наверное, неправильно поняли тему вечера. Очевидно, вечер назывался «Голод в царствование Людовика XIV». Игра заключалась в том, чтобы найти стакан лимонада, спрятанный под креслом.

Стихи перестали появляться под моей дверью. Жан был очень занят тысячью разных дел. Ко мне он проявлял почти отеческую нежность. Я согласился с этими новыми отношениями, не пытаюсь их углубить. После театра я отправлялся в город и открывал для себя так называемые развлекательные заведения.

Однажды утром я нашел под дверью письмо:

«Мой обожаемый Жанно!

Я полюбил т ебя т ак сильно (больше всего на свет е), чт о приказал себе любит ь т ебя т олько как от ец, и я хочу, чт обы т ы знал, чт о эт о не пот ому, чт о я люблю т ебя меньше, а наоборот .

Я до смерт и испугался, чт о слишком многого хочу, чт о не даю т ебе свободы и завладеваю т обой, как в пьесе. И пот ом я боялся, чт о буду жест око ст радат ь, если т ы полюбишь кого-нибудь и побоишься сделат ь мне больно. Я сказал себе, чт о если дам т ебе свободу, т ы будешь рассказыват ь мне все и мне будет не т ак груст но, как если бы т ы вынужден был скриват ь от меня хот ь самую малост ь. Я не могу сказат ь, чт о мне было очень т рудно принят ь т акое решение, ибо мое обожание сочет ает ся с уважением. Оно носит религиозный, почт и божест венный характ ер, и я от даю т ебе все, чт о ест ь во мне. Но я боюсь, т ыобразишь, чт о между нами появилась какая-т о наст ороженност ь, неловкост ь. Поэт ому я пишу т ебе вмест о т ого, чт обы сказат ь, о самом сокровенном, чт о накопилось в душе.

Мой Жанно, повт оряю т ебе, т ы все для меня. Мысль о т ом, чт о я т ебе мешаю, чиню препят ст вия т воей прекрасной юност и, для меня ужасна. Я смог дат ь т ебе славу, и эт о единст венный наст оящий результ ат эт ой пьесы, единст венный результ ат , кот орый чего-т о ст оит и кот орый согревает мне сердце.

Подумай, вдруг т ы вст рет ишь кого-нибудь т воего возраст а, кого будешь скриват ь от меня или прикажешь себе не любит ь, боясь привест и меня в от чаяние. Я не прощу себе эт ого до самой смерт и. Конечно, лучше, если я от кажусь от част и своего счаст ья и завуюю т вое доверие и буду дост ат очно храбрым, чт обы т ы чувст вовал себя со мной свободней, чем с от цом или мат ерью.

Ты наверняка догадался о моих сомнениях и т ревогах. Ведь т ы, маленький плут ишка Жанно, многое знаешь. Прост о нужно было, чт обы я объяснил т ебе свое от ношение, чт обы т ы ни на секунду не мог подумат ь, чт о между нами появилась хот ь малейшая т ень. Клянусь т ебе, чт о я дост ат очно чест ен и возвышен, чт обы не испыт ывает ь ревност и и заст авит ь себя жит ь в согласии с нашими молит вами. Небо дало нам т ак много, чт о будет нечест но просит ь у него больше. Я думаю,

что о жертвы вознаграждают себя. Не ругай меня, мой прекрасный ангел. По твоим глазам я вижу, что ты понимаешь — никто о тебе не может обождать больше, чем я, и мне будет стыдно, если я воздвигну на твоём солнечном пути малейшее препятствие.

Мой Жанно, обожай меня, как я тебя обожаю, прижми меня к своему сердцу, помоги мне стать святым или быть достойным тебя и меня. Я живу только тобой».

Благородный, добрый, искренний — таким я знал его всегда. Если я привожу эти письма, возможно, во вред себе, то лишь с тем, чтобы показать, что у Жана никогда не было низких помыслов. Его чувства были столь же благородны, сколь и редки.

Я согласился на это отеческое отношение. Через несколько дней под моей дверью снова лежало два желтых листка:

«Любимый Жанно!

Умоляю тебя прочитай это письмо сердцем, так же, как оно было написано, и, помня о нашей любви, не ищи в нём твои ревности, одиночества, горечи возраста и тому подобного.

Мне очень, очень грустно, Жанно, потому что удача помогла мне добиться для тебя зенита славы. Все любят тебя. Но люди замечают малейшие ошибки и радуются им. То, что ты постоянно бываешь со своими ровесниками, — прекрасно. Но если бы это были Меркантион, Жильбер и другие, я увидел бы во всем этом только дружбу, работу, радость. Твоя чистота мешает тебе понять, что маленькая банда, с которой ты проводишь время, есть банда светских мошенников, бездельников, находящихся на содержании, недостойных тебя. Твоё присутствие их возвышает, тогда как тебя это унижает. Я спорю со всеми, кто говорит мне об этом. Я говорю тебе все это, потому что хотел понять причину своей тоски, узнать, от куда она идёт и не являются ли её мотивы низкими. Нет. Я уверен, что так. Заметь, я не прошу тебя от вернуть от этих их наивных друзей. Я прошу тебя относить к ним так же сдержанно, как я, — я бывал у них лишь время от времени и только по приглашению.

Разговоры Д. не для тебя. Его вкусы не для тебя, его стиль жизни не для тебя. Ты считаешь его прекрасным принцем, но в моих глазах и в глазах других — это ничемный парень, не нашедший своего призвания, слишком ленивый, что бы что-то изменить в своей жизни.

Будь мужественным, открой глаза. Подумай о моей работе, о наших планах, о нашей чистоте, о нашем прямом пути и добавь к этому мою ужасную тревогу — знаешь, что ты опять помчался в места, где, сам не осознавая этого, ты опускаешься.

Не сердись на меня за твою кровенность. Я боролся с собой, прежде чем написать эти строки. Мне было бы удобнее пользоваться твоим хорошим отношением и молчать.

Поразмысли над этими строчками и найди в самом себе ответ. Не пиши мне его. Просто почувствуй.

Твой Жан».

Я не нашёл своих писем, написанных в ответ на его. Судя по следующему письму я был потрясён его добротой и нежностью. Я рассказал об этом Ивонне де Бре и написал Денхему, чтобы порвать с ним всякие отношения. Был ли я искренен, когда писал Жану, что поверил в его равнодушие? Не думаю. Более того, у меня была манера лгать так, что это почти невозможно было обнаружить. Говоря правду, я лгал так, чтобы мне не поверили. Например, когда я говорил Жану, что я вовсе не тот ангел, каким он меня представляет. Если мне приходилось действительно лгать, эту ложь нельзя было проверить, и я упорствовал в ней так, что она становилась похожей на

правду. Если, например, я говорил какому-нибудь актеру, что нахожу его игру хорошей, я всем говорил то же самое, хотя на самом деле считал его игру посредственной. Таким образом, меня нельзя было уличить во лжи. Но мое восхищение Жаном, моя нежность к нему, моя дружба росли с каждым днем, и ничто и никто не могло с этим сравниться. Так, конечно, я ему и написал. Он тут же ответил мне, как бы снова незримо проскользнув под моей дверью:

«Мой Жанно!

Я вновь и вновь перечитываю твое доброе письмо. Как ты мог поверить в мое «равнодушие»? Я имел глупость играть роль, потому что о мне хотелось освободить тебя и сделать счастливым. Но если мое счастье нужно для твоего, знай, что о я каждую ночь плакал и страдал от того, что о не держу тебя в своих объятиях и что о все мои шутки и смех были противоречивы. Я признаюсь тебе в этом в порыве радости, потому что чувствую, что о удача возвращается в наш дом, и когда я поцеловал тебя сегодня вечером, я увидел, что о ты был так же взволнован, как и я, и что о мы портим чудо нашей жизни, не похожей на жизнь других. Мой прекрасный ангел, я хочу только твоего счастья, нашего счастья, и когда Ивонна де Бре сказала мне, что о ты пишешь Д., я чуть не умер от признательности и нежности. С мужеством в тысячу раз большим я буду бороться и бороться со злыми людьми, которые боятся тебя, как черт боится святой воды. Мой Жан, я обожаю тебя...

P.S. Я очень сердюсь на себя за то, что о плохо объяснился».

Жанно

Я любил тебя плохо, ленивой любовью —
Солнца луч, что сердца согревает подчас,
Я любил твою верность, и гордость, и юность,
И насмешку сияющих глаз.
Но решил я, что ты — сокровище мира,
Роль скупца я с тобою не вправе играть,
Что напрасно ты тратишь со мной свою силу,
Что тебя не смогу удержать.
Я ошибся, тебя обманув не желая,
На себя я терновый венец возложил.
Наша встреча — и драма моя, и поэма,
Но как мало я все же любил!
Отдаю тебе душу, и сердце, и остальное,
Снежных призраков сонм под крышей моей.
Направляй мою жизнь ты своею рукою —
Моя смерть во власти твоей.

Другое письмо:

«Жанно, ты скажешь, что о у меня мания писать письма. Но как хорошо ночью писать тебе и видеть, как поток моей нежности струится под твою дверь.

Мой Жанно, ты вернул мне счастье. Ты никогда не узнаешь, что о я выстрадал. И не думай, что о я буду на тебя в обиде из-за твоих увлечений. Ты будешь рассказывать мне о них, и мы вновь обретем друг друга в любви, которую сильнее всего. Я обожаю тебя».

В другой раз я нашел под своей дверью следующее послание:

«Мой Жанно,

От всей души благодарю тебя за то, что ты меня спас. Я тонул, и ты бросился в воду без колебаний, не оглянувшись назад. Восхитительно то, что тебе это было нелегко и что ты не сделал бы этого, если бы твой порыв не был искренним. Этоим ты доказываешь свою силу, доказываешь то, что наша работа приносит плоды. В любви не может быть «козы» и «капусты» и не бывает маленькой любви. Любовь — это «Тристан и Изольда». Тристан обманывает Изольду и умирает от этого. В одну минуту ты понял, что наше счастье нельзя поставить на одни весы с каким-то сожалением, безосновательно грустью. Я никогда не забуду этого. Напиши мне пару строк, твои письма — мои таланты. Я обожаю тебя.

Жан».

Там было также стихотворение:

Твое молчание

Любовь — нелегкая наука,
И я постиг ее с тобой.
Я слушаю молчанье друга,
Не понятое прежде мной.

Мой ангел, я любил так плохо!
Мой ангел нежный, ангел дикий...
Прозрачный, чистый, непорочный
И прочно, как кристалл, закрытый.

В кристалле этом созерцаю
Всю безысходность прошлых дней,
И в мыслях храм я воздвигаю
Античной статуе твоей.
В другое утро:
На колене
Читая гранки, вдруг я понял,
Что мной завершен «Потомак».
И вмиг легко мне стало так,
Словно исчез груз прошлых болей.

И понял я, что заслужил награду
Изменчивого солнца твоего
И что резные листья винограда
Скрывают плохо пол богов.

И ощутил себя я Принцем,
Но на колене Принц встает
Чтобы облаткой причаститься,
Той, за которой небо ждет.

Я понял, что мне щит с цветами
Твоими суждено носить,
Что лишь раскаянья слезами
Могу я глупость искупить.

Меня целуй же ты до боли,
Кольцо снимай и надевай

И изредка своею волей
В рыцарский орден посвящай.

Вскоре мы закончили играть «Трудных родителей». Он написал мне последнее стихотворение, все строки в нем были подчеркнуты.

Мольба на коленях

Совершим путешествие свадебное
Настоящее! Месяц медовый
И все то, что не небо дарит нам,
Сбросим мы с себя, как оковы.

О мой ангел, тебя умоляю
(Ты ведь любишь мне счастье давать),
Окунемся на время в безумье,
Чтоб уж нечего было желать.

Пусть от счастья заходится сердце,
Позабыты мораль и закон,
Под глазами блаженных страдальцев
Бледно-синий цветет анемон.

«P.S. Если ты хочешь от вет ит ь мне прекрасным ст ихот ворением, напиши «да» на лист очке бумаги, оно займет мест о среди моих сокровищ».

Я написал «ДА».

Это стихотворение было не последним...

Не позволяй, любимый, лени сладкой,
Что может тело так легко объять,
Вдруг между нами проскользнуть украдкой
И нашу ласку задержать.

Наука ль счастье? — я не знаю,
Наверно, счастьем можно научить,
Ведь кровью белой, что я истекаю,
Весь мир я мог бы воскресить.

Мы убежим из Парижа, из Парижа...

Мы уедем с тобою вместе
(Так прочли на ладони уста).
О! люби меня, и возвратится
Моя юность, надежда, мечта.
Не лишай же меня в отеле
Половины постели своей.
Де Грие спит сегодня с Тибержем —
Это даже еще милей.

Мы уехали в Сен-Тропе: это были мои самые прекрасные каникулы. Незадолго до этого Жан написал в Версале свою новую пьесу «Пишущая машинка». Я заезжал

тогда за ним после театра. Обе роли, предназначенные для меня, приводили меня в трепет, тем более что Ивонна де Бре сказала, что для меня это «рискованная затея». Она попала в самую точку, потому что из-за этой пьесы я поколотил одного критика. Но не будем забегать вперед.

К тому времени относится история с Клодом Мориаком. Уже в течение многих месяцев он регулярно наносил нам визиты на улицу Монпансье. Жан принимал его как сына. Клод Мориак собирался писать о нем книгу, но Жан вовсе не поэтому принимал его столь сердечно. Как всегда, он делал это с присущей ему доброжелательностью, желая помочь молодому начинающему писателю. Клод приходил почти ежедневно. Очевидно, не закончив свою работу, он продолжал собирать материал и в Версале*.

* Недалеко от Версаля находится местечко Мэзон-Лаффит, где родился Жан Кокто и где жила его мать.

Если я страдаю недостатком ума, то обладаю хорошо развитым инстинктом. К Клоду Мориаку я испытывал чувство недоверия, к которому должен был бы прислушаться. Но я мог ошибаться. Поэтому я ничего не говорил Жану, боясь причинить ему боль. Хотя, может быть, я избавил бы его от той, которую он испытал после выхода книги Клода Мориака. Он был шокирован до такой степени, что в течение нескольких дней болел, а потом многие месяцы грустил, как после потери сына.

Жан взял с меня слово не читать эту книгу. Я сдержал слово. Но я не обещал не читать следующую — «Дружба, которой мешают», опубликованную Клодом Мориаком позже.

Жан Кокто говорил:

— Когда художник рисует пару туфель, вазу для фруктов, пейзаж, он рисует свой собственный портрет. Доказательством является то, что мы говорим: это Сезанн, Пикассо, Ренуар, а не пара туфель, ваза для фруктов и т.д.

То же самое можно сказать про биографов. Описывая великого человека, они описывают собственные чувства, рисуют собственный портрет.

А Клод Мориак в «Дружбе, которой мешают» предстает как завистливый и злобный клеветник. Может быть, оттого, что, будучи сыном знаменитого писателя, он остался ничтожным, незаметным. Во всяком случае, он — полная противоположность благородству. Возможно, он судил бы более объективно, обладай он щедрым и добрым сердцем, будь он наделен милосердием, поскольку называет себя христианином.

Если бы я сам не был действующим лицом некоторых рассказанных им сцен, я не был бы так уверен в его злонамеренности.

Например, когда он описывает обед с Жаном Дебордом. У Жана Кокто никогда не было тех низких чувств, которые приписывает ему Мориак.

Со своей стороны, я любил всех друзей Жана, пока не получал доказательств их обмана или измены, как это было с Морисом Саксом и Клодом Мориаком.

Кроме того, вопреки утверждениям Клода Мориака Жан Деборд вовсе не вызывал жалости. Что касается Жана Кокто, возможно, он был загорелым, поскольку мы возвращались из Пике, но ни в коем случае не накрашенным. Я могу свидетельствовать, что это не его стиль и что ни разу за все годы нашего общения Жан не использовал косметику. Каждое утверждение Клода Мориака раскрывает его мелкую душонку.

Еще он считает, что Жан любил блистать. Он блестел, как бриллиант. И, как бриллиант, он не мог любить или не любить этого.

Помимо суждений, извращенных в силу характера Клода Мориака, я обнаружил в книге тридцать девять вольных или невольных ошибок.

Была еще одна необыкновенная история — с Олом Брауном.

В одном кабаре, куда его пригласил Марсель Килл, Жан увидел, как бывший

чемпион мира исполнял чечетку, прыгая через веревочку, словно на тренировке. Номер был великолепен. Жан пригласил боксера за свой столик и стал расспрашивать. Ол Браун уступил звание чемпиона в 1935 году испанцу Бальтасару Сангили. В день матча перед самым выходом на ринг ему подсыпали снотворное, но он уже не мог отложить встречу. Разоренный своим окружением, он зарабатывал на жизнь в ночном клубе, принимал наркотики, пил. Жан решил спасти его, вернуть на ринг. Для начала он

устроил его в больницу Святой Анны, где его лечили от наркомании. Ол считал, что находится в шикарной клинике. Затем с помощью Коко Шанель удалось найти фермеров, которые согласились превратить свою ферму в тренировочный зал. Жан попытался встретиться с импресарио, занимающимися боксом. Увы! Никого из них уже не интересовал Ол Браун!

В это время газета «Се суар» заказала Жану статьи, оставив за ним право выбора темы. Тогда Жан написал серию поэтических и увлекательных статей об Оле. Какбы настоящий Ол умер и его призрак возвращается, чтобы вновь завоевать звание чемпиона. Каждый вечер одна страница газеты была посвящена Олу Брауну — поэту бокса. Импресарио начали прислушиваться. Они предложили один матч в зале Ваграм, рассчитывая, что смогут его заполнить при такой рекламе. Зал был полон. Когда появился Ол Браун, со всех сторон посыпались оскорбления: «Поэт! Танцовщица!»

Репортеры больше фотографировали Жана, чем боксеров. Матч продлился четверть раунда. Противник получил нокаут. Его унесли в бессознательном состоянии в раздевалку, в то время как зал устроил овацию Олу. Кажется, нужно было провести двенадцать матчей, чтобы он мог вновь встретиться с Сангили, который все еще удерживал звание чемпиона. Жан водил меня на все матчи, репортеры продолжали нацеливать на него объективы. Ол выиграл все одиннадцать матчей нокаутом. Он был великолепен: высокий, худощавый, настоящий кузнечик. Противник, всегда оказывавшийся ниже ростом, никогда не знал, с какой стороны нанести удар. Время от времени Ол легонько ударял противника перчаткой по спине, как бы говоря: «Я здесь», затем наносил удар. Сам он терпеть не мог получать удары. Его высокий рост помогал ему избегать их. Ол говорил, что начал заниматься боксом, потому что в детстве ему сломали нос, хотя все считали, что нос у него сломан в бою. Иногда он выходил на ринг полностью одетый, всегда в очень элегантном костюме, свитере и кепке. Его раздевали прямо на ринге. Оскорбления сыпались градом. И каждый раз нокаут вызывал крики «Ура!».

В день матча с Сангили я подумал, что он проиграет. Ему было тридцать шесть лет, а нужно было выдержать пятнадцать раундов. В какой-то момент Ол понял, что если он продержится до конца, то выиграет по очкам. С окровавленной надбровной дугой он упорствовал, отбиваясь от противника. Я больше не мог смотреть на Жана, которого непрерывно освещали вспышки фотоаппаратов. Наконец раздался гонг, рука Ола взлетела вверх. Он победил. Разумеется, некоторые вообразили, что Жан хотел заставить говорить о себе, удивить, устроить новое зрелище, тогда как он думал только о спасении человека. Я всегда изумлялся тому, как истолковывали его поступки и написанные им произведения.

Один биограф недавно написал, что, несмотря на все услуги, которые Марсель Килл оказывал ему, будучи его гидом во время путешествия «Вокруг света в восемьдесят дней», это не помешало ему заменить его Жаном Маре.

Еще один биограф, описывающий самого себя.

Жан никогда никого не прогонял. Марсель Килл ушел сам, полюбив прелестную девушку, и Жан продолжал помогать ему.

Марсель являл собой смесь чистоты, безумства и необузданности. Он обладал огромным очарованием, которого я не встречал больше ни у кого, кроме Алена Делона.

Однажды я нашел Жана с переломанными ребрами и распухшим лицом.

Марселя объял непонятный приступ безумия. Я хотел наказать его. Но он, как ребенок, обливаясь слезами, просил прощения и повторял: «Я чудовище, я чудовище. Я ударил Жана, я, обожающий его». Он был искренен и трогателен.

Вернув звание чемпиона, Ол провел один матч с Ангельманном — и вновь победил нокаутом.

Когда он решил оставить большой спорт, Жан договорился с цирком «Амар», чтобы Ол смог поехать в турне. Затем он должен был вернуться в Америку и открыть там тренировочный зал.

Почему ему отказали в паспорте, я не знаю. Жан написал президенту республики письмо, в котором говорил, что никогда не просил милостей для себя, но хотел бы, чтобы помогли Олу Брауну. На следующий день солдат муниципальной гвардии принес паспорт.

Ол уехал в Америку. Так как шла война, мы долго не получали от него известий. Позднее Жан узнал, что он работает мойщиком посуды в одном из баров Гарлема. Жан поехал в Нью-Йорк, нашел Ола, дал ему денег и обещал помочь. По возвращении во Францию он встретился с Марселем Серданом, рассказал ему об Оле, и тот, в свою очередь, пообещал открыть тренировочный зал, которым будет руководить Ол. Сердану суждено было погибнуть в авиационной катастрофе, а Ол скончался от туберкулеза в одной нью-йоркской больнице.

Если бы мне пришлось перечислять всех друзей, которым помогал Жан, мне не хватило бы этих страниц.

11

В том же 1939 году мне много раз предлагали сниматься в кино. Хотелось дебютировать удачно. Из-за болезни я пропустил первый фильм, сценарий которого меня очень заинтересовал, — «Ночь в декабре».

В другой раз это был «Человек, который ищет истину» с Ремю. Автор сценария Пьер Вольф заведовал отделом критики в крупной газете. Он счел необходимым предупредить меня, что, если я откажусь сниматься, он меня «утопит». Именно поэтому я отказался, хотя охотно работал бы с Ремю. Наконец, меня пригласили попробоваться на роль де Грие в «Манон». После просмотра продюсеры и режиссер заявили, что я скорее Дантон, а не де Грие.

Жан, возмущенный таким забавным утверждением, написал стихи.

Как мне сделать, чтоб тело светилось твое,
Источая и мирру и амбру,
Чтобы ангел, одетый в костях де Грие,
В этой студии вышел из кадра.
Им, несведущим, не понять,
Что душа твоя — снег и огонь — все на свете,
Что не зубы красивые нужно искать,
А накинуть на ангела сети.
Доказательство
От смеха, право, умереть не диво,
Как видят люди образ де Грие!
Ведь чтоб понять, что истинно красиво,
Достаточно взглянуть в лицо твое.
И, бурю чувств открыв в покое мнимом,
Вдруг осознать — все мрак, небытие,
Когда светило лучезарное твое
Сияет и горит неугасимо.

Божественный огонь в тебе живет,

Перебирают боги струны твоей лиры,
Поэтому столь чист, прозрачен звук ее
И лишь она секрет твой раскрывает миру.
Когда страдаешь ты — нет хуже ничего...
Наверно, колдовство тому причиной.
Стихи мои не в силах победить его,
Я их стыжусь: прости меня, любимый.

Страдание, о котором пишет Жан, было связано с моими зубами. Он повел меня к своему дантисту, и тот, сделав рентген, хотел удалить мне все зубы. В двадцать четыре года! Какая драма! У этого дантиста работал молодой сотрудник, которого заинтересовал мой случай. Он предложил заняться моим лечением. Готовый на все, я согласился. Он лечил каналы всех моих зубов. Позднее я ушел на войну с временными пломбами.

А Жана моя болезнь вдохновляла на создание стихов.

Недостойный поэт

Ты, как можешь, борешься с болью

И на ребенкаходишь более

Или на зверя. Ко мне тыходишь,

Глаз, полных упрёка, с меня не сводишь:

«Ведь в карманах твоих уж, конечно, секретов немало,

Помоги же, всесильный поэт!»

Так глаза говорят — они тронуть могли бы и скалы,

Я не в силах помочь, разрывается сердце в ответ.

Этой ночью

Я в объятьях твоих этой ночью хотел бы уснуть,

Но ты стонешь, Жанно, и жестокая боль не проходит.

Меж тобою и мною незримый любви призрак бродит,

Я сквозь стену готов в простыне проскользнуть.

Твоя мерзкая болезнь

Ты шагаешь взад-вперед,

Ног твоих следы целую.

Боль же, что в тебе живет,

На себя взять не могу я.

Если б знал, какой напев

Пели феи королевам,

В замках усыпляя всех,

Пой я голосом сирены.

Погрузил бы в забытье

Эту боль я осторожно.

Но увы! Ничем ее

Успокоить невозможно

Так пусть стократ воспета мной,

Живущая в устах прекрасных,

Когда пером взмахну я властно,

Уснет, довольная судьбой.

Ненормально

Когда Жанно от боли сам не свой,

Он как цветок, под пламенем поникший,

Иль мечущийся в клетке зверь лесной,

Которому сейчас весь мир чужд остальной.

Пакт заключить готов я с чертом иль с Всевышним,

Чтоб снова увидеть ожившим

Того, кто радость воплотил собой.

Осенний олень

Пока твоя любовь любовь мне не открыла,
Считал, что правильно в игру играю я,
То старая игра была в «они» и в «я» —
Венера в Лувре, что на подиуме застыла.
Но то была тень тени, жил мертвец во мне,
Фавн бронзовый, в котором нет желанья,

Неистовство, на бедность подаянье,
Безумца семязвержение во сне.
Так не вини ж меня за то, что жду в томленьи
Я дара твоей юной красоты,
Когда со мною рядом дремлешь ты,
А я тобой люблюсь в упоенье.

Ах, пусть болезнь покинет твой альков
И мне вернет сей дар благословенный,
Чтоб не был я, как тот олень осенний,
Настороженно ждущий рога зов.

Прости меня (Глупее быть нельзя!)

Как часто жизнь несет страданье!
Жизнь — это лишь любовный круг.
Жизнь требует хранить молчанье,
И в ней нельзя ходить вокруг.

Нельзя идти ни перед нею,
Ни внутрь нее нельзя войти.
Сегодня я наказан ею.
О боль зубная, отпусти!

Жизнь может быть живой и мертвой,
Ты побежден иль победил.
Закрыл ты дверь свою сегодня,
Решил я — сердце ты закрыл.

Портрет

Соединившее нас небо, умоляю,
Пусть Жанно будет завтра здоров,
Пусть болезнь превратится в любовь,
И любовь эту я воплощаю.

Я был
Зачем же дантист ? Ведь есть
Все — фильмы, бюсты, любовь,
Но горестных мыслей не счесть,
И печально течет в жилах кровь.
Что я делал с тех пор, как я есть?
Каждый день, каждый миг, вновь и вновь?

Был художником, вот и вся честь.
Жан решил перенести на экран «Трудных родителей». Он нашел продюсера.
Съемки должны были начаться в сентябре.
Да здравствует мой король

Я в сентябре прекрасный фильм снимаю,
Орлом взлетит он, над законами паря,
Как он волнует нас, как силы в нас вливает
Меня же Богом сделал он, хранящим короля.

Жан должен был осуществлять режиссуру, Ивонна де Бре— играть роль, написанную для нее, Марсель Андре, Габриэлла Дорзиа — свои роли, я — свою. Ни продюсер, ни оператор не хотели приглашать Алису Косеа на роль девушки. Они считали ее слишком старой и не обладающей необходимой для роли чистотой.

Жан рассказал о своем проекте Капгра, директору театра, где была поставлена пьеса «Трудные родители».

— Почему ты не сказал мне об этом раньше? Я хочу быть твоим продюсером.

— Потому что мы не можем пригласить Алису.

— Но это же ясно. Я все прекрасно понимаю. Я свяжусь с твоим продюсером.

Капгра стал главным инвестором фильма. Декорации готовы, приглашены актеры, операторы, технический персонал. Вдруг Капгра заявляет:

— Теперь или Алиса будет играть, или фильма не будет.

Все убиты. Что делать? Кто-то предлагает сделать пробы с Алисой. Пусть она убедится сама.

В назначенный день Алиса не явилась. Меня послали за ней. Она отказалась ехать, заявив, что делать пробы со мной, молодым дебютантом, естественно, необходимо, но она достаточно снималась в фильмах, чтобы обойтись без этого. Я возвращаюсь на студию. Жан звонит ей и объясняет, что пробы необходимы для оператора, чтобы он смог сделать хорошие крупные планы. Она соглашается. Я возвращаюсь за ней.

Оператор честно старается сделать ее моложе, используя газовую ткань, вырезанную и продырявленную бумагу. Во время просмотра Алиса находит себя прелестной, молодой, очаровательной.

Мы же считаем, что она выглядит, как Вольтер в Ферне*.

* В Ферне старый и больной Вольтер провел последние годы жизни.

Что делать? Нужно, чтобы кто-то сказал ей правду. Никто не решается.

Я беру это на себя, бросаюсь с головой в воду: отвожу улыбающуюся Алису в сторонку. Вскоре ее улыбка превращается в гримасу, потом исчезает совсем. Помня, как она относилась к Жану в последнее время, я отважился сказать ей все, даже то, что не следовало бы говорить женщине.

Она измучила Жана во время создания его новой пьесы «Пишущая машинка»: предлагала поставить третий акт на место второго, второй на место первого, не давала окончательного ответа, будет ли она играть в пьесе, считая, что ей лучше сыграть в «Парижанке», или в новой пьесе Салакру, или же в «Федре», или еще не знаю в каких других, — и все это она говорила, спокойно обмакивая сухарики в чай. Короче говоря, Жан совершенно упал духом. А этого я не мог допустить.

Декорации разобраны, контракты расторгнуты. О фильме не может быть и речи.

Мы с Жаном уезжаем в Сен-Тропе. Уже тогда это было экстравагантное место. Чтобы поддержать тон, нужно было соответственно одеваться. Мы остановились в маленьком отеле «Ле Солей», куда по ночам доносилась музыка с танцплощадки «Пальмира». Модная песенка называлась «Сомбреро и мантильи» в исполнении Рины Кетти.

Этот шум мешал Жану спать и работать. Мы перебрались в другой отель

«Аиоли». Его хозяином был один из наших друзей, Ж.П. Хагенауэр. Номера в «Аиоли» со вкусом обставлены, и мы чувствовали себя здесь, как в особняке. Однажды утром к нам в отель зашли мои товарищи, одетые так, будто собрались уезжать, и сообщили, что они мобилизованы.

— Мобилизованы? Почему?

— Как почему? Ты не знаешь, что объявлена война?

Я ничего не знал. Мы с Жаном не читали газет и не придавали значения распространяющимся слухам.

— Но если вы мобилизованы, то и я, наверное, тоже.

— Какое у тебя мобилизационное предписание?

— Не знаю.

— У нас шестое.

Наверное, у меня такое же, так как мы примерно одного возраста. Мы решили ехать. По дороге остановились в Лионе. Все прервали отдых, свободных номеров в гостинице не было. В конце концов мы нашли один ужасный — с простынями, цветом и толщиной напоминающими картон.

Добравшись до площади Мадлен, я убедился, что не только мобилизован, но еще и опоздал на свой сборный пункт, находившийся в Версале. Я позвонил матери. Она была в отчаянии, и мне пришлось сделать крюк, чтобы проститься с ней. Как Жану, так и ей я предсказал, что вернусь через неделю. Я не верил фактам: войны не может быть. Это какой-то чудовищный обман. Я оставил машину Жана на одной из улиц Версаля, неподалеку от центра, и собирался сообщить об этом Жану, чтобы он ее забрал.

Опоздал не один я. Мне выдали военную форму, не сделав выговора. Офицеры жаловались, что у них мало легковых машин. Я предложил «Матфорд» Жана. Они с радостью согласились. На машину прикрепили фальшивый военный номер.

Вечером я вернулся в квартиру на площади Мадлен. Мы поужинали с Коко Шанель, которая изъявила желание быть моей «крестной». Я отказался, дав ей понять, что хотел бы, чтобы она была «крестной» всей моей роты, и она согласилась. Конечно, она хотела, чтобы я простил ей историю с «Трудными родителями».

12

Мы отправляемся в путь в неизвестном направлении. Прибываем в Мондидье, в департаменте Сомма. Большая часть солдат спала в брезентовых палатках. Я сказал своим офицерам, что мог бы остановиться в той же гостинице, что и они, чтобы быть всегда под рукой, я могу сам платить за номер, поскольку они не имели права реквизировать номер для солдата. Они согласились. Как видите, для меня война началась весьма странным образом.

Я также оплачивал бензин для «Косули», нашей «Матфорд», поскольку мне было проще съездить на заправочную, чем просить талоны на бензин, полагавшиеся нашей роте. И потом, я мог пользоваться «Косулей» для своих личных нужд. Все это должно было вызвать ко мне антипатию товарищей.

Я начал работать над ролью в следующей пьесе — «Пишущая машинка». Мои товарищи издали наблюдали, как я разговариваю сам с собой, и принимали меня за помешанного.

Числился я в авиационной части: нечто вроде базы для «возможных» эскадрилий. «Возможных» потому, что самолетов мы никогда не видели.

Меня вызвал к себе лейтенант, командовавший единственной эскадрильей, которая была в нашем распоряжении. Он сказал:

— Когда носишь имя Жан Маре, следует доложить об этом своему командиру. Я видел вас в «Трудных родителях».

Из всех, кто находился на нашей, базе, только он один и видел пьесу. Этот случай

послужил мне уроком скромности. То, как меня принимали в Париже и Сен-Тропе, почти заставило меня поверить в свою известность.

Я ответил офицеру:

— Господин лейтенант, если бы я осмелился представиться, а вы бы мне ответили: «Жан Маре? Ну и что из этого?» — хорошенький у меня был бы вид.

Так все узнали, что я актер. Они оценили мою скромность и стали относиться ко мне иначе. Военврач даже упрекнул однажды офицеров за то, что меня беспокоят ночью для выездов: «Малыш должен отдыхать».

Чтобы мне простили мое более чем ложное положение, я старался оказывать услуги.

— Твои родители живут в двадцати километрах? Я отвезу тебя туда... Тебе нужна почтовая бумага? Я привезу...

Постепенно товарищи стали воспринимать мои привилегии как должное.

Но самую большую роль сыграло то, что моей «крестной» была Коко Шанель.

В кармане я носил записку, которую Жан передал мне в Версаль после того, как я сказал ему по телефону, что уезжаю в пять часов. Я без конца перечитывал эту записку в ожидании новых писем.

«Мой Жанно, в пять часов случит ся самое ужасное. Обнимаю т ебя всем сердцем. Клянусь, чт о сделаю невозможное, чт обы найт и т ебя».

Я увез с собой маленький бюст Жана, который Феноза вылепил для меня. В квартире на площади Мадлен он стоял на моем сундучке, под звездами из меди, которые я прикрепил на стену. Я никогда не расставался с этим бюстом. Так я обманывал себя и жил рядом с Жаном. Я обладаю странной способностью погружаться в сны наяву и просыпаться, только если окружающее меня интересует.

Я плохо понимал эту войну, я не принимал ее. Возможно, окажись я на переднем крае, я вел бы себя иначе? Наконец письмо от Жана.

«3 сент ября 1939 года.

Я только что получил твое письмецо, которое ты написал после того, как мы увиделись. Ты просишь, чтобы я его сохранил! Мой Жанно, твои письма даже из нескольких строк я ношу в кармане и живу только их ожиданием. Андре уехал, вернулся на свой пост. Я предложил Феноза пожить у нас, и сегодня он переедет. Жить стало очень тяжело, но я дал тебе обещание, и я сдержу его. Только ты увидишь бедного Жана, тонкого, как нитка. Доктор Коко поможет вернуть мне немного сил и веса. Я все еще не могу поверить, что это не дурной сон. Мне кажется, что вот-вот ты разбудишь меня, позвав из соседней комнаты. Дверь твоей комнаты все время открыта, и я хожу от предмета к предмету, от рисунка к рисунку. В моей памяти запечатлелась твоя фигура новобранца, на обочине дороги. Я должен был сдерживаться, а это была самая ужасная минута в моей жизни, если не считать той минуты, когда мы расстались с тобой у дверей «Максима». У меня так болят глаза, что я вынужден покинуть тебя. Ты знаешь, что я не расстанусь с тобой ни на секунду.

Розали провела вечер у нас дома; чт о мы могли делат ь? Говорит ь о нашем сыне и ждат ь его. Вот моя единст венная цель. Я закончу письмо завт ра ут ром. Две ст рочки, чт обы попрощат ься с т обой.

Чт о касает ся машины, очень важно, чт обы она ост авалась у т ебя. Благодаря ей у т ебя хорошее мест о, и я от ношу эт о на счет т воей удачи.

Повт орай себе без конца, чт о мое сердце бьет ся в т воей груди, т воя кровь т ечет в моих венах, чт о я гораздо менее одинок, чем многие другие, поскольку мы с т обой одно целое, несмот ря на разделяющее нас расст ояние.

Мой Жанно, я обнял т вою маму за т ебя, я буду част о навещат ь ее, не беспокойся. Молись. Я молюсь и ничего не меняю в своей молит ве. Она т а же, чт о и в Сен-Тропе.

Если это ожидание и неизвестность подорвут мое здоровье помимо моей воли, я знаю, что ты еще больше будешь любить своего бедного поэта, кот орый был поражен молнией и на кот орого молния продолжает медленно падать. Заплат им же за то, что мы были слишком счастливы. Это дорого, но не слишком, когда я думаю о наших с тобой каникулах.

От тебя я жду мужества, это главное. Ты — жизнь, сила, радость, ничто не может тебя сломить.

Я никак не могу расстаться с этим письмом. Мне кажется, что я сомнамбула, что я придумал все это и что я найду тебя уснувшим под твоими маленькими звездочками. Я еще верю в чудо. Обнимаю тебя».

После этого письма вахмистр не переставал приносить мне новые. Иногда я получал от Жана три, четыре письма сразу. Поскольку Жан просил всех друзей писать мне, случалось, что на проверке мою фамилию выкрикивали двадцать раз кряду. Мне было неловко перед товарищами, многие из них совсем не получали писем. В конце концов я попросил, чтобы мне отдавали письма отдельно. Мою просьбу удовлетворили.

«Мой Жанно!

Я самый счастливый человек в мире. Существуют ли счастливые люди? Нас с тобой не может разлучить даже конец света. Это великая загадка. На следующий день после того ужасного дня я почувствовал удивительное спокойствие. Это была чудесная уверенность в том, что наши сердца, твоё и моё, бьются, как волны, набегающие друг на друга. Это были волны нашей любви, поющие в тишине. Слава — ничто рядом с любовью. Наша слава в нашей любви.

«Я счастлив, что люблю тебя». Это твоя маленькая фраза стало тем, что было дорого заплатить за нее. Благодаря ей я могу примириться с этой драмой и с этим тупиком, в который мы попали.

Мне жаль равнодушных людей, кот орым не дано любить всеми силами души. Твой Жан».

«Любимый Жанно!

Я только что был у Коко. Она получила от тебя письмо и просила меня переехать к ней, чтобы мы могли вдвоем говорить о тебе. Так что я соберу чемодан и буду ночевать в «Рице». Ты можешь писать мне туда. Но я все равно буду заходить домой, чтобы пройти по комнатам, я не могу отказать себе от этого счастья. Это письмо не в счет. Я напишу тебе сегодня вечером из «Рица». Пережить это от дурной сон можно только ради тебя, ради нас, ради твоего сундучка со стихами. Нужно жить ожиданием чуда и молить наше небо».

«Суббота.

Мой Жанно!

Не могу удержаться и не написать тебе еще несколько строк. Я только что виделся с твоей мамой. Ты, конечно, догадываешься, о ком и о чем мы говорили. Я не могу покинуть нашу квартиру. Квартира — это ты, это твоя открытая комната, это дверь, под которую я просовывал стихи. Жанно, будем мужественными и терпеливыми. Небо нам помогает и защищает нас. Наше небо. Потому что у нас одно небо на двоих, и это небо нас не покидает. Я обожаю тебя».

Я нашел маленькую собачонку-метиса типа фокса, похожую на ту, что изображают на пластинках «Голос его хозяина», белую, с черным пятном на левом глазу. Я назвал ее номером нашей роты — 107-й. Ей было около трех месяцев. Я надел ей красный ошейник, а хозяйка отеля сшила ей голубой костюмчик. Эта собачка так привязалась ко мне, что я не мог оставить ее ни на секунду, потому что она тут же

начинала скульптур. Мне разрешали брать ее в машину. Солдаты ее обожали и в который раз прощали мне мои привилегии.

В Париже Жан предпринимал отчаянные попытки получить пропуск, чтобы приехать ко мне, и уговорить кого-нибудь отвезти его.

Коко Шанель заставила всю свою фирму работать на нашу роту: шить плащ-палатки, вязать свитера, перчатки. Все это Жан должен был привезти в первый свой приезд.

«Мой Жанно, да поможет нам наша звезда, чтобы я смог приехать в воскресенье, как Дед Мороз. Если мне это не удастся, я буду очень огорчен, но ты поймешь, что это не по моей вине, и ты сделаешь невозможное, чтобы приехать и забрать подарки. Коко просто молодец. Все в восторге от одеял, которые она сшила для вас. Они не похожи на те, что вам обычно посылают. Она хочет, чтобы у вас были такие накидки и шерстяные шлемы, которые ей самой было бы приятно носить, — двойные, не щекочущие и сохраняющие тепло, даже если намокнут. Надеюсь, офицеры будут в восторге от того, что она им пригостила.

Прижимаю тебя к своему сердцу».

В конце концов Жану пришлось ехать без пропуска. Друзья отказались его везти, опасаясь неприятностей. Он приехал с Виолеттой Моррис*, которая была за рулем. По ее настоянию ей отрезали груди, поскольку, как она утверждала, они мешали ей при вождении машины. Она носила короткую стрижку и мужскую одежду. Мне сообщили, что приехали Жан и мой брат. Они приняли Виолетту за моего брата.

* Виолетта Моррис была гонимой.

Виолетта уехала обратно. Жан остался в «Отель дю Коммерс», в котором я жил. Обратно он возвращался поездом.

Несмотря на огромные трудности, Жан приезжал ко мне каждое воскресенье. Его письма рассказывали лучше меня о нашем счастье.

«Жанно, я видел счастье на твоем лице, а ты видел счастье на моем. Нет ничего прекраснее нашей звезды! Ничего чище, ничего необычного. Я не думаю, что дьявол осмелит встать между нами в воскресенье и преградит мне путь. А если это случится, я вновь обращусь к небу, и оно придет нам на помощь.

Мой Жанно, я ложусь, чтобы мечтать о нас, я прижимаю тебя к своему сердцу».

«Вторник.

Жанно, не удивительно ли, что я могу признаться посреди этой великой катастрофы: я совершенно счастлив?

Я начинаю думать, что наш добрый Бог создал в этом безумии, из этого безумия нечто совершенное. Все — комната наверху, комната внизу, синяя лампа, розы, заря — предстает передо мной шедевром, чудом без малейшего изъяна. Лица твоих товарищей казались выгравированными на медальях, потому что улыбки этих их незнакомых лиц поражают твою доброту, твою приветливость, твоё очарование.

Мой Жанно, я горжусь тобой, собой, нами. Это наша тайна.

Едва осмеливаюсь признаться в том счастье посреди Вселенной, залитой слезами. А за окном поезда вижу твоё лицо, устремлённое ко мне, казавшееся самым прекрасным в мире портретом. Если кто-то прочитает это письмо, может сказать, что в нём отразилась вся легкомысленная и великолепная Франция. Франция сердечная и серьёзная в своей радости. Я обожаю тебя».

Жан привёз шотландские пледы с фирменным знаком Шанель, свитера,

шерстяные шлемы, перчатки, индивидуальные термосы, сигареты. Вскоре стали приходить целые фургоны с вином, теплыми вещами и сигаретами.

Коко Шанель на этом не остановилась. Она узнала, кто из солдат женат и имеет детей, достала их адреса и послала на Рождество игрушки, платья, свитера, украшения. Она посылала женам и детям подарки от имени их мужей и отцов. Узнав у меня фамилии солдат, которые не получали писем, она решила и им сделать сюрприз, что стало причиной небольшой драмы. Один солдат, получивший посылку, поблагодарил свою жену, думая, что посылка от нее. Жена решила, что у мужа есть любовница. Бедняга пришел ко мне и стал расспрашивать, не я ли послал эту посылку.

— Умоляю тебя сказать мне правду.

И он рассказал о своем несчастье. Мне пришлось сознаться. Разумеется, тут же об этом узнала вся рота. Сколько я ни объяснял, что это сделала мадемуазель Шанель, все благодеяния приписали мне.

Я стал в некотором роде «неприкасаемым», причем до такой степени, что однажды вся рота объявила забастовку, чтобы добиться отмены грозившего мне наказания. Вот эта история.

Естественно, что некоторым из своих товарищей я отдавал предпочтение. Среди них старший сержант метеослужбы Люсьен Валле. Мы часто проводили время вместе. Он хорошо выполнял свою работу, но военная дисциплина давалась ему нелегко.

Однажды офицеры намекнули мне, что мне больше пристало проводить время с ними, а не с Балле. Я дал им понять, что предпочитаю общество солдат и старшего сержанта их компании. Через несколько дней меня предупредили, что полковник недоволен тем, что в нашей роте гражданская машина, и приказал ее убрать.

В одно из воскресений с Жаном приехал мой брат. Он перегнал «Матфорд» в Париж. Я стал водителем военной машины.

У нас со старшим сержантом была привычка «сматываться», то есть тайком ездить в Париж. Я ездил повидать Жана, а Валле — свою семью и любовницу. Теперь мы брали армейскую машину. Возвращались рано утром, до поверки. Но однажды был сильный туман, я попросил Валле сесть за руль, думая, что он водит машину лучше меня. В том, что это не так, я убедился, когда мы оказались в канаве. Мы никак не могли вытащить из нее машину. Пришлось остановить грузовик, который вытащил нас с помощью троса. Машина была более чем помята. Мотор работал, но при каждом повороте приходилось вылезать из машины и приподнимать ее, чтобы вернуть на дорогу.

Около восьми часов утра мы нашли открытый гражданский гараж, где нам выровняли вмятины, но вернуть машине прежний вид не удалось. Нужно было видеть эту бедную машину!

Мы вернулись в роту в девять часов вместо шести. Меня вызвал к себе лейтенант. Я оставил машину у КП. Вхожу в кабинет.

— Где вы были?

— У себя в комнате.

— Нет, вас там не было. За вами посылали.

— Во сколько?

— В восемь часов.

— Каждое утро я ухожу в шесть часов делать зарядку.

— Ладно. Где машина?

— У двери.

— Нужно ехать.

— Хорошо, господин лейтенант.

Увидев совершенно покоренную машину, он спросил:

— У вас была авария?

— Нет, господин лейтенант.

— Как нет? Да взгляните же на нее!

— Да, господин лейтенант.
— Да! Вы признаете, что у вас была авария?
— Нет, господин лейтенант.
— Вчера вечером машина была в нормальном состоянии. Да посмотрите же на нее, черт побери!
— Она всегда была такой, господин лейтенант.
— Вы что, принимаете меня за дурака?
— Нет, господин лейтенант.
— Итак?
— Итак, она всегда была такой, господин лейтенант.

С моей стороны было глупо отрицать очевидное. Но, отрицая все, я избегал других вопросов, на которые мне не хотелось отвечать. Меня посадили в «тюрьму», вернее, взяли под стражу, поскольку специального здания тюрьмы не было.

За несколько дней до этого события один солдат сломал ручку дверцы этой самой армейской машины. Решив, что это произошло по моей вине, наказали меня. Я безропотно принял наказание, но виновник сам признался. Все, не исключая офицеров, решили, что я снова кого-то выгораживаю. Мои товарищи устроили забастовку, требуя выпустить меня из-под стражи. Это всего лишь одно из многочисленных доказательств их дружбы.

В день демобилизации офицеры спросили:

— Теперь вы можете сознаться, кто разбил машину?

Я ответил улыбаясь:

— Дело в том, что она всегда была такой.

Но это произошло гораздо позже...

Пока что мы в Мондидье. Это было еще до истории с машиной. У меня украли моего маленького 107-го. Я был безутешен. В свой очередной приезд Жан подарил мне другую собаку, трехмесячную немецкую овчарку, которую я тоже назвал 107-й. Вскоре мы отбывали из Мондидье в Ами, это также в Сомме. Ами находится совсем рядом с Тиллолуа. Мы проходили через этот городок, направляясь к месту нового расквартирования. В Тиллолуа очень красивый замок XVI века. Офицеры обожают замки. Они решили остановиться здесь.

Нас встретила хозяйка — пожилая дама в чепце. Увидев меня, она воскликнула: «Жанно!» и бросилась меня обнимать.

Откуда эта дама знает меня? Наверное, это одна из знакомых Жана, которую я, как обычно, не узнал.

— Жанно, вы здесь у себя. Приходите, когда хотите. Если хотите здесь ночевать, питаться — будьте как дома.

— У вас хотели бы остановиться офицеры.

— Ни в коем случае. У них есть ордер на реквизирование помещения?

— Нет.

— В таком случае меня не заставят их поселить.

Мы покинули замок. Хозяйка отпустила меня, взяв слово вернуться. Мои офицеры недовольны. Это стало началом ухудшения наших отношений.

В Ами я снимал комнату с ванной, за которую платил сам. Машину у меня забрали. Я проводил дни за чтением, писал или рисовал у себя в комнате, навещал Терезу д'Эннисдаэль в ее замке, где меня шикарно принимали. Жан приезжал туда на выходные. Часто там бывали английские офицеры. На Рождество хозяйка дома — «Дама в чепце» — устроила большой праздник в нашу честь. В конце ужина англичане запели «Марсельезу». Тереза побледнела. Наклонившись к Жану, она сказала:

— Как, эта революционная песня у меня!

Все ее предки были обезглавлены в 93-м под звуки этого гимна. Что касается меня, я жил как в сказке. Вечера в замке, чепчик Терезы, отличавшиеся простой элегантностью залы, комнаты и такой успокаивающий огонь больших каминов. Если не считать ужина с английскими офицерами, мы почти не ощущали, что идет война...

Жан так же, как это было в Париже, писал ночью стихи, которые я находил утром в своих «башмаках»*.

* Намек на рождественские подарки, которые дети находят в «башмаках», поставленных с вечера у камина.

В ночь Рождества явится Ангел,
Чтоб дать тепла тебе и мне,
Ибо он, как саламандра,
Может танцевать в огне.

Часто стихи перемежались рисунками.

Комната Элианы*

Мы все трое тихо дремлем,
107-й, Жанно и я.
Сон — прекрасная поэма,
Если рядом спят друзья.

Ангел наш, легко принявший
Вид огня в честь Рождества,
Белые одежды снявши,
Сна сплетает кружева.

Он на нас навеет негу,
В злато обратит бревно.
Ангелы же за окном
Все из мрака и из снега.

Ангел, я к тебе с мольбой:
Пусть окончится война,
Не нужна нам трем она,
И в душе у нас покой.

* Элиана — сестра Терезы д'Эннисдаэль.

* * *

Мой Жанно, мой любимый, мой сын,
Из груди сердце выскочит, верно,
Ибо знаю, ко мне мчишься ты
Из Ами в Тиллолуа, чрез Бёврень.
Как тебе удастся, мой друг,
И солдатскую ляжку влачить
В Сомме, где так тоскливо вокруг,
И быть светочем в этой ночи?

* * *

Проснулся я к жизни, а значит, к любви,
В тот день, когда повстречал я Жанно,
И рядом теперь лежат, как одно,
У камина туфли — его и мои.

Крик в пустоту

Все нас с тобою разделяет,
И все ж навеки мы вдвоем.
Сто клятв твоих в моем кармане,
Мои же носишь ты в своем.

И пусть повсюду катастрофы,
На почте письменный завал,
Тебе шлю огненные строфы —
Любви своей девятый вал.

Мой новый 107-й заболел. Жану пришлось отвезти его в Париж для лечения. Ветеринар привязался к нему и попросил разрешения оставить его у себя.

С тех пор как я перестал быть водителем, в роте не знали, что со мной делать. Никаких нарядов, никакой работы мне не поручали. Я был неприкосновенной личностью. Мои товарищи не разрешали меня беспокоить.

Однажды меня вызвал офицер.

— Вас переводят на другую работу, — сказал он. — Вы отправитесь в Руа, на колокольню. Это самая высокая точка в окрестностях. Будете наблюдателем. Ваша задача — сообщать по телефону, когда появятся немецкие самолеты.

И вот я устроился со своей походной кроватью в большом квадратном помещении самой высокой башни в деревне, как раз под колоколами, звонившими каждые четверть часа. Колокольня была высотой, думаю, метров шестьдесят. Я поднимался туда по винтовой лестнице из четырехсот пятидесяти ступенек. Было маловероятно, что я отличу немецкие самолеты от французских. Как я говорил, у меня очень слабое зрение, и я не знал, как выглядят те и другие.

На вершине колокольни был довольно широкий балкон. На балюстраде черной краской я нарисовал немецкие самолеты, чтобы облегчить себе задачу. В свою «жилую» комнату я принес керосинку, отвел уголок для кухни, отделив его от остальной части ширмой собственного изготовления, купил ткани, чтобы прикрыть походную кровать, из бутылей сделал лампы. На стены повесил фотографии Шанель, Жана, рисунки. Из ящиков смастерил письменный стол. Наконец, я пригласил Терезу д'Эннисдаэль на чай. Она вскарабкалась по четыремстам пятидесяти ступенькам в сопровождении своего сенбернара.

Чтобы сократить количество подъемов на башню, я договорился с рассыльным из булочной напротив церкви. Я спускал на веревке корзину, в которую клал список покупок и деньги.

По утрам я принимал душ в городской бане. Когда погода улучшалась, загорал на вершине своей колокольни. Жители Руа, которым было любопытно увидеть актера с колокольни, часто добирались до моего гнезда. Заслышав шаги, я поспешно одевался, чтобы меня не застали совершенно голым.

Ивонна де Бре подарила мне радиоприемник, редчайшую в то время вещь. Это был один из первых транзисторных приемников, конечно, американский, его можно было купить в магазине «Технические новшества». Я звонил по телефону девушкам, работницам почты в Руа, и клал трубку на радиоприемник, таким образом они могли слушать музыку. Благодаря этому девушки-телефонистки питали ко мне симпатию. И когда я просил соединить меня с номером Жана в Париже, меня соединяли, предупреждая, чтобы я не говорил, где нахожусь (они знали военные правила!).

Но Жан спросил, где я...

— Я не могу тебе сказать.

В этот момент колокола стали отбивать полдень. Приходилось кричать, чтобы услышать друг друга, и этого еще было недостаточно! Когда колокола замолкли, Жан

сказал:

— Я понял, где ты находишься.

Я почти не видел немецких самолетов. В любом случае, в моей роте не было ни зенитной батареи, ни эскадрильи. Если я просыпался ночью, то звонил в роту, чтобы там думали, будто я дежурю, и сообщал:

— Вижу немецкую эскадрилью. Однажды мне ответили:

— А нам какое дело?

Как-то утром я, как обычно, спустился принять душ и увидел хозяев с узлами и чемоданами.

— Мы уходим, — сказали они, — немцы в пяти километрах, в Аме.

Я не поверил и сказал им об этом. Но они все равно ушли, а вместе с ними ушли все жители деревни. Торговцы оставили мне ключи от своих лавок:

— Берите все, что хотите, лучше пусть все достанется вам, чем немцам.

В бакалее напротив церкви было все: масло, консервы. Но мне придется подниматься и спускаться по четыремстам пятидесяти ступенькам, потому что булочник уехал вместе с остальными, оставив свой велосипед. Со своей колокольни я вижу, что он стоит у него во дворе.

Я остался один в маленьком пустынном городке, с брошенными кошками и собаками. Такое впечатление, что я гуляю по заколдованному городу. Но вскоре колдовство сменяется кошмаром: через деревню шли французские войска — беспорядочная толпа оборванных усталых солдат. Они, видимо, идут на отдых...

Пехотинцы заметили меня. Несколько человек направились ко мне, схватили за шиворот.

— Ты, сволочь, летчик, какого дьявола ты здесь делаешь? Где ваши чертовы самолеты?

— Видишь ли, я простой солдат, как и ты, и у нас нет самолетов.

Они ушли.

Я оставался один еще три или четыре дня. Наконец появились самолеты, в довольно большом количестве. Хотя они летели очень низко, ниже вершины моей колокольни, я не мог распознать их национальной принадлежности, я и правда очень близорукий. Но когда они принялись бомбить все вокруг, выбрав в качестве оси мою колокольню, я понял, чьи это самолеты. Тогда я, как безумный, начал танцевать и вопить, словно краснокожий. Я знал, что нахожусь в безопасности, раз моя колокольня является осью. Кроме того, я вовсе не похож на военного, поскольку я разделся догола. Я видел, как они убивают уже мертвый город. Я танцевал. Не знаю, почему, но я был охвачен непонятной радостью: радостью быть вне опасности, радостью быть единственным зрителем и еще радостью, что мог сказать: «Я видел немецкие самолеты, на этот раз я в этом уверен». Я танцевал. Потом бросился к телефону предупредить роту. Телефон отключен. Зачем я здесь? Принес ли я хоть какую-то пользу? — спрашивал я себя. Во время бомбежки я не испытывал страха. Неужели мне удалось окончательно побороть его? В глубине души я понимал, что ничем не рисковал тогда. Я поднялся на вершину своей колокольни, на бетонный крест и, стоя на нем, стал считать до шестидесяти, мне не было страшно. Я мог вернуться в свою роту.

Я натянул брюки, рубашку небесно-голубого цвета из «Трудных родителей», взял велосипед булочника и поехал. В роте меня встретили вопросом:

— Какого дьявола вам тут нужно? Немедленно возвращайтесь на свою колокольню!

Пришлось возвращаться. Навстречу шли наши войска. На меня смотрели с подозрением. Я взобрался по своим четыремстам пятидесяти ступеням, лег на кровать. На лестнице послышался сильный шум. Я увидел направленные на меня ружья. Понимаю, что меня приняли за шпиона. Смеюсь. По лицам солдат ясно, что они не очень-то мне верят.

— Входите, не бойтесь, — сказал я. — Я здесь один, я наблюдатель на этой

колокольне.

Они решили, что я буду отсюда подавать сигналы немцам. Тогда я показал фотографии Кокто, Шанель, нарисованные мною самолеты, свою кухню. Предложил выпить и взять любые консервы, которые им понравятся. Они ушли очень довольные.

Через некоторое время из роты за мной прислали грузовик. Я всегда удивлялся, что обо мне не забыли. Я прибыл в роту в тот момент, когда был получен приказ об отступлении, если только офицеры сами не решили бежать. Мы отступали. Солдаты шутили: «Вперед, до испанской границы». Нельзя было сказать вернее: мы почти дошли до нее.

Я не успел проститься с графиней. Но со своей колокольни я видел, что ее замок не пострадал. Он был разрушен позже, во время других бомбежек.

Замок славной графини уже подвергался разрушению во время войны 1914—1918 гг., а она сама была задержана как шпионка. Единственный сохранившийся в замке туалет находился вверху уцелевшей башни. Свет, который там зажигался во время кратких пребываний, приняли за сигналы.

Тереза восстановила замок из камней крепостной стены после войны 1914—1918 гг. Ей пришлось восстанавливать его еще раз в 1945 году.

13

Первая остановка — Компьенский лес. Я увидел привязанную к дереву собаку, которая сидела, наострив уши, и смотрела на меня. Любовь с первого взгляда — у меня к ней, у нее ко мне. Я подошел. Меня пытались остановить, потому что собака выглядела злой. Она оказалась самой славной собакой в мире. Я отвязал ее, выбросил веревку. Больше мы не расставались. Мы перепробовали все клички. Гражданские знали ее. Она принадлежала жителям Компьеня и звалась Лулу. И правда, она откликалась на эту кличку. Я назвал ее Мулу. В первый вечер она спала возле меня в маленькой палатке, которую мне прислала Ивонна де Бре. Она рычала, как только кто-то приближался. Я уже был ее другом.

Мои товарищи полюбили ее и не переставали выказывать мне свою дружбу, но я уже писал об этом выше. Зато мои отношения с офицерами ухудшались.

Однажды офицеры стали возмущаться:

— Как? В трех километрах отсюда погибают люди, а вы слушаете радио!

Я ответил:

— Вы же сами целый день слушали радио, когда люди погибали в пятидесяти километрах! В чем разница?

Вторая остановка: Нофль-ле-Шато. Я позвонил Жану, и он приехал. Я познакомил его с Мулу. Потом мы расстались. Когда мы снова увидимся? О письмах уже не может быть и речи.

Вскоре я оказался в Ош, где пробыл до демобилизации. От Жана не было никаких известий. Я писал в Париж, но Париж был оккупирован немцами, и если он еще был там, мог ли он получать мои письма?

Мы с Мулу по-настоящему привязались друг к другу. Я не стеснял его свободу. Он охотился ночью, возвращался утром. Усталый и пропахший перьями, он прыгал ко мне на руки, бурно выражая свою радость.

Мы тоже охотились. По крайней мере мои товарищи. Часто мы ели белок, я готовил их с белыми грибами. Свою порцию мяса я отдавал Мулу, а сам ел овощи.

Накануне демобилизации я каким-то чудом получил письмо от Жана. Он находился в Перпиньяне. Чтобы убедить Жана уехать из Парижа, импресарио Шарля Трене господин Бретон пригласил его в Перпиньян в свое имение с замком и огромным парком. Ехали на машине. По дороге замок превращался в большой дом, затем в обычный дом, затем в маленький дом, затем в квартиру, затем в маленькую квартиру, и, само собой разумеется, парк превращался в сад, затем оказалось, что

сада нет вовсе... В конце концов они приехали в маленькую однокомнатную квартиру, где Жана и поместить-то негде. Супруги Бретон поручили его заботам очаровательной семьи врача, доктора Николо. Эта семья обожала людей искусства: художников, скульпторов, музыкантов, писателей, поэтов. Они охотно согласились приютить Жана и сразу же полюбили его. У них трое чудесных детей: Жак, шестнадцати лет, Симона, пятнадцати, Бернар, десяти, и все трое один красивее другого. Они и меня ждут с радостью.

Я демобилизовался, распрощавшись с армией или тем, что от нее осталось. Уезжал я в голубых брюках из «Трудных родителей», которые носил вместо форменных (в армии я всегда был одет несколько странно), в рубашке от смокинга и в меховом жилете из опоссума, подарке мадемуазель Шанель. Его цвет — смесь белого, серо-коричневого и темно-серого, точно такой же, как у Мулу. Мы с ним были похожи на персонажей книги «Без семьи».

В Перпиньяне, окруженные нежностью и вниманием семьи Николо, мы были счастливы. Жан писал, рисовал. Его рисунки того времени своей законченностью и точностью деталей немного напоминают рисунки Энгра. Он написал портреты всех членов семьи. Я начал писать портрет госпожи Николо.

Друзья госпожи Николо пригласили нас в свое имение в Верне-ле-Бэн. Там я уходил рисовать в горы. Я полюбил старый каштан. Местные жители утверждали, что ему тысяча лет. Чтобы его обхватить, три человека должны были взяться за руки. Молния расколола его на две части. Внутри дерево было черным, листья ярко-зеленого цвета.

Я писал этот каштан на фоне радужного пейзажа. Писал я очень медленно, каждый день на одном и том же месте. Вечером я возвращался в дом наших друзей Николо. Они захотели увидеть, как подвигается работа... и обнаружили, что дупло в дереве — вылитый портрет Кокто; я думал, что это просто моя фантазия.

На следующий день мы убедились, что я ничего не придумал: форма дупла действительно напоминала портрет Жана. . .

Через некоторое время после возвращения в Париж мы узнали из газет, что в Пиренеях был подземный толчок. Вода с гор залила все, вплоть до Перпиньяна. Наши друзья Николо сообщили, что мое дерево перестало существовать.

В Перпиньяне, ожидая возвращения в Париж, я мечтал только о театре.

Стоя ночами на посту во время своей службы в армии, я работал над ролью Нерона, постоянно вспоминая слова Маргариты Жамуа: «Вы никогда больше ничего не сможете сыграть, кроме «Трудных родителей». Как бы споря с ней, я выбрал роль, совершенно противоположную своему дарованию.

Меня восхищал в Расине безукоризненно точный, простой текст, наполненный богатым внутренним содержанием. Меня удивляло, что актеры произносят эти стихи нараспев, украшают их столькими фиоритурами, что уже непонятно, о чем идет речь. Я испытывал огромную радость, когда мне казалось, что я нашел что-то новое, и дрожал при мысли, что скажут об этом Кокто и Ивонна де Бре.

Я решил поставить пьесу в свободной зоне и поехал в Монпелье к Вилару предложить ему роль Нарцисса (как вы помните, мы познакомились на курсах Дюллена, где оба были учениками). Он согласился. Затем я поехал повидать других актеров в Марселе.

В тот вечер Мулу побежал за какой-то собачкой и не вернулся домой. Я позвонил из Марселя. Он был уже дома и всюду искал меня. Одновременно я узнал, что Жан получил телеграмму от Капгра, он просил возобновить постановку «Трудных родителей».

Я отказываюсь от своего проекта постановки «Британика». Мы едем в Париж. Двое суток пути, в течение которых я спал на багажной полке вместе с Мулу. Хотя мы ехали из Перпиньяна, поезд прибыл на Восточный вокзал. Странно!

Париж! Мы с Жаном охвачены таким волнением, что на глаза наворачиваются слезы.

Мы возвращаемся в свою квартиру. Я открываю ее для себя: она на улице Монпансье. Перед оккупацией Жан уже не мог отапливать нашу квартиру на площади Мадлен. Он нашел квартиру поменьше возле Пале-Рояля. Она не была благоустроена, но спать там было можно. Пока ее приводили в порядок, он жил в отеле «Божоле», где находились также Бебе и Борис.

Квартира на улице Монпансье находилась в чердачном помещении с полукруглыми окнами. Две комнаты — одна большая, одна маленькая (Жан отдал мне большую), ванная комната, коридор, наконец, маленькая комната, примыкающая к той, которую должен был занимать Жан. Эта квартира очень быстро превратилась в место, которое я полюбил больше всего на свете. Затратив совсем немного средств, мы благоустроили ее. Пол покрывал красный палас, в том числе в ванной и в кухне. В последней вдоль стен стояли шкафы, выкрашенные под красное дерево. Ширма, рама которой была сделана из красного дерева с черными наконечниками, выделявшимися на темно-зеленой шторной ткани, скрывала нагревательную систему. Круглый садовый стол и садовые кресла, украденные мною на Елисейских полях, и то и другое выкрашено в черный цвет.

Моя комната была голубой, с большим ступенчатым шкафом, стоявшим на одном уровне с подоконником для удобства Мулу. Книжные шкафы, белые снаружи и темно-зеленые внутри, замечательный комод эпохи Людовика XVI, подарок матери Жана. Бюст Кокто работы Феноза на белой колонне. Другая колонна из черного мрамора служила подставкой для большого фонаря в мавританском стиле. Украденная в Тулоне железная рука в нише над моей кроватью, покрытой голубой тканью.

На стенах висели рисунки Жана и Бебе, одна моя картина, потому что других у меня не было.

Маленькая комната Жана была обита красным бархатом. Стена с окном в форме полумесяца и по бокам две параллельно расположенные панели, напоминавшие черные школьные доски. Жан специально заказал их в надежде, что Пикассо сделает на них рисунки мелом. Пикассо никогда не сделал рисунков. Изгиб стены скрывал потайную дверь в соседнюю комнату, где Жан собирался курить опиум. Он так ни разу там и не курил.

Нам запретили возобновить постановку «Трудных родителей».

Опиум становился все дороже, и доставать его было все труднее. Правительство Виши проводило яростную пропагандистскую кампанию, возлагая на известных писателей и поэтов «ответственность за поражение» (sic)*. Я воспользовался всем этим и убедил Жана лечь в клинику, чтобы лечиться от наркомании. Он мужественно согласился. Я навещал его каждый день. Зная, что именно я побудил его лечиться, врачи меня одного допускали к нему. По-моему, это было единственное удавшееся лечение Жана. В его отсутствие я удалил все предметы, служащие для принятия наркотиков. А когда он вышел из больницы, старался сделать так, чтобы он не виделся или почти не виделся с наркоманами. Это было трудно, в особенности когда речь шла о тех, кто был ему нужен для работы, как, например, Бебе. Жан долгое время не писал, и я забеспокоился, не зная, что лучше: поэт-наркоман, но пишущий, или поэт, вылечившийся от наркомании, но не пишущий?

* Так, таким образом (лат).

Я снова подумывал о постановке «Британика». Виллемец предложил свой театр, где я играл в «Трудных родителях». Но кто поверит Жану Маре — режиссеру?

Я робко прошу Габриэллу Дорзиа сыграть Агриппину. К моему изумлению, она соглашается. Приглашаю Луи Салу на роль Нарцисса, Насье — на роль Бурра; оба дают согласие. Жаклина Порель сама попросила роль Юнии. Не хватает Британика. Мне порекомендовали молодого актера, который играл Антиоха в «Беренике», в театре «Рошфор». Я увидел на сцене что-то вроде бородатого гнома, некоего Сержа Реджани, и ушел, не досмотрев спектакль. На следующий день у Аньес Капри я

услышал, как какой-то молодой человек читал стихи Бодлера. Он настолько изумителен, что я бросился за кулисы и пригласил его на роль Британика. Когда я спросил его фамилию, оказалось, что это Реджани.

У меня нет денег. Один друг одолжил мне пятнадцать тысяч франков. Я отправляюсь на рынок Сен-Пьер, знакомлюсь там с его владельцем Эдмоном Дрейфусом, с которым мы будем друзьями до конца его жизни. Желая помочь начинающему, он предлагает мне прекрасные ткани по неслыханно низкой цене. Я сам крою и шью.

Габриэлла Дорзиа одевается у лучших портных, по-видимому, она не доверяет моему таланту костюмера. По ее просьбе мне позвонил Робер Пиге и любезно предложил свою помощь. Какая удача! Я отношу ему свои макеты. Что касается декораций, бедность вынуждает меня быть изобретательным.

Мы репетируем. Опасаясь попасть под влияние Жана Кокто, я прошу его не приходить на репетиции. Однако я не могу сделать ни шагу, не спросив себя, что сделал бы он, что сказал бы.

Я вспоминаю все, что он говорил о великих актерах, игравших эти роли. В конечном итоге помимо своей воли я поступаю так, как того желает он. Моя гордость двадцатипятилетнего юнца отказывается признать истину. Я думаю, что руковожу. Я руковожу. Мне нужно это ослепление, чтобы поверить в себя. Да! Я доказываю, что я настоящий комедиант. Я организую всю мизансцену вокруг Нерона. Я устраиваю все таким образом, чтобы красный цвет большого занавеса и красный цвет платья Агриппины померкли рядом с красным цветом моего костюма. Я придумал новый вид комедиантства, ловко используя свои выходы, с надеждой, что публика будет мне за это благодарна. Не думаю, чтобы кто-нибудь из актеров мог обойтись без этого комедиантства. Кроме того, я скрываю, что являюсь создателем костюмов, декораций и режиссером спектакля вопреки традиции Театрального объединения отдавать предпочтение режиссеру перед автором.

В результате все решили, что режиссером был Жан Кокто. Декорации, костюмы вызывают аплодисменты, мои тщательно продуманные выходы — бурю оваций. Мои реплики «Что? Мадам!» удивляют, но принимаются публикой. Я несколько не стараюсь добавить музыки стихам. Она здесь, она возникает сама собой. Я стараюсь играть ситуацию, быть персонажем, показать его постепенное превращение в чудовище, одолевающие его соблазны, его тайную страсть, его последние сомнения. А главное — я слушаю. Я напряженно слушаю партнеров. Я добивался от своих товарищей, чтобы они следовали этому стилю, и они его приняли. Все были восхитительны. Кроме того, мне было двадцать пять лет, а выглядел я на девятнадцать. Реджани, которому было девятнадцать, выглядел на пятнадцать. Как раз возраст наших персонажей.

Что особенно тронуло меня, так это интерес Пикассо к нашему спектаклю. Он хотел сохранить что-нибудь на память о нем и попросил Дору Маар сфотографировать меня в роли Нерона.

Публика выражала восторг, газеты — меньше. Один журналист показал мне свою хвалебную статью, перечеркнутую красным карандашом. Внизу было написано: «Разрешаю поместить фотографии, если будете критиковать спектакль». Начинались мои неприятности с коллаборационистской прессой. Этого молодого журналиста звали Жак де Прессак. Я не забыл его имени, тем более что он из-за этого ушел из газеты.

В перерыве ко мне за кулисы зашел Марсель Карне. Он сказал, что хотел бы помочь мне дебютировать в кино. В надежде на это я и пригласил его, в чем и признался. По его просьбе я обещал отказываться от предлагаемых мне ролей. Я отказывался. Но в этом не было никакой моей заслуги — роли были посредственные.

Он предложил мне роль в фильме «Беглецы 4000 года», который должна была выпустить немецкая фирма «Континенталь». Моя удача не дремала — фильм не был снят.

Несколько раз мне предлагали роли в фильмах, которые снимала «Континенталь». Анри Декуэн предложил сняться в фильме «Первое свидание». Еще одна удача: немцы не хотели даже слышать обо мне. Это позволило мне позднее защищать некоторых товарищей. После Освобождения я оказался «незапятнанным», потому что моя судьба и моя удача не дремали. Но я мечтал сниматься у Марселя Карне. И если бы его фильм снимала «Континенталь», я бы согласился.

Многие актеры вынуждены были работать для «Континенталь» и для «Радио-Пари», которым тоже руководили немцы. Я не любил работу на радио так же, как и озвучивание фильмов.

С другой стороны, для постановки пьесы требовалась виза цензуры. Ее получали директора театров. Следовательно, играя в театре или снимаясь в фильме, мы сотрудничали с немцами, не отдавая себе в этом отчета. После Освобождения оказалось, что многие товарищи, работавшие для «Континенталь» или для «Радио-Пари», были участниками Сопротивления и судили своих коллег, которые в Сопротивлении не участвовали.

По поводу представлений «Британика» я получил хвалебное письмо от Мориса Сакса.

«Мой дорогой Жан Марс!

Я знаю, как мало у Вас причин любить меня, я понимаю и уважаю эти причины. Пятнадцать лет назад, любя Жану, как любил его я и как любит его Вы, я возненавидел бы любого, кто о пост упал бы с ним так, как пост упал я в последние годы.

Однако это не может помешать мне сказать Вам от чистого сердца, что Ваша постановка «Британика» великолепна, в самом сильном значении этого слова.

Это полный, необыкновенный, волнующий успех, благодаря которому наконец слышен от возвышенного экстаза, который раньше можно было услышать только в глубине своей души.

Вы сыграли незабываемого Нерона. Истерия, грация, зарождающаяся сила, последний порыв добродетели, которая ко злу — все здесь есть.

Что касается молчания, с которым Вы слушали Агриппину, то это одно из самых прекрасных молчаний, которое я когда-либо «видел» в театре.

Я вышел после спектакля потресанный, несчастливый. Я чувствовал себя двадцать летним. Я вновь обрел веру в талант ливую и решил вернуть молодость, которую верою видит и чувствует.

Говорю Вам «браво» от всего сердца и хочу еще аплодировать Вам.

Ваш Морис Сакс».

На следующий день он постучался в дверь моей гримерной.

— Я не хочу ни видеть вас, ни говорить с вами, — сказал я ему.

Как известно, я был свидетелем его попытки шантажировать Жану. Я не только помешал Жану поддаться шантажу, но с тех пор постоянно препятствовал его встречам с Жаном.

Морис Сакс, без сомнения, надеялся, что письмо изменит мое отношение к нему. На следующий день Жан тоже получил письмо.

«Дорогой Жан!

Вот уже неделю первое, что я делаю, входя в чей-нибудь дом, — с жаром рассказываю о постановке «Британика». Уже во вторник я заказываю билеты на среду. Я привожу знакомых дам, представителем которых среды, которую превосходно подходит для того, чтобы правильно рассказать о том, что прекрасно, и привлечь публику. Одна из них — лучшая подруга Андре Лихтвица, Женевьева Лейбовичи. Я чувствую еще раз аплодировать молодым людям, приложившим столько усилий, причем совершенно бескорыстно. И вот я имел

неосторожность в зайт и в артистическую Жана Маре и услышал: «Я не желаю с вами здороваться».

Я только что слишком искренне аплодировал, что бы начать ссору, но как много высокомерия, презрительной самоуверенности и у молодого человека, не знающего, сколько грязи и сколько чисто оты может заключаться в душе и т. е. человека! Он принимает на свой счет ссору, к которой не имеет никакого отношения, и берет судить. А судят всегда вкривь и вкось.

Я на него не сержусь, но он меня огорчил. Тем хуже. Надеюсь, мы устали раним между нами, Вами и мной, постоянно возникающие препятствия.

Обнимаю Вас, Морис».

Морису Саксу удалось опубликовать свою книгу после того, как несколько издателей отказались это сделать. Жан попросил в качестве доказательства моей дружбы никогда ее не читать. Я так и не читал ее. Жану были чужды злоба, ненависть. Он страдал от зла, которое ему причиняли, но никогда не отвечал тем же. Его сердце было так же чисто, как велик был его ум. Это многих сбивало с толку и делало непонятными некоторые его поступки. Возникло много недоразумений по поводу человека и поэта. Но если бы люди, позволившие себе дурно судить о нем, смогли на секунду осознать, кем он был на самом деле, они в ту же минуту умерли бы от стыда.

Мы искали театр, чтобы поставить «Пишущую машинку», где я должен был играть две роли — Максима и Паскаля.

Жан написал короткое стихотворение.

Два брата

Люблю Максима,

Люблю Паскаля.

Один возносит меня на вершину,

Другой — тот хлеб заставляет есть черный, пасхальный.

Алиса Косеа столько раз меняла решение, отказываясь от Жана Кокто ради его именитых соперников, что Жан, чуть не сойдя с ума, все же сумел взять себя в руки и отдал пьесу Эберто. Виллемец стал компаньоном постановки.

Вскоре появилось новое затруднение. Все персонажи были мифоманами, лжецами, не отдающими отчета в своих действиях. Руло, ставивший пьесу, Виллемец и Эберто обязательно хотели иметь настоящего виновного. Измученный, уставший от борьбы, Жан в конце концов уступил. По моему мнению, это ослабило значение пьесы, но я не смел ничего сказать, поскольку изменения влекли за собой сильное сокращение моей роли. Все могли решить, будто я защищаю личные интересы. Берар был занят, и Руло поручил мне сделать декорации.

За несколько дней до премьеры журналист из «Пти Пари-зъен» сообщил мне, что Ален Лобро, критик этой газеты, сотрудничавший также в газете «Же сью парту», фюрер на ниве драматургии, готовится «разнести» пьесу Жана Кокто.

— Он же не видел и не читал ее, — удивился я.

— И тем не менее.

— Тогда вы можете передать Лобро, что, если он сделает это, я набью ему морду.

В то время сценическая постановка пьесы была возможна только с разрешения немецкой цензуры. Обычно никаких сложностей не возникало, если пьеса не носила политического характера. Эберто получил разрешение без проблем. Но на следующий день, после генеральной репетиции, которая, к счастью, прошла без скандала, пьесу запретили. Эберто пошел к немцам и заявил, что запрещение противоречит данному цензурным комитетом разрешению. Ему ответили: «Это логично: или мы возмещаем вам убытки, или разрешаем вам играть».

Через два дня представления были разрешены при условии: убрать приступ эпилепсии в конце второго акта. Немецкой цензуре нужно было как-то оправдать свой запрет.

Ален Лобро не пришел. Но зато какой злобной критике он подверг спектакль! Ему мало было разнести пьесу и всех актеров, он позволил себе гнусные нападки на Жана Кокто, писателя и человека. Я был пойман на слове: чего бы это ни стоило, нужно было дать ему в морду.

Сначала мне не удавалось встретиться с Лобро. Каждый вечер мы ужинали в маленьком ресторанчике по соседству с театром. Его хозяин, как многие в то время, закупал продукты на черном рынке. Но из-за того, что он плохо прикрывал свои бифштексы салатом, ему пришлось уже несколько раз сидеть в тюрьме.

Однажды весенним жарким вечером я ужинал с Жаном Кокто и Мишель Альфа. Вдруг мне сообщают, что меня спрашивает Эберто. Он в отдельном кабинете на втором этаже. Я поднимаюсь туда. Разразилась гроза. Окна кабинета были открыты, свет потушен из-за светомаскировки, а на улице бушевала настоящая шекспировская ночь — сверкали молнии, гремел гром и лил ливень. Сначала я ничего не вижу. При вспышках молний узнаю лысый череп Эберто. Протягиваю ему руку. Затем вижу другого гостя, знакомого, здороваюсь с ним. Затем третьего, представляюсь ему. Он не называет себя. Эберто говорит:

— Это Ален Лобро.

Я говорю:

— Не может быть!

— Это Ален Лобро!

— Если это правда, я плюну ему в лицо. Вы Ален Лобро?

Он не отвечает. Я повторяю:

— Вы Ален Лобро?

Он отвечает:

— Да.

И я плюю. Он встает. Предполагая, что он собирается драться, наношу удар первым. Маленький хозяин ресторана, поднявшийся следом за мной, бросается нас разнимать.

— Только не в моем ресторане! Только не в моем ресторане! У меня опять будут неприятности.

— Хорошо. Я набью ему морду на улице.

Спускаюсь вниз. Посетители умоляют меня быть осторожным.

— Лобро служит в гестапо. Нас расстреляют, — говорит Жан.

— Ты тут ни при чем, — сказал я. — Я не думаю, что он служит в гестапо, но я обещал набить ему морду, и я это сделаю. Ты видишь, я совершенно спокоен.

Я ждал более получаса. Он не спускался. Наконец я увидел его с Эберто и другим его спутником. Они вышли. Я пошел за ними. Ливень не прекращался. У Лобро в руках толстая четырехгранная трость. Я вырываю ее у него. Если я воспользуюсь тростью, то могу его убить. Я швыряю ее на другую сторону бульвара Батиньоль и бросаюсь на него с кулаками. Он падает, разбив при этом надбровную дугу, зовет на помощь. Он не защищается, а я продолжаю наносить удары, выкрикивая: «А Жан-Луи Барро, что он вам сделал? А Берто? А Бурде?» В бешенстве я перечисляю все его жертвы. Рассчитавшись с ним, возвращаюсь в ресторан. Меня угощают шампанским. Лобро тоже возвращается, чтобы вызвать полицию, К счастью, маленький хозяин ресторана уже отключил телефон.

Мы с Жаном возвращаемся домой под проливным дождем.

— Нас арестуют, — говорит он.

— Тебя, конечно, нет. А меня — может, и арестуют. Что сделано, то сделано.

Наследующий день меня разбудил телефонный звонок. За ним последовали другие. Весь Париж — актеры, директора театров, весь театральный мир — поздравляет, благодарит.

«Пишущую машинку» снова запретили. А у меня, как по волшебству, прошла хрипота, от которой я не мог избавиться в течение нескольких недель. Как будто этот акт справедливости высвободил все мое существо. Со стороны полиции не было никакого беспокойства. Ален Лобро ничего не предпринимал. А может быть, немцы не пожелали отомстить за своего приверженца.

Репрессии последовали минимальные. На следующий день все газеты объявили меня «самым плохим актером Парижа». А еще днем позже Мари Белл предложила мне поступить в «Комеди Франсез».

Я просил Жана написать пьесу в стихах. Он обещал выполнить мою просьбу при условии, если я стану актером «Комеди Франсез». Поэтому мы с Мари Белл быстро пришли к согласию. Она хочет иметь Ипполита, я хочу играть в трагедии, которая пока не существует— нет ни плана, ни сюжета, ни стихов.

Я спросил у Мари Белл, что нужно для того, чтобы поступить в «Комеди Франсез».

— Достаточно, чтобы я об этом попросила, — ответила она.

Вскоре я получил официальное письмо, в котором говорилось, что в «Комеди Франсез» стало известно о моей кандидатуре, и сообщался день прослушивания. Мне предложили записаться. Я предупредил Мари Белл. Она уверила, что это формальность, все заранее решено в мою пользу. Я согласился пройти прослушивание, по совету Жана попросив о том, чтобы оно состоялось в частном порядке. Я опасался, что публичная неудача поставит меня в смешное положение. Мне ответили: «Будете делать, как все». Тогда я прошу разрешить мне по крайней мере пройти первым или последним. Оказывается, прослушивание проходит в алфавитном порядке. Накануне один из моих друзей, у которого солидные связи в «Комеди Франсез», сообщил, что мне собираются отказать. Это западня. В ответ на такое беспричинное оскорбление я решил не участвовать в прослушивании. Он одобрил мое решение.

И тут меня охватывает ярость. Ярость сродни моей любви к риску. Они увидят, что такое настоящий Ипполит! Я буду бороться.

Хотя прослушивание должно проходить в обычной одежде, ночью я крою и шью костюм. Я слегка гримирую тело и лицо, чтобы добиться легкого загара. Реплику мне подавала Мари Белл. В результате я был единогласно принят.

Некий Макс Франтель превозносил меня до небес на первой странице «Комедия». На следующей неделе этот же журналист поместил на том же месте, в той же газете, ужасную статью, утверждая, что прослушивание было подстроено и мой успех определен заранее. Доказательство тому якобы то, что реплику мне подавала Мари Белл. Он обвинял меня в том, что я пробрался в «Комеди Франсез» как вор, чтобы завладеть ролями Жана Вебера, Жюльена Берто. Чего там только не было! Я бросился в кабинет администратора театра Водуайе, требуя дать опровержение. Он отказался.

Я послал в «Комедия» открытое письмо и потребовал его опубликовать в газете на том же месте. Оно было подписано Жаном Маре. На самом деле автором письма по моей просьбе был Жан Кокто.

В этом письме восстанавливалась истина: это не успех, а отказ был предрешен заранее. В «Комеди Франсез» разразился скандал: неслыханно — молодой актер позволяет себе самостоятельно отвечать, не спросив разрешения! Меня вызвал Жан-Луи Водуайе: «Как вы посмели?» Я почувствовал себя учеником коллежа.

Короче говоря, все это начиналось плохо. Скандал, которого я не искал, разразился.

Запершись в своей маленькой потайной комнате, Жан работал над «Ринальдо и Армидой». Он не писал с тех пор, как вылечился от наркомании. Я с облегчением вижу, что он снова работает, но уже не ночью, как прежде, а днем. Создавая пьесу, он думает о четырех персонажах, которых должны сыграть Мари Белл, Мари Марке, Жан Шеврие и я. Пьеса тотчас же была принята к постановке в «Комеди Франсез». Все мы

находим произведение восхитительным. Лично я очень горжусь Жаном. Прекрасные стихи, одновременно классические и романтические, написанные в особом, присущем Жану стиле.

Пьеса была написана как опера: с соло, дуэтами, квартетами. Берар должен был готовить декорации.

До постановки «Ринальдо и Армиды» мне дали маленькую роль Фабиана, наперника Септимия Севера в «Полиевкте»*. Я заменял отсутствующего актера.

* «Мученик Полиевкт» — трагедия П. Корнеля (1606 - 1684).

Морис Эсканд, играющий Севера, присутствует на репетиции. Вместо того чтобы произнести всю реплику, он быстро бормочет что-то, подчеркивая последнее слово, кивает головой с видом: «Твоя очередь». Я смущаюсь. Молчу. Слышу, как администратор кричит из глубины зала:

— Так вы даже текста своего не знаете?!

— Знаю, но я привык отвечать на смысл фразы, а не на слово.

Взбешенный, я ухожу. Новый скандал. Вечером мне позвонил Жан-Луи Барро:

— Спасибо, Жанно, Фабиана теперь придется играть мне.

До «Федры»* и «Ринальдо и Армиды» я должен сыграть Ахилла в «Ифигении»**. В служебной записке читаю, что ни один актер, занятый в этой пьесе, не сможет взять отпуск.

* «Федра» и ** «Ифигения» — трагедии Жана Расина (1639 - 1699).

Я иду к администратору.

— Господин администратор, — говорю я, — когда я подписывал контракт с «Комеди Франсез», я предупредил вас, что приглашен для съемок в фильме. (В самом деле, Карне вновь пригласил меня сниматься в фильме «Жюльетта, или Сонник». Сценарий и диалоги написал Жан Кокто по прекрасной пьесе Жоржа Невё. У Мулу тоже была роль.) Так вот, мне нужна неделя для натурных съемок.

— Об этом не может быть и речи. Вы получили служебную записку?

— Господин администратор, получая тысячу восемьсот франков в месяц, я не могу платить огромную неустойку.

— Увольняйтесь. Я приму вас снова после вашего фильма.

Я увольняюсь. Газеты печатают заголовки крупным шрифтом: «Жан Маре покидает «Комеди Франсез», так и не сыграв в ней». Опять скандал. А съемки фильма не состоялись. Смущенный Карне сказал, что позволяет мне сниматься в любом предложенном мне фильме, в каком я захочу. Но фильм со мной он еще обязательно снимет.

С недавнего времени у меня есть импресарио Люлю Ватье — замечательная женщина, которая станет впоследствии моим лучшим другом. Она идет к продюсеру. Он отказывается мне платить, хотя должен это сделать. Люлю Ватье объясняет ему, что я ушел из «Комеди Франсез» ради фильма. Но он упорствует в своем отказе.

— Что мне делать? — спрашивает она у меня.

— Соглашайтесь, — отвечаю я. — Когда я смогу, то потребую с него вдвое больше, чем с остальных продюсеров.

Я возвращаюсь в «Комеди Франсез».

— Фильма не будет, я свободен, — говорю я администратору.

— Вы что, смеетесь надо мной? — отвечает он мне. — По-вашему, «Комеди Франсез» — проходной двор?

Новый скандал в газетах.

Мари Белл, вернувшись из поездки и узнав, что у нее больше нет актера на роль Ипполита, порвала со мной всякие отношения.

Мой брат женился на очаровательной девушке, которую он встретил у Эберто. Я попросил своего директора театра взять его к себе секретарем.

Однажды я уже устраивал Анри к Капгра, но, когда я поссорился с ним из-за Алисы Косеа, он его уволил. Впрочем, Эберто позднее поступит так же и по той же причине. Чувствуя себя виноватым из-за того, что оказывается в ложных положениях, я дал ему настоящее, устроив в страховую контору.

Вскоре умерла бабушка. Розали осталась одна. Я часто приглашал ее к себе и заходил сам. Увы! Одиночество, без сомнения, усилило нервозность и агрессивность ее характера. Она давно простила Анри, но старалась поссорить нас с братом, не останавливаясь даже перед ложью. Только гораздо позже я понял это. Но тогда я не смел судить Розали.

Я без сожалений отказался бы от «Комеди Франсез», если бы не «Ринальдо и Армида».

Поскольку Марсель Карне освободил меня от обязательств, я принял предложение сняться в фильме «Рдеет выющийся флаг» по пьесе Стэва Пассёра. Мое имя, неизвестное в кино, афишируется со всем размахом фирмой «Гомон» — недостойная награда за мои невольные скандалы.

Я начинаю понимать, что наказан за мои детские честолюбивые мечты. Рядом с Пьером Ренуаром, Эрраном, Марша, которые снимаются вместе со мной, мне немного стыдно за свой непрофессионализм. Впредь я не перестану пытаться исправить трудом несправедливость своего положения. Я не имел дела с кино после моих «искусно сыгранных» эпизодических ролей. Волнение, вместо того чтобы помогать мне, как в театре, замораживает, усиливает мою неловкость дебютанта. Важно превратить всех окружающих в моих друзей, чтобы им больше не хотелось судить меня. Я находил свою игру банальной, а голос недостаточно выразительным.

Во время съемок я встретился с Полем Морьеном, снимавшимся в эпизодах для того, чтобы лучше узнать работу студии. Я представил его Жану, а он предложил поужинать вместе. За ужином мы говорили о наших финансовых затруднениях, а у нас их было немало... Поль удивился, высказав предположение, что мы не умеем вести дела. И он был прав. Жан предложил ему заняться нашими делами. Поль стал его секретарем.

Мы с Полем очень подружились. И вот почему. До войны четверо мальчиков — Поль, Лионель, Марио и Жорж — были неразлучны. Во время войны Жорж попал в плен к немцам. Поль решил его освободить. Он завербовался вольнонаемным рабочим в Германию. В чемодане он вез гражданскую одежду и документы Марио, предназначенные для Жоржа. После нескольких недель работы в лагере вольнонаемных Поль убежал и сумел найти Жоржа. Тот не решился на побег, и Поль один вернулся в Париж после множества опасных приключений. Второй друг, Лионель, хотя и был евреем, в свою очередь, попытался устроить побег Жоржу, уверенный, что он сумеет его убедить. Он отправился в Германию. В нескольких метрах от лагеря военнопленных он дал себя арестовать. Ему учинили допрос. Он признался, что хотел повидать своего друга. Привели Жоржа. Он стал горько упрекать его за нерешительность, затем Лионель, к своему величайшему удивлению, был репатриирован.

Эта история вызвала мою симпатию не только к Полю, но и к его друзьям, с которыми я еще не был знаком.

Следующий фильм, в котором я должен был сниматься, назывался «Кровать под балдахин» по роману Луизы де Вильморен. Только мы договорились с Тюалями (Ролан Тюаль занимался постановкой фильма и одновременно был продюсером вместе со своей женой Денизой), как Луиза познакомилась с Аленом Кюни и сказала: «Это он, это именно мой персонаж».

Тюали объясняют мне, что автор лучше кого бы то ни было знает, каким должен быть его герой... Я прерываю объяснения. Как и Луиза, я считаю, что Кюни именно тот персонаж, и охотно уступаю.

Какое-то время спустя они снова пришли ко мне, еще более смущенные, чем в первый раз.

— Кюни то хочет сниматься, то не хочет. Все контракты заключены, приближается день съемок. Мы не знаем. Что делать. По последним сведениям, Кюни отказывается, мы хотим снова просить тебя сниматься.

Я соглашаюсь. Книга мне нравится. Если Луиза не против, я буду играть.

Особенно забавным было то, что сюжет фильма очень напоминал историю, связанную с Аденом Лобро. Говорили, что он был ранее осужден за плагиат. Его отец, работавший надзирателем в тюрьме, передал ему рукопись одного заключенного, которую Лобро опубликовал под своим именем. Но мало ли что рассказывают...

Во время натуральных съемок мы стали близки с одной из моих партнерш, Милой П.

Я хотел, чтобы наши отношения остались тайной. Увы! Стены в гостинице были такими тонкими, а моя подруга кричала так громко, что вся съемочная группа об этом узнала. На следующее утро в наш адрес отпускали соленые шуточки.

Мне позвонил Шарль Дюллен и предложил роль Клеанта в «Скупом», которого он ставил в «Театре Сары Бернар».

— Месье Дюллен, это же не моя роль.

— Окажи мне услугу. У меня нет никого на роль Клеанта. Я знаю, что ты мечтаешь сыграть «Жизнь есть сон». Так вот, я поставлю этот спектакль для тебя после «Скупого».

Я согласился. Приложив немало усилий, я за неделю выучил роль. Я — странный сын для великолепного Гарпагона, тощего, скрюченного и сутулого. Тем более, что костюм, в котором я играл, был сшит так, чтобы исполнявший до меня эту роль актер казался выше и полнее. Я выгляжу колоссом, гигантом. Но эта работа — великолепная школа для меня.

Спектакль пользуется успехом, и тот самый Макс Франтель, который то возносил меня до небес, то обливал грязью, на этот раз посвятил мне хвалебную статью в «Комедиа». Через неделю он принес мне плохую пьесу собственного сочинения о Верцингеториге*. Я отказался ее ставить. Предвижу, что его следующая статья обо мне будет разгромной. Странная штука пресса...

* Галльский полководец и вождь (72 - 46 до н.э.), был разбит Цезарем, затем казнен.

Однажды вечером во время спектакля раздался такой грохот, будто небо расколосось. Началась страшная бомбежка. Смех в зале смолк. Тревогу не объявили, и мы продолжали играть. В антракте с крыши театра я наблюдал этот чудовищный фейерверк. По-видимому, бомбили Коломб или Аньер. Я по-прежнему не понимал эту войну и сердился на себя за это. Я думал об убитых, о причиненных войной бедствиях, но в душе не было ненависти. Я чувствовал себя моральным уродом.

Два мои неразлучные спутника — удача и скандал, — как всегда начеку. Вместо «Жизнь есть сон» Дюллен предложил мне испанскую пьесу «Любовники из Галисии». Прочитав ее, я не мог разделить его восторга. Я напомнил о его обещании. Тем не менее из любви и уважения к Дюллелю я дал согласие, предупредив, однако, что снимаюсь в фильме.

— Будешь репетировать в перерывах между съемками. Я получил приглашение от генерального директора киностудии Рауля Плокена. Он сообщал, что Кристиан-Жак собирается снимать в Италии «Кармен» с Вивианой Романс, и предлагал мне попробоваться на роль Хосе. Я сослался на свой контракт с Дюллелю.

— Чем вы рискуете, если сделаете пробу?

И в самом деле, чем я рискую? На пробах я всегда получаюсь плохо. Но надо же: для пробы выбрали сцену, в которой нужно плакать. А для меня нет ничего легче. Это

вовсе не признак таланта. Великие актеры заставляют зрителей плакать, не пролив ни единой слезы. Во время проб «Кармен» мне достаточно было нескольких секунд, чтобы разразиться слезами. Продюсеры были потрясены. Они уже не могли представить себе другого Хосе.

Мой импресарио, госпожа Люлю Ватье, правильно рассчитала. Я делал пробы на роль героя-любовника последним из претендентов.

Но как же театр? У меня ведь моральное обязательство перед Дюлленом.

— Французское кино приказывает вам играть дона Хосе.

— Но что скажет Дюллен?

— Мы прикажем ему освободить вас,

— Не знаю, подчинится ли он вашему приказу.

Я только и мечтал об этом. Я был в восторге при мысли, что буду сниматься в роли Хосе в «Кармен» у Кристиан-Жака. А Дюллен не соглашался. Новый скандал, новое ложное положение. Дело дошло до конфликта между театром и кино.

Дюллен предупредил троих своих друзей: Роше, Бати и Мере. Я был в ссоре с двумя первыми по той же причине, что и с Мари Белл, то есть из-за Ипполита. Бати также приглашал меня сыграть у него роль. На первой репетиции он сказал: «Читайте с купюрами».

Я выразил удивление, что можно сокращать Расина.

— Это салонная болтовня. Я оставил лишь основное.

Я ушел, заявив, что Ипполита трудно играть и в целом виде, а уж выхолощенным — и подавно.

Что касается Роше, я отказался от роли в его театре «Одеон», потому что снимался в фильме «Пылающий флаг».

Все четверо наводнили газеты следующими высказываниями:

«Нужно было бы ввести членские билеты для работников театра, чтобы можно было изъять билет у Жана Маре».

(В то время членских билетов еще не было.) Меня вызвал представитель немецкой администрации и высказал удивление, почему я до сих пор не представился оккупационным властям. Я ответил, что не считал себя достаточно важной персоной, чтобы их заинтересовать. Мне сообщили, что я не получу визу в Италию из-за разногласий с Дюлленом.

— Французское кино приказывает мне сниматься в этом фильме.

— Здесь мы отдаем приказы.

— Два года назад, за неделю до генеральной репетиции, Дюллен забрал у меня роль, которая мне нравилась, и вместо нее поручил роль почти голого сутенера, которая могла мне повредить, фактически выставив меня таким образом за дверь, однако я не потребовал у него никакой неустойки. Мы с Дюлленом не подписывали контракта. У него еще три недели до премьеры, времени вполне достаточно, чтобы меня заменить.

— Если договоритесь с ним, получите визу.

Я иду к Дюллену.

— Малыш, ты делаешь ужасную глупость; карьера твоя окончена, ты больше не будешь ни играть в театре, ни сниматься в кино.

— Месье Дюллен, я думал, что вы меня любите. Когда вы попросили меня в качестве услуги сыграть Клеанта, вспомните, я согласился. Мне не очень нравились «Любовники из Галисии», но я дал согласие играть в этой пьесе только потому, что вы этого хотели. В «Плутусе» вы забрали у меня роль, и я не сказал ни слова; я был уверен, что вы поймете значение той роли, которую мне предлагают в кино, и мы сможем договориться.

— Мы договоримся, если я получу триста тысяч франков в качестве возмещения.

Дюллен вновь превращается в Гарпагона.

Я ухожу в отчаянии. Триста тысяч франков были в то время огромной суммой. Мой контракт составлял семьдесят пять тысяч франков за три месяца. Продюсер ни за что не согласится. Моя Люлю мчится к Польве. Узнает, что он на юге Франции. Звонит туда... О чудо: он дает двести тысяч франков Дюллелю, который кладет их себе в карман. Я получаю визу в Италию.

Дюллелен бросался в бой, вооруженный великолепной рекламой — двести тысяч франков, которые полностью покрывали расходы на постановку спектакля, и с прекрасным актером Реджани вместо меня! А мои дружеские чувства к Дюллелю и восхищение им ничуть не уменьшились.

Жан повел меня на выставку работ Арно Брекера. Этого скульптора, близкого к Гитлеру, не любили в Германии. Его называли «французом», потому что он любил Францию, где жил в героическую эпоху. Именно тогда Жан познакомился с ним и подружился. По-моему, они даже жили под одной крышей. Для Жана дружба была превыше всего и не имела границ. Он не мог отказаться от встреч с другом, и Арно Брекер сказал, что хотел увидеть только двоих: Кокто и Пикассо, с которым он познакомился у Майоля.

На выставке Арно Брекера в музее Оранжерии — огромные, чувственные, человекоподобные статуи, о которых Саша Гитри сказал: «Начнись у всех этих статуй эрекция, посетители не смогли бы протиснуться».

Я не понимаю причины своей популярности, поскольку почти ничего не сделал. Девушки оборачиваются мне вслед, вслух высказывают соображения о том, поеду ли я в Италию и идут ли мне темные волосы. Кристиан-Жак заставил меня покраситься, хотя у Мериме Хосе блондин.

Я уезжаю. При мысли о трехмесячной разлуке в такое время сжимается сердце. Увидимся ли мы снова? Я увожу с собой Мулу. Буду говорить с ним о Жане. У меня с собой также рукопись «Вечного возвращения». Недовольный предлагаемыми мне сценариями, Жан решил написать «мой фильм».

— Тебе нужны герой и история великой любви. С тех пор как существует литература, было только две великие истории любви: «Ромео и Джульетта» и «Тристан и Изольда». Ты должен быть Тристаном, ты воплощенный Тристан.

Он перенес историю в наше время. Так в своем багаже я увозил сценарий, ставший трамплином моей будущей карьеры.

Я пробыл в Италии девять месяцев. Девять месяцев, в течение которых я не мог вернуться во Францию даже на несколько дней.

Я учился верховой езде. За две недели тренировок я должен производить впечатление настоящего наездника. Я вновь встретился с Лукино Висконти, который собирался снимать свой первый фильм «Одержимость». Он должен ехать в Феррару. Висконти познакомил меня с друзьями, которые показывали мне Рим. Я открыл для себя настоящие чудеса, недоступные для туристов. В гостинице не разрешают держать собак. Друг Лукино, работающий с ним и также уезжающий на съемки, предоставил мне свою квартиру. Я проводил самые светлые часы досуга в музее Ватикана, где делал заметки для декораций и костюмов своей будущей «Андромахи»*.

* «Андромаха» — трагедия Жана Расина.

Съемки фильма затягиваются. Меня беспокоит, как я исполняю свою роль. Кристиан-Жак давал мне странные указания, например: «Старайся быть больше парижанином».

На просмотрах я себе не нравлюсь и прямо заявляю об этом. Мой режиссер так

возмущен, будто я нанес ему личное оскорбление. Но дело в том, что, когда в чьем-то присутствии я занимаюсь самокритикой, мне легче выявить и исправить свои недостатки.

Я доволен только своей верховой ездой. Я делаю все, что от меня требуют, всего после нескольких уроков! Бернар Блие как-то сказал мне: «Ты хороший наездник, а я хороший актер». Это замечание огорчило меня. Должен признаться, что у меня была необыкновенная лошадь — быстрая, послушная. Мне казалось, что не я управляю ею, а что между нами существует передача мыслей.

Именно в этом фильме я впервые выступил как каскадер. Зная, что я люблю риск, Кристиан-Жак пользовался этим. Итальянские продюсеры без конца предлагали мне сниматься в разных фильмах. Но вовсе не из-за моего таланта. Они считали, что достаточно быть французом, чтобы иметь талант. Мне предлагали самые немыслимые роли: например, одну, от которой отказался Мишель Симон.

Жан писал, что кино во Франции переживает кризис. Снимают только ночью из-за недостатка электроэнергии. Скоро выпуск фильмов вообще прекратится. «Вечное возвращение» пылится на письменном столе Польве, который пока не собирается его ставить, хотя Жан Кокто договорился с Жаном Деланнуа, что тот будет режиссером. Вывод: если мне предложат фильм, который меня интересует, я должен соглашаться.

В конце концов я без особого энтузиазма подписал контракт с фирмой «Скалера», которая ставила «Кармен» совместно с Польве, на съемки в фильме «Девушка с Запада». Едва я подписал контракт, как тут же получил телеграмму от Польве *«Расчитываем на вас в конце месяца для съемок «Вечного возвращения»*. Я бросаюсь к директору «Скалеры» г-ну Баратоло, чтобы просить аннулировать контракт. Он отказывается. Я предлагаю ему бесплатно сняться в любом фильме после «Вечного возвращения», если он меня отпустит. Он смотрит на меня совершенно ошеломленный:

— Неужели вы так верите в этот фильм?

— Я уверен в его успехе точно так же, как в том, что он станет настоящим началом моей карьеры!

— Я сотрудничаю с Польве. У меня есть сценарий «Вечного возвращения». Я не разделяю вашего энтузиазма. Не делайте глупостей, в кино все устраивается.

После тысячи перипетий все действительно устроилось. Даже с бедным Мулу, которого я обрил, чтобы ему было не так жарко, а расстроенный Жан писал, что его шерсть может не вырасти до съемок. Жан придумал ему отличную роль в фильме.

Съемки «Кармен» так затянулись, что новый фильм «Скалеры» не вписывался в назначенные сроки. Я отправил заказное письмо в адрес дирекции и на этот раз получил свободу, не платя неустойки.

Я счастлив вновь оказаться в атмосфере, присущей любому дому, где живет Жан, вернуться в маленький рай на улице Монпансье.

Жан дал мне прочесть «Приговоренного к смерти» Жана Жене. Он рассказал, как познакомился с автором этой потрясающей поэмы. Двое молодых ребят — Франсуа Сотен и Лауденбах — принесли Жану стихотворение, поразившее его своей неистовой красотой. Он спросил, есть ли у автора другие произведения, и высказал желание ознакомиться с ними.

Молодые люди объяснили, что Жан Жене проводит жизнь в тюрьме и он довольно нелюдимый. Возможно, он даже придет в ярость, если узнает, что они посмели показать его поэму Жану Кокто.

Через несколько дней они принесли рукопись «Богоматерь в цветах» и сказали, что Жене сам за ней зайдет. Он зашел. Жан прочел книгу, она ему не понравилась, и он так и сказал. Жан Жене ушел из квартиры на улице Монпансье взбешенный. Но гений Жене продолжает действовать на Жана. Последующие двое суток он не может

думать ни о чем, кроме этой книги. Он очень этим взволнован и признается себе: «Я ошибся, это шедевр». Он вновь пригласил Франсуа Сотена и Лауденбаха:

— Я хочу прочесть книгу Жана Жене еще раз.

С большим трудом молодые люди достали книгу, и Жан перечитал ее. Он попросил Жана Жене снова к нему зайти.

— Я хочу перед вами извиниться, — сказал он ему, — я ошибся. Ваша книга — шедевр, самая прекрасная из всех, написанных за несколько последних лет, потрясающая своей необычностью и гениальностью, говорящая о том, что никто не сумел бы сказать. Ваш стиль совершенно нов и естествен, такой красоты и такого уровня, что сюжет, запретный для любого другого поэта, становится у вас волнующим и ярким.

— Ты должен с ним познакомиться, — сказал Жан. — Он тобой восхищается. Я уехал в Ниццу, так и не встретившись с Жене.

15

Начались съемки «Вечного возвращения». Мне платили мало, так как Польве возобновил старый контракт фильма «Жюльетта, или Сонник». Но мне так нравился этот фильм, что я сам бы заплатил, чтобы в нем сниматься. Зато работа Мулу, которого Жан окрестил в фильме Мулуком, оплачивалась хорошо.

Во время оккупации было очень трудно купить мясо. Я потребовал, чтобы Мулук его получал. Мне посоветовали заказывать для него в гостинице, где я жил, тушеное мясо и отдавать счета бухгалтеру. Когда я принес счета бухгалтеру, он сказал: «А мне вот, месье Маре, не приходится каждый день есть тушеную говядину». Я покраснел от стыда.

Жана с нами не было. Он ставил «Ринальдо и Армиду» в «Комеди Франсез». Он приехал к нам через две недели после начала съемок. Деланнуа работал добросовестно. Мы все приходили в восторг от просмотров. Юбер был очень изысканным оператором. Кроме того, я радовался тому, что снимаюсь вместе с теми, кого люблю, — с Ивонной де Бре, согласившейся только из дружбы к Кокто сыграть роль совершенно для нее не подходящую, с Роланом Тутеном, Мадлен Солонь, Мулуком.

Мулук меня поражал. Он привык держаться за камерой, и я волновался, как он поведет себя перед объективом. Мы все были изумлены, а я очень горд, когда увидели, с какой легкостью он исполнял свою роль. Он определенно выглядел более правдиво и естественно, чем я. В отличие от некоторых звезд ему было все равно, снимают его левый профиль или правый. Лично для меня это еще имело значение!

Когда Жан присоединился к нам после огромного успеха «Ринальдо и Армиды», в нашей работе ничего не изменилось. Он присутствовал на съемках, не вмешиваясь в режиссуру. Он только попросил убрать репродукцию «Молочницы» Греза и слишком кричащий, мещанского вида абажур. Больше ничего, но от него исходили какие-то особые флюиды и вся обстановка вокруг изменилась. Незаметно для себя мы играли по-другому. Жан Деланнуа оригинально вел свою режиссерскую работу, даже освещение стало каким-то иным.

Я ощущал огромное счастье и в то же время испытывал сильное беспокойство, боясь, что моего таланта не хватит для этой роли. Именно этот комплекс заставляет меня любить так называемые опасные сцены: пока восхищаются мужеством, меньше обращают внимание на талант.

Я также думал, что смогу уважать себя лишь тогда, когда испытаю физические страдания, которых требовала моя роль. Я испытывал лишь нравственные страдания, во всяком случае, так мне казалось. Я действительно хотел бы агонизировать в последних сценах. Я завидовал надтреснутому голосу Ивонны де Бре; мой собственный казался мне недостаточно выразительным. Я не нашел ничего лучше, как выпить изрядную дозу коньяка, запереться в своей гримерной и орать во всю мочь.

Увы! Этот так называемый «слабый голос» оказался Дюрандалем*: он так и не сломался.

* Название меча в «Песне о Роланде».

Еще не раз в своей актерской карьере я буду совершать подобные опрометчивые поступки. Я стремился стать таким великим актером, да что там актером — таким великим апостолом театра, чтобы образы моих персонажей возникали сами по себе. Я говорил себе, что, если бы я достиг этого результата, мне было бы намного легче играть. Иначе говоря, моя заслуга была бы куда меньше, и, следовательно, я был бы менее хорошим актером, если бы мне приходилось только чувствовать пережитые страдания, а не создавать их. Это какой-то порочный круг, из которого мне никогда не выйти. Я хотел бы также иметь талант, но никогда не становиться профессионалом.

Когда я чувствую себя беспомощным, профессиональная привычка, ставшая инстинктом, играет за меня, а я впадаю в отчаяние.

Что для меня театр — религия или порок? Без всякого сомнения, я ищу в своей профессии ощущения, которых не нахожу в жизни.

Жан Кокто потребовал, чтобы мы с Мадлен Солонь сходили к одному и тому же парикмахеру и покрасили волосы в одинаковый цвет. Нам обесцветили волосы одновременно, но они были разной природы. Задача парикмахера была не из легких. Бывало, что мы уходили из его салона с голубыми, лиловыми или зелеными волосами.

Один из наших наиболее симпатичных товарищей, Луи Журдан, снимался на соседней съемочной площадке в «Жизни богемы». Как того требовала роль, он носил очень длинные волосы и бакенбарды. В то время длинные волосы не были в моде. Завидев нас, люди возмущенно отворачивались. Я даже видел, как одна хозяйка раскрыла рот от удивления и уронила корзину.

Ролан Тутен пригласил меня к одной своей подруге, и та предложила погадать мне. Она заверила, что в ближайшие двое суток мне будут удаваться самые безумные и рискованные поступки.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

— Тогда до свидания.

Я беру такси и еду на студию. Прошу у своего продюсера аванс в шестьдесят тысяч франков. Он распорядится выдать мне деньги. Это огромная сумма, поскольку за весь фильм я получил двести семьдесят пять тысяч франков. На том же такси я еду в Монте-Карло. Я никогда не бывал в игорном доме, но слышал, что удача улыбается тем, кто играет в первый раз. По дороге я даю себе зарок, что никогда больше не буду играть, если выиграю два миллиона. Я прошу водителя такси подождать меня и плачу ему заранее, на случай, если все проиграю. (Не лишняя предосторожность!)

Оробев при виде серьезных лиц игроков и эха, гулко раздающегося в огромных залах в стиле рококо, я, не останавливаясь, прошел мимо столов, где играли в рулетку. Вот я перед столом баккара. Делаю напрасные усилия понять эту простую игру. Одно место освобождается. Крупье предлагает мне занять его. Делайте ставки... ставки сделаны...

Я все еще ничего не понимаю, кроме того, что «девятка» — самая сильная карта и она выигрывает и что «десятка» — это баккара и она проигрывает. Я не осмеливаюсь играть, подать голос, но лопатка крупье приближается ко мне. Ставлю минимальную сумму, то есть две тысячи франков. Сдаю карты с помощью крупье, который, как и остальные игроки за столом, понял, что я играю впервые. «Девятка» — я выиграл. Слышу: «Делаем ставки». Опять раздаю карты.

У меня «восьмерка», и я снова выигрываю.

«Девять» — «восемь» — «восемь» — «девять» — «семь» — «девять» — «девять» — «девять» — «восемь».

Я продолжаю выигрывать. За моей спиной собирается толпа. Кто-то предлагает мне сыграть. Я не понимаю, что для этого нужно. Моя соседка говорит: «Возьмите снова». Я не знаю как. А мой партнер с насмешливым взглядом продолжает ставить деньги.

На столе уже два миллиона сорок восемь тысяч франков. Я хочу остановиться, но не знаю, что для этого нужно только сказать: «Я — пас». И я продолжаю, как пьяный плясун на канате. Снова сдаю карты: «четверка»! Что делать? Инстинкт подсказывает не брать, но крупье, видя мое колебание, просит показать мои карты.

— «Четверка» — нужно брать, — говорит он.

Я беру «шестерку». «Шестерка» плюс «четверка» — баккара. Я проигрываю, и игра переходит к другому.

Взгляд моего партнера становится все более насмешливым. Я снова играю и проигрываю. Я проигрываю, и у меня не остается ни гроша.

К счастью, такси меня ожидало. Как ни странно, я не огорчился. Я сказал себе: я богат, поскольку могу позволить себе проиграть шестьдесят тысяч франков.

Жан отругал меня, назвав глупцом и безумцем. Я часто встречал на пляже своего партнера по баккара. Увидев меня, он наклонялся к своим друзьям и что-то тихо говорил им. Все смеялись, глядя в мою сторону.

В перерывах между съемками я ходил на пляж Ниццы. Однажды, когда я загорал, растянувшись на песке, какая-то девушка легла рядом со мной. Она решила, что я немец, конечно, из-за моих белокурых волос (по-видимому, в тот день они не были лиловыми). Наверное, она хотела завязать знакомство с оккупантом, потому что заговорила сразу и не умолкала, несмотря на мое упорное молчание. Она наговорила кучу гадостей о Франции и французах. Я по-прежнему не раскрывал рта.

— Вы не понимаете по-французски, — сказала она.

— Шлюха, — ответил я ей и ушел.

Показ «Вечного возвращения» превратился в настоящий триумф. На последних кадрах весь зал встал и разразился овациями.

В день премьеры «Вечного возвращения» в кинотеатре «Колизей» выставили фотографии сцен из фильма. Какой-то господин и какая-то дама рассматривают их.

Господин: Мадам, вы, случайно, не родственница одного из актеров?

Дама (очень гордо): Да, месье.

Господин: Вы, наверное, мать Пьералья?

Дама (оскорбленно): Нет, месье, я мать Жана Маре. (Пьераль был карликом.)

Эту историю рассказала мне Мадлен Солонь; господин был ее отцом. Ни он, ни моя мать не хотели, чтобы мы были актерами. Розали спросила меня, почему я хочу быть комедиантом. Я ответил:

— Чтобы не быть им в жизни, и, потом, это мне позволяет ценить и любить великих актеров так же, как живопись заставляет меня любить художников.

Успех фильма растет с каждым днем. Очередь перед кинотеатром тянется до площади Этуаль. Царит атмосфера небольшого мятежа: женщины падают в обморок. Вызываются дежурные наряды полиции. Организуются службы для наведения порядка. Дома телефон не перестает звонить.

Мнение критиков: *«Несмотря на участие Жана Кокто и Жана Маре, фильм прекрасен».*

Однажды вечером я был на генеральной репетиции одной из пьес Саша Гитри. В антракте ко мне подошел какой-то человек.

— Я Арно Брекер, — представился он. — Я видел ваш фильм «Кармен» на частном просмотре. Хотел бы, чтобы вы мне позировали. Не согласитесь ли вы поехать для этого в Германию?

Я никогда раньше не встречался с Арно Брекером, но видел его произведения на выставке. Он держался с достоинством, спокойно, уверенно. Я сослался на контракты фильмов, проекты театральных постановок, которые удерживали меня в Париже.

Как я уже говорил, я люблю грезить наяву, придумывать невероятные истории. По дороге из театра, возвращаясь пешком на улицу Монпансье, я дал волю своему воображению. «Зачем я отказался поехать позировать для Арно Брекера? — корил я себя. — Брекер — близкий друг Гитлера. Если я буду позировать для него, я увижу Гитлера и убью его».

Я шагал все быстрее и быстрее, обдумывая подробности покушения. Наконец я на улице Монпансье. Жан дома. Я уже не различаю рожденное моим воображением и реальность. Я верю, что говорю искренне, и безапелляционно заявляю:

— Жан, Арно Брекер, с которым мы виделись сегодня, просил меня позировать ему в Германии, я отказался. Нужно это исправить.

И я излагаю свой план.

— Бедный мой Жанно, — ответил Жан, — ты же спутаешь все планы союзников...

Я возвращаюсь на землю, и мы оба хохочем.

Пока я снимался в Ницце, мне позвонил Жан Жене. Он хочет со мной встретиться. Мы отправляемся одновременно пешком, он из Вильфранша, где находился в то время, я из Ниццы. Договорились, что когда встретимся, тогда и встретимся.

Он знал меня в лицо, так как присутствовал на представлении «Британика».

— С тех пор, — сказал он, — мне хочется писать для театра, для тебя. Ты добьешься успеха в тот день, когда сыграешь некрасивого человека.

Он дал мне прочитать «Элагабала», пьесу, которую он написал для меня. Она мне не очень понравилась. После его поэмы и книги я ожидал невозможного. Я сказал ему об этом. Он согласился со мной и обещал написать другую пьесу. Когда мы вернулись в Париж, Жан Кокто взялся помочь ему.

— Ты великий поэт, но очень плохой вор, — говорил он. — Доказательство тому: ты всегда попадаешься.

Поль, секретарь Жана, занял у меня денег, снял помещение под сводами Пале-Рояля, открыл книжный магазин и издательство для того, чтобы опубликовать произведения Жана Жене.

А пока что он жил на средства Жана. И, несмотря на это, Жене был арестован за кражу книги Верлена в одном из магазинов «Трините». Жан нанял ему адвоката и вызвался быть свидетелем. Я присутствовал на процессе. Ответы Жана Жене судье были достойны ответов Жанны Д'Арк.

Судья: Вы украли книгу Верлена. Что бы вы сказали, если бы крали ваши книги?

Жене: Я был бы этим очень горд, господин председатель.

Судья: Вы знаете цену этой книги?

Жене: Я знал ее ценность, господин председатель.

Жан Кокто заявил, что, если они осудят Жана Жене, на их совести будет осуждение величайшего поэта Франции. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Жан Жене избежал пожизненной ссылки в колонию, поскольку его, кажется, судили уже одиннадцать раз.

Жироду предлагает мне сыграть в «Содоме и Гоморре». Жан советует принять предложение. Жене говорит, что Жан никогда мне в этом не признается, но, если я соглашусь, он огорчится. Я тут же отказываюсь. Молодой дебютант Жерар Филип сыграет эту роль. Его карьера будет постоянно развиваться, так же, как и его талант.

Я так сожалел о том, что не играл в «Ринальдо и Армиде», что, когда мне предложили турне по Бельгии, я посоветовал выбрать эту пьесу. Наконец я могу в ней играть!

Коллаборационистская пресса во главе с Лобро все больше свирепствует. Я решаю убить его. Поль с товарищами увозят меня в Бретань якобы для того, чтобы обеспечить мне алиби. В действительности они хотят меня отговорить. Перед отъездом, разбирая свои бумаги, я натываюсь на гороскоп Макса Жакоба. Мне бросается в глаза надпись синим карандашом «*Ост ерегайт есь совершит ь убийст во!*» Моя странная судьба еще раз сделала мне предупреждение.

Хитрец Поль увез меня в Порт-Манек лишь для того, чтобы помешать мне

совершить это убийство. Он и его друзья убеждают меня, что из-за Лобро не стоит рисковать своей жизнью, тем более что нечего и думать пройти незамеченным. Их дружеские увещевания и особенно гороскоп Макса Жакоба убедили меня.

Кроме Поля, Марио и Лионеля, там были Тони и его невеста.

Однажды вечером друзья наливают мне большой бокал виноградной водки. Я отказываюсь, потому что не люблю алкоголь и особенно виноградную водку. Друзья шутят, настаивают, в конце концов я проглатываю ее, как слабительное, одним махом.

Любопытно, что, хотя я очень редко употребляю крепкие напитки, я переношу их хорошо. Если бы я захотел напиться допьяна, мне было бы нелегко это сделать. После выпитого большого бокала водки голова моя осталась абсолютно светлой. Мы отправились спать. Моя спальня находилась рядом со спальней Тони и его невесты. Стоял декабрь. Я проснулся от холода. Мои окна были распахнуты настежь, двери тоже. Я очень удивился этому, будучи совершенно уверен, что, когда я ложился спать, они были закрыты.

На следующее утро Тони и его невеста сказали посмеиваясь:

— Жанно, ты лунатик. Сегодня ночью ты вошел в нашу спальню и открыл окна и двери, даже дверцы шкафов. Мы смотрели на тебя в недоумении. Ты, казалось, нас не видел. Вернулся в свою спальню и там тоже раскрыл окна и двери. Потом снова лег.

Кто-то спросил у невесты Тони:

—Что бы ты стала делать, если бы Жанно забрался к тебе в постель?

Она ответила:

— Мне всегда говорили, что лунатиков нельзя будить.

Увы! По возвращении из Бретани я узнал, что Макс Жакоб арестован. Жан получил от него письмо.

«Дорогой Жан!

Я пишу тебе благодаря любезност и ст ерегущих нас жандармов. Сейчас мы прибудем в Дранси. Эт о все, чт о я могу т тебе сказат ь.*

Саша, когда ему рассказали о моей сест ре, сказал: «Если бы эт о был он сам, я смог бы чт о-нибудь сделат ь!» Так вот , т еперь эт о я.

Обнимаю т ебя. Макс».

* В Дранси с 1941 по 1944 г. находился немецкий концлагерь.

Жан хочет спасти Макса Жакоба. Он встречается с Саша Гитри, который объясняет ему, что нужно сделать. Жан обращается к господину П. Господин П. уверен, что у них есть все шансы добиться успеха. Предупрежденный Жаном, Хосе-Мариа Серт обещает действовать через посольство Испании; он передаст начальнику, занимающемуся еврейскими тюрьмами, письмо Жана. Жан пишет это письмо, великолепное, страстное. Друзья Макса Жакоба добиваются его освобождения... в день его смерти.

Я рисую орхидею, подаренную мне Жозетт Дей: рука в белой перчатке держит этот цветок; фоном служит мое полукруглое окно, через которое видны сады Пале-Рояля. Увы! На садовых скамейках сидят девушки. Для них я — зрелище. В дверь звонят. Девушки в саду смеются, я иду открывать. У меня просят автограф; я даю его, снова сажусь рисовать; снова звонят, и снова, и снова, и снова. В конце концов я рычу:

— Оставьте меня в покое!

Жан выходит, чтобы узнать, в чем дело, выговаривает мне:

— Раз ты выбрал профессию актера, то должен с улыбкой воспринимать свою популярность. Даже если в ход идут такие хитрости, это все-таки знаки внимания.

Он прав, и это заставляет меня улыбнуться. Через открытое окно я слышу болтовню девушек. «Придется Жюльетте взбираться на балкон к Ромео». Девушки беспрестанно толпятся у нас на лестнице, смеются, стонут. Я боюсь, что весь этот шум мешает Жану работать.

Я заканчиваю картину с цветами, которую называю «Зеркальный шкаф отеля Божоле». Андре Дюбуа пожелал, чтобы я написал ее для него. Я очень любил и уважал его. В начале нашего знакомства я был с ним довольно холоден. Этот добрый и щедрый человек без конца оказывал услуги Жану. По глупости я думал, что, если выкажу ему свою дружбу, он подумает, что мне что-то от него надо. Поэтому, когда в годы оккупации он занимал менее высокие посты, я мог без стеснения выказать ему то восхищение и дружбу, которые к нему питал.

Жан собирается писать новую пьесу. Мы едем в Бретань, останавливаемся у друзей Поля. Их дом называется Таль-Мур. Пока Жан пишет, я рисую. Мулуку Бретань нравятся еще больше, чем мне. В доме холодно из-за введенного режима экономии. Я опасаюсь, что Жан заболит, работая в ледяной комнате. Его, несомненно, защищают напряжение и те внутренние силы, которые дает творчество.

Он читает мне первый акт. Удивляясь сам себе, я говорю, что монолог королевы недостаточно живой... что с ее стороны должно быть больше вопросов, что паузы, предусмотренные моей ролью, должны звучать как реплики, что тогда она сама вынуждена будет давать на них ответы. Жан соглашается со мной и соответственно переделяет первый акт.

Перед тем как начать писать, он спросил меня, что бы я «хотел делать в своей роли». Шутя, как если бы я хотел озадачить товарища, я ответил:

— Молчать в первом акте, плакать от радости во втором и упасть навзничь с лестницы в третьем.

Уже в первом акте он совершил чудо, дав мне возможность молчать. Он сказал, что хотел бы закончить пьесу к Рождеству. И действительно, в этот вечер она была завершена. Он должен прочитать нам ее после ужина. Этот рождественский ужин, хотя и замечательный, тянулся бесконечно. У нас была елка, украшенная дождиком. Жан нарисовал семь больших ангелов, по одному для каждого из членов семьи Таль-Мур, принимавшей нас. Наконец рождественский подарок Жана — пьеса.

Он читает ее нам своим теплым, немного скрипучим голосом, как всегда, в неподражаемом ритме — выделяя каждое слово и почти не делая связок между ними.

Какая великолепная идея! Одиночество двух существ, пожирающих самих себя. Жан хочет назвать пьесу «Азраил» (ангел смерти), но это название уже использовалось. Он думает о другом: «Смерть подслушивает у дверей». Это название мне очень нравится. Еще он предлагает «Красавица и чудовище».

— О нет, Жан, — протестую я, — мне так хочется, чтобы ты сделал фильм по «Красавице и чудовищу»!

Эта поражающая странной красотой пьеса получила название «Двуглавый орел». Снова Жан написал то, чего от него не ждали. Это был самый чудесный подарок, который я мог получить к Рождеству.

В Париже Жан встретился с Маргаритой Жамуа, чтобы прочитать ей пьесу, написанную, кстати, для нее. На чтении присутствовали госпожа Искавеско, Кула Роппа, Берар, Борис Кохно. Все были потрясены. Маргарита Жамуа встала, не говоря ни слова, вышла, потом вернулась и высказала свое суждение четырьмя фразами, как если бы Жан Кокто был неопытным двадцатилетним дебютантом. Все почувствовали ужасную неловкость и расстались молча.

— Я думаю, что она боится, что не справится с этой ролью,—сказал я Жану.

Позвонила Кула Роппа, закадычная подружка Маргариты Жамуа:

— Поведение Маргариты было возмутительным. Впрочем, эта роль не для нее. Она не сможет ее сыграть.

Берар того же мнения. Никаких новостей от Жамуа. Значит, нужно искать другой

театр, другую актрису. Я предлагаю Эдвиж Фейер. Жан позвонил ей. Они договорились о встрече. Кажется, на 1 февраля 1944 года.

Неожиданно умер Жироду. Жан потрясен. Он позвонил Эдвиж, чтобы отменить чтение. Она сказала:

— Почему? Мое сердце, наоборот, еще более способно вас понять. Нужно продолжать работу.

Мы поехали к Эдвиж. На ней лица нет. После чтения она не скрывает своего волнения.

— Впервые, — говорит она, — я услышала пьесу, настоящее произведение, и притом пьесу для театра. Вы мне ее дарите?

Жан ответил, что она сделает ему подарок, приняв пьесу. Они обнялись.

Потом мы поехали в церковь Сен-Пьер-дю-Гро-Кайю, на улицу Сен-Доминик, где проходила простая, волнующая церемония. И возмутительный финал при выходе: на нас набросились любители автографов. Я поклялся больше не ходить на похороны знаменитостей.

Маргарита Жамуа вдруг вспомнила о пьесе, без конца звонит. По-видимому, она узнала, что Эдвиж согласилась играть ее в театре Эберто. Она приехала к Жану и обвинила его в измене. Собирается ехать к Эдвиж и Эберто. Берар, который случайно оказался тут же, успокаивает ее. Мы объясняем ей, что своим отношением она дала понять, что не хочет играть в пьесе.

Жан пишет большую и прекрасную поэму «Леона». Я в это время ставлю «Андромаху» в театре «Эдуарда VII». Начинаю делать макеты декораций и костюмы, учу свою роль и готовлю постановку. Брессон приглашает меня сняться в его будущем фильме «Дамы Булонского леса».

— Но, по-моему, в нем должен был сниматься Ален Кюни?

(Я узнал об этом, поскольку Жан писал диалоги для этого фильма.)

— Продюсер не хочет брать Кюни.

— Я считаю неправильным, чтобы продюсер не давал режиссеру свободы в распределении ролей. Вы хотите, чтобы снимался Кюни?

— Он именно тот типаж, который нужен.

— Вы мне разрешите поговорить с продюсером Плокеном?

— Да. Он хочет, чтобы играли вы.

Я объясняю Плокену, что я отказываюсь сниматься в фильме потому, что не могу допустить, чтобы он отказал Кюни. Он обвиняет прокатчиков. Я рассказываю об этом Жану, и он просит Польве взять фильм Брессона и Кюни. Тот же ответ: прокатчики против. Польве был продюсером «Вечерних посетителей», в котором играл Кюни. Это был фильм Карне, имевший огромный успех. Ален Кюни был, как всегда, великолепен. Я возмутился этим единогласным вето, окончательно отказался сниматься и пригласил Кюни на роль Пирра в «Андромахе».

В квартире на улице Монпансье было нелегко сосредоточиться. Не понимаю, как Жан мог писать. Девушки под дверью, на лестнице, на улице создают невообразимый шум: звонят в дверь, по телефону. Одна девушка падает в обморок. Консьержка, к которой ее отнесли, зовет меня. Я узнаю ее: она уже падала в обморок на лекции по кино в «Студии 28». В третий раз она упадет в обморок на гала-просмотре «Кармен» в кинотеатре «Нормандия». В тот день фильм не имел большого успеха, возможно, потому, что билет стоил тысячу франков. Я выходил из кинотеатра вместе с толпой, которая начинала меня дергать со всех сторон. Я уже не знал, как из нее выбраться, как вдруг какая-то девушка падает без сознания у моих ног. Я беру ее на руки и, воспользовавшись этим обстоятельством, расчищаю себе дорогу. Я кладу ее на парапет у входа в метро. И слышу: «Грубиян!» Она была без сознания не больше, чем я. И я прекрасно это понял. История этой девушки на этом не заканчивается. Однажды она звонит у моей двери и говорит:

— Месье, я должна участвовать в конкурсе танца. Если я получу первое место, вы согласитесь прийти ко мне на чай?

Я внимательней присматриваюсь к ней: маленького роста, полноватая, доброе круглое лицо, волосы в мелких завитках, на носу круглые очки в металлической оправе. По моему мнению, никаких шансов получить первое место, даже при наилучшей технике. Я даю обещание прийти на чай. Через неделю она приходит снова и показывает диплом: первое место. Я уже дал слово.

— Когда же вы хотите чаевничать? Мы пойдем к Рампельмайеру?

— Нет, мы будем пить чай у моей подруги в следующий четверг.

В четверг она повела меня на квартиру своей подруги около парка Монсо. Это была странная квартира с шикарной китайской мебелью, а ее подруга — хорошенькая, очень юная рыжеволосая девушка, что-то вроде Симоны Симон в детстве. Мне подадут чуть теплый чай, подгорелое молоко, прогорклые пирожные. Я делаю вид, что нахожу все великолепным. Меня заставляют расписаться на бесчисленных фотографиях, среди которых много таких, которых я никогда не видел. Я не уйду сразу, чтобы у них не создалось впечатление, что я выполняю повинность. Мне дают выпить сладкого шампанского, которое я терпеть не могу, и наконец я уйду, церемонно поблагодарив.

Несколькими днями позже (трудно даже поверить в эту историю) в нашу дверь позвонили. Жан пошел открывать и вернулся с визитной карточкой в руке.

— Владелец этой карточки хочет с тобой побеседовать, — сказал он. — У него в руке белая трость, он слепой. Выглядит очень достойно.

Я вышел к этому господину и спросил о цели его визита.

— Я отец девушки, к которой вы приходили на чай в прошлый четверг, — сказал он. — И я хочу узнать, кем вы действительно являетесь для моей дочери.

Я рассказал ему всю эту историю. Что я могу сделать?

— Моя дочь должна сдать экзамен на аттестат зрелости, но она совсем не занимается.

— Я могу только сказать ей, если она снова придет, что я не приму ее до тех пор, пока она не сдаст экзамен.

Они пришли обе. Когда я объявил им свой вердикт, маленькая толстушка упала в обморок в четвертый раз. Она не собиралась сдавать экзамен на аттестат зрелости. Испугавшись, что ей придется снова взяться за учебу, она потеряла сознание.

Я мог бы рассказать сотню подобных историй. Они заняли бы много страниц. В общем, все они похожи. За исключением, может быть, вот этой. Я дал согласие, правда, после долгих уговоров, отвечать на письма в рубрике «Сердечная почта» в газете, посвященной кино. Занималась этим некая дама, которая писала ответы вместо меня. Однако я поставил условие, что буду их прочитывать. Однажды мне принесли письмо, на которое попросили ответить лично. И правда, письмо не могло не взволновать. Молодая девушка, Жаннетт Б., из деревни на севере Франции, у которой в результате несчастного случая был поврежден позвоночник, уже год боролась за жизнь. Она просила у меня фотографию. Я послал ее, черкнув несколько ласковых слов. Она мне ответила... и так мы обменивались короткими письмами в течение года. Увы! Несмотря на нашу переписку, состояние ее здоровья ухудшалось.

Немного позже пришло еще два письма, написанных на разной бумаге и разным почерком. В одном говорилось:

«Моя сестра Жаннетт умерла. У нас большое горе. Я знаю, что она написала вам в последний раз и просила исполнить ее последнюю волю. Умоляю вас согласиться. Очень прошу вас, месье, и т. д.»

Другое письмо было от Жаннетт. Она писала, что слышала, как врач объявил ее матери, что ей остается жить всего несколько часов. Она просила у меня последнюю фотографию, чтобы унести ее с собой в могилу, и помочь сняться в каком-нибудь фильме ее нежно любимой сестре.

Фотография в могилу — это было уже слишком. Я понял, что меня разыгрывали целый год. Я поделился своими подозрениями с дамой из газеты. Она сказала, что я просто чудовище.

— Как вы могли подумать такое?

— И все-таки мы должны это выяснить.

Я позвонил в жандармерию той деревни, рассказал, в чем дело, и спросил, действительно ли Жаннетт Б. умерла. Мне ответили, что она не только не умерла, но у нее нет сестры, и посоветовали не отвечать такого рода личностям.

Думаю, у большинства актеров бывали подобные приключения. Но тем не менее для меня это остается странным. В доказательство приведу еще это, последнее. Оно относится к тому времени, когда я жил на катере в Нейи. Я получил письмо от девушки, которая хотела, даже трудно в это поверить, чтобы я «сделал ей мальчика». Я не ответил. Впрочем, я никогда не отвечал. Моя мать, возмущенная моим поведением, отвечала вместо меня. И продолжала этим заниматься. После «Вечного возвращения» я получал до трехсот писем в день. Это давало Розали массу работы. Но я был счастлив, что она занята. Это меня успокаивало... Она имитировала мой почерк, составила картотеку корреспонденток и отмечала посланные фотографии, чтобы не отправить одну и ту же дважды одному лицу. Не представляю, как некоторые люди могут воображать, что актер отвечает сам! Конечно, они думают, что только они одни и пишут...

Никто не ответил девушке, просившей мальчика.

Как-то ночью, перед сном — было почти два часа, — я прогуливал Мулука на набережной, то есть на бульваре генерала Кёнига. На одной из скамеек я заметил целующуюся парочку. Чтобы их не смущать, я отвернулся и продолжал свою прогулку. Позади раздали шаги, я обернулся. На скамейке сидел только мужчина, а женщина стояла передо мной.

— Вы получили мое письмо?

— Какое письмо?

— Я просила у вас что-то очень личное.

— Мальчика? — инстинктивно догадался я.

— Да.

— Во-первых, мадемуазель, как я могу гарантировать, что получится мальчик, а не девочка? Во-вторых, мне кажется, что на скамейке сидит некто, только того и желающий.

— Это мой брат.

— Послушайте, я выгляжу смешным, мы оба смешны. Доброй ночи, мадемуазель.

Я ухожу, она идет за мной. Я спускаюсь по лестнице, ведущей к берегу. Она спускается следом; я открываю дверь, хочу ее закрыть за собой, ее нога не дает мне это сделать.

— Вы так меня ненавидите, — говорит она.

— Я не ненавижу вас. Я вас не знаю.

Каждую субботу она ждала меня здесь, когда бы я ни возвращался. У меня больше не было сил. Однажды я сказал ей:

— Послушайте, я обдумал ваше предложение. Это можно устроить. Я дам вам то, что вам нужно, в пробирке.

— Неужели это возможно?

— Да. Сходите к своему врачу и договоритесь с ним. Я в вашем распоряжении.

Больше я ее не видел.

Но вернемся к тому моменту, когда я собирался ставить «Андромаху». Париж выглядел странно со своими велотакси, в которых разъезжали дамы в шляпах, украшенных тюлем, птицами, лентами. Их головы были похожи на монументы в миниатюре. Жан видел в этом плохое предзнаменование.

— Вспомни, — говорил он, — о прическах при дворе Людовика XVI.

Мужчины редко решались ездить в таких повозках, в которых мог быть один или два водителя. Я же иногда использовал их для Мулука, сам при этом ехал рядом на своем велосипеде. Везти его на плечах, как я часто это делал, было очень утомительно. Это к тому же давало повод Сесиль Сорель утверждать, что я нашел еще один способ сделать себе рекламу.

Мулук пользовался большим успехом. Однажды в дверь позвонили. Я открыл. За дверью стояла очень красивая девушка.

— Что вы желаете, мадемуазель?

— Погладить Мулука.

Я позвал Мулука. Она погладила его и ушла, даже не взглянув на меня.

Я возил Мулука в метро, хотя собак в метро не пускали, но Мулук не был собакой. Когда мы подходили ко входу в метро, он становился на задние лапы, я заворачивал его в пальто и брал под мышку. В метро он сам прятался под сиденье, а я делал вид, что собака не моя.

Атмосфера в метро прелюбопытная! Вагоны всегда битком набиты. Вот стоит полная дама, всем своим видом выражающая возмущение поведением сидящих мужчин. Среди них три немца. Один встает и знаком предлагает ей занять его место, сказав при этом что-то по-немецки. У него очень любезный вид. В ответ полная дама дала ему пощечину. Лица пассажиров приобрели зеленоватый оттенок, под цвет немецких мундиров. Что будет с этой дамой? Два других немца присоединились к своему товарищу у двери, с нетерпением ожидая следующей станции. Они не вышли из вагона, они выскочили. Дама величественно села.

— Что произошло? — спросили у нее.

— Дело в том, что я понимаю по-немецки. Он мне сказал: «Клади сюда свой зад, старая корова».

Замечательно ехать последним поездом метро. Он так же переполнен, как и остальные. Кажется, он перевозит весь Париж. Все знают друг друга, обсуждают последний концерт, пьесу. Снаружи — затемнение, старосты кварталов, немецкие патрули, риск попасть в заложники в случае нарушения комендантского часа.

Воздушные тревоги все учащаются. Однажды ночью была жуткая бомбежка — целый ливень из бомб. Стекла дребезжат. Дома сотрясаются. Гремят пушки противовоздушной обороны. Я спал. Семья В. спустилась к нам вместе со своим младенцем (наша квартира похожа на подвал). Я проснулся от плача ребенка.

Одна девушка написала мне: *«Знает е, чт о мы больше всего любим в школе? Воздушные т ревоги, пот ому чт о мы спускаемся в убежище и говорим о вас».*

Другой ночью после грома пушек зенитной батареи раздался ужасный шум: на Пале-Рояль на наш дом упал самолет. Как потом выяснилось, он упал на магазины Лувра. Это был американский самолет, сбитый снарядом. Он загорелся, его крыло упало над улицей Дофин, мотор — над улицей Сент-Оноре, пулемет — над крытым рынком. Мне позвонил мой друг Юбер де Сен-Сенош:

— Жанно! Самолет упал...

Я прервал его:

— Успокойся, раз ты слышишь мой голос, он упал не на нас, а на магазины Лувра. В ответ долгое молчание... Я забыл, что он был владельцем этих магазинов.

Я дрожу за Мулука. Для розыска мин забирают собак. Их отлавливают на улицах, но иногда забирают и прямо у хозяев.

Однажды я шел пешком вниз по Елисейским полям, колонна немецких солдат шла за мной. Мне было не по себе. Возвратившись домой, я сказал Жану: «Немецкая армия преследовала меня на всем пути по Елисейским полям». На что он ответил: «Ты что, не мог идти до Берлина?» В другой раз уже он поднимался по Елисейским полям, а немецкая колонна под гром фанфар шла ему навстречу. В колоннах реяли немецкие и французские флаги. Жан застыл в оцепенении, глядя на ЛФВ (Лига

французских волонтеров) среди немецких войск. Шесть типов, французов, одетых в гражданское, бросились избивать Жана дубинками с криками: «Эй, Кокто, ты что же не отдаешь честь французскому флагу?» Жан упал, обливаясь кровью. Один глаз был сильно поврежден. Подбежали прохожие, подняли его, отвели в ближайшую аптеку. Аптекарь спросил: «Что это с вами, господин Кокто?» На что тот ответил во французском духе: «Ячмень Дорио*!» Дорио был начальником ЛФВ.

* Игра слов: вместо *compere-loriot* — ячмень на глазу (фр.), Кокто говорит *compere-Doriot*, пользуясь созвучием этих двух слов.

Арестовали Тристана Бернара. В вагоне для скота, увозившем его в Дранси, он сказал: «Я жил в страхе, теперь буду жить в надежде». Когда впоследствии его привезли в больницу Ротшильда и спросили, что доставило бы ему наибольшее удовольствие, он ответил: «Кашне».

Еще одна бомбардировка: двадцать пять убитых в Коломб, сорок в Женвиллье. Огромные разрушения.

Как-то я встретил Луи Журдана и спросил его:

— Несколько месяцев назад ты мне говорил, что каждому из вас поручено найти двух человек. Я сказал, что хотел бы быть одним из этих двоих. С тех пор я больше о тебе не слышал.

— Я говорил о тебе, — ответил он, — мне сказали, что ты живешь с чересчур болтливым человеком.

Если он имел в виду Кокто, как я предполагаю, он ошибался. Жан умел хранить тайны. Доказательством тому служит история моей матери, которую он никогда не рассказывал. Жан считал легкомыслие преступлением. Он никогда не болтал попусту. Он скорее дал бы себя убить на месте, чем подвергнуть кого-то опасности. Меня задела слова Луи Журдана, но я не стал настаивать.

Париж тоже не был легкомыслен. Он был беспечен, но в хорошем смысле слова. Его лицо оставалось приветливым, несмотря на угрозу. На концертах, в кинотеатрах, в театрах не хватало мест для всех желающих. Париж храбрился и не хотел показать оккупантам ни свое беспокойство, ни свое страдание.

Жан писал «Красавицу и чудовище». А я договорился с театром «Эдуарда VII» о постановке «Андромахи». В своей комнате в Пале-Рояль я репетировал роль Ореста, используя палку от метлы вместо посоха вестника: указывал ею на людей и предметы, потом снова клал на плечо, переносил вправо, влево, за спину. Вскоре мне показалось, что я использую ее слишком много. Я спросил совета у Жана, продемонстрировав ему, как это будет выглядеть. Он меня успокоил:

— Это замечательно, ни одному актеру не приходило в голову использовать это. В твоих руках эта палка становится королевским жезлом.

Я привык к весу и размерам моей метлы. Другая трость, без сомнения, нарушила бы отработанные жесты. Мы пошли к Пикассо на улицу Великих Августинцев. До встречи с Кокто я не видел ни одной картины Пикассо, разве что на репродукциях, и никогда не встречался с ним самим. Жан часто рассказывал мне о нем. Мне трудно сказать, видел ли я своими глазами или глазами Жана Кокто, чувствовал своим сердцем или его. Но помню, что это было как удар кулаком в грудь. Мной овладели необыкновенный восторг и в то же время великое отчаяние. Пикассо был для меня вне всякой критики, один в созданном им мире. Я перенесся на какую-то странную планету.

Потом я часто встречался с Пикассо, всякий раз робея, стесняясь, но всегда с огромным почтением. В его доме у меня было такое чувство, что я нахожусь в запретном месте, которому мое присутствие мешает, что вижу то, чего не имею права видеть, что рискую быть обращенным в соляной столб. Никаких украшений. Чердаки, громоздящиеся один на другом, пустые комнаты — роскошная бедность. Он принимает нас. Это король в одежде нищего. В его лукавых, блестящих, умных глазах

я читаю снисхождение и симпатию.

Я умираю от желания извиниться за то, что я лишь тот, кто есть. Во всяком случае, я не раскрываю рта. Это Жан просит его сделать из моей палки от метлы посох вестника. Пикассо тут же с удовольствием берется за дело; он наносит на палку рисунки каленым железом, превратив ее в чудесное произведение искусства.

На репетициях возникают трудности. При каждом указании, которое я даю Кюни, он смотрит на меня с недоверием. Может быть, он думает, что я хочу, чтобы он плохо сыграл? Он превосходен. А я страдаю из-за его подозрительности.

Мишель Альфа, которую я предполагал пригласить на роль Гермियोны, потому что знал, что она давно о ней мечтает, говорит, что она неспособна произнести монолог. У меня опускаются руки. Тогда мне пришло в голову заставить ее обращаться к пустому трону Пирра. И — получилось: она говорит с тронном, даже прикасается к нему, ласкает его...

Теперь я уже достаточно уверен в себе, чтобы разрешить Жану присутствовать на одной из репетиций. Он признался мне:

— Я поражен твоим авторитетом, твоими находками. Как только ты начинаешь говорить, текст становится волнующим, такое впечатление, что он целиком придуман тобой.

Получив одобрение Жана, я уже никого не боюсь. Моя единственная цель — чтобы ему нравилось то, что я делаю. Жан писал в своем дневнике:

«От каз от декламации и обнаружение в т екст е очень прост ого величия превращают эт от спект акль в нечт о новое в пост ановках т рагедий 1944 года.

Эт им новым мы целиком обязаны Жану Маре, кот орыи использует его и учит эт ому своих т оварищей. Он играет Орест а, и,...по моему мнению, делает эт о даже лучше Муне и Де Макса. Его красот у, благородст во, пыл, человечност ь т рудно превзойт и. Декорация: выст роенная перспект ива ночной улицы, т ронут ая кое-где свет льими бликами, выходит на высокую аркаду, выделяющуюся на фоне неба с рваными облаками; эт о чт о-т о вроде музея Гревена, дет али кот орого и ложные перспект ивы придают персонажам неожиданную силу. Выход Андромахи с прической в виде хвост а Троянского коня, задрапированной в белое, с руками, обвит ыми косами из т кани, — прост о чудо.*

* Музей восковых фигур в Париже.

Пост ановка эт ого спект акля выходит далеко за рамки прост ого инт ереса, вызываемого т еат ром. Не желая т ого и не выст упая прот ив чего-либо, Маре попал в т очку, и эт о вызывает злост и вост орг.

Дух обновления впервые прот ивост оит духу «Карт еля», «Комеди Франсез» и общепринят ым т радициям.*

По-видимому, красот а вызывает завист ь, не поддающуюся анализу и выражающуюся в ярост и.

Мари Белл, кот орую я посет ил в ее гримерной в пят ницу перед «Ринальдо и Армидой», сказала: «С т воей ст ороны непрост ит ельно было позволит ь Жанно сделат ь т акое, эт о ст ыд». Она ушла со спект акля, уводя за собой Ремю, со словами: «Его следовало бы расст релят ь». Вчера вечером во время предст авления зрит ели слушали, как на церковной службе, по окончании спект акля без конца вызывали арт ист ов, и все опоздали на последний поезд мет ро.

Ст ало извест но, чт о г-н Лобро и его головорезы собирают ся организовать скандалы, кот орые привели бы к прекращению спект аклей.

Эт а «Андромаха» — как радост ный взрыв, и его алое пламя сделает другие спект акли невозможными, уст аревшими в полном смысле эт ого слова.

*Маре может гордит ься т ем, чт о вызвал пьесой Расина т акой же скандал, как «Парад», «Свадьба» или «Весна священная»**. Он заст авляет внезапно пробудит ься людей, кот орые дремлют и любят дремат ь.*

Эт о ключевой спект акль, событ ие, воплощение разума и любви».

* Творческое объединение, созданное в 1926 г. Гастоном Бати, Шарлем Дюлленом, Луи Жуве и Жоржем Питовым.

** «Парад» и «Свадьба на Эйфелевой башне» — названия балетов на сюжеты Жана Кокто. «Весна священная» — балет на музыку И. Стравинского по сюжету, написанному им совместно с Николаем Рерихом.

Кокто предсказал правильно: разразился новый скандал. В день генеральной репетиции и в другие дни тридцать мест было занято членами ФНП* — стоял свист, рев, на сцену летели зловонные пакеты, взрывались бомбы со слезоточивым газом. К счастью, раздавались и крики «браво» мужественных зрителей, которые смотрели и слушали пьесу, зажав платками носы.

* Французская народная партия — профашистская партия, созданная Дорио.

Во время сцены Гермионы, предшествующей так называемой сцене ярости Ореста, которую я решил играть без крика, в зале стоял такой шум, что я растерялся, не зная, как же быть. Я вышел на сцену и стал говорить тише, чем собирался. Шум постепенно стих, а в конце спектакля был настоящий триумф. Девушки вытирали мне слезы своими носовыми платками, сопровождая меня при выходе. Анни Дюко была великолепна, как и Ален Кюни. Мишель Альфа — менее потрясающа, чем я ожидал. Несомненно, шум в зале выбил ее из колеи.

На следующий день критики облили нас грязью. *«Эт о спект акль педераст ов, доказат ельст во — женщины закрыт ы до шеи, а мужчины почт и голые».*

На самом деле на мужчинах были кирасы и очень пышные туники и тоги. На мне лично было двадцать метров ткани. А женщины были одеты в плотно прилегающие разноцветные трико и платья, сшитые так, чтобы складки подчеркивали их формы. Моя ручка от метлы, превратившаяся в посольский жезл благодаря гению Пикассо, также вызвала поток оскорблений. Все, кроме критиков, единодушно нашли костюмы и декорации прекрасными.

Анни Дюко настояла на том, чтобы ее костюм шила ее портниха Мэгги Руфф. Во время примерки я констатировал, что получилось очень красивое вечернее платье, которое, однако, за исключением белого цвета, не имеет ничего общего с моим эскизом.

— Если вы хотите внести какие-то уточнения, — сказала Мэгги Руфф, — не стесняйтесь.

Я робко прошу ножницы, опускаюсь на колени перед Анни Дюко и снизу доверху разрезаю платье на глазах пришедшей в ужас знаменитой портнихи.

— Я могу получить такую же ткань? — спрашиваю я.

— Сколько метров?

— Двадцать пять.

Мне приносят ткань, и я набираюсь наглости сделать платье на глазах у Мэгги Руфф. Платье без единого шва, что-то вроде платья-плаща, принимающего форму исключительно благодаря покрою и драпировке. Позднее, когда Анни Дюко будет играть «Андромаху» в «Комеди Франсез», она потребует это платье.

Каждый раз, когда я встречался с Мэгги Руфф, она спрашивала:

— Когда же вы снова придете ко мне шить платье?

В этой пьесе я сделал для Анни Дюко первый «конский хвост», и эта мода все еще живет.

Помимо журналистского разноса в прессе мы были удостоены упоминания в политической передовой статье Филиппа Анрио, где говорилось, что я представляю для Франции большую опасность, чем английские бомбы.

Узнав об этом невероятном заявлении, я сказал своим актерам, что нужно

ожидать запрещения спектакля.

Спектакль не запретили, но на следующий день мне позвонили из театра, умоляя не приходить. Полиция с автоматами заняла здание театра, чтобы помешать публике войти. До этого полицейские избили консьержа, который пытался воспрепятствовать их вторжению. Мой чудесный жезл исчез. Пришлось вернуть деньги за билеты, купленные на несколько недель вперед. Мы несли большие убытки. Деньги были не мои, а Поля М. (секретаря Жана) и нескольких его друзей. Они отказались, чтобы я их им вернул.

Я находился в списке лиц, подлежащих аресту. Я не мог в это поверить. Но зная, что аресты производят на рассвете, я инстинктивно просыпался к пяти часам утра и прислушивался. Я принял решение при первом же звонке бежать через сады Пале-Рояля, расположенные с противоположной стороны от входной двери и улицы.

В конце концов я спрятался у одного из своих друзей — Юбера де Сен-Сеноша, который жил на площади Этуаль, где немного позже была пробита автоматной очередью картина Дали, что сделало ее еще более сюрреалистичной. Странное убежище! Тем более что я каждый день отправлялся поплавать в бассейн «Рейсинг-клуба». Я ездил туда на велосипеде, с Мулуком на плечах. В общем, делал все, чтобы остаться незамеченным...

Дело «Андромахи» приобретает неслыханные размеры. Все газеты неистовствуют. Эта травля расположила публику ко мне. «Радио Алжира» и «Би-би-си» поздравляют меня, отовсюду я получаю письма с похвалами и выражениями благодарности. Травля обернулась против тех, кто ее начал. Меня обожествляют благодаря негодьям. Жан сказал мне: «Это беспрецедентный случай в театре. Ты оказал нам услугу, дав понять, что манера читать стихи, принятая этими господами, невозможна и станет невозможной для всех, кого твой стиль возмущает и кто нападает на тебя».

Возвращаясь из «Рейсинг-клуба», я встретился с колонной манифестантов — учащихся из лицея «Жансон де Сайи». Они стащили меня с велосипеда, водрузили себе на плечи, скандируя на одной ноте: «Андромаха, Андромаха. Анрио — дерьмо, дерьмо — Анрио. Полицейских — в галюн! Лобро — дерьмо, Лобро — дерьмо, Лобро — в галюн!» И так до самых ворот Дофины. Мулук бежал следом.

Коллаборационистская газета изложила эти факты следующим образом:

«Горе нам!

— Ты знаешь, запрет или «Андромаху»?

— Да, эт о английская пьеса.

Эт от диалог происходил у ст ойки небольшого кафе вблизи «Оперы». В т от же час, в пят ницу после полудня, на Елисейских полях т олпа учащихся, узнав Жана Маре, ст авшего, как извест но, мучеником, бросилась к нему и с т риумфом пронесла на плечах его самого и его велосипед за т о, чт о он т ак ст ранно подал Расина под киносоусом. Горе нам!»

«Би-би-си» вещала по Лондонскому радио: *«Терпение, Жан Маре, мы скоро будем здесь»*. Я думаю, что это должно было исходить от Макса Корра, его несколько раз забрасывали на парашюте во Францию, и в свободные минуты он приходил на репетиции. Конечно, я узнал об этом гораздо позже, когда встретил его в дивизионе Леклерка, где он был корреспондентом газеты «Свободная Франция».

Жан переживал больше меня. Впрочем, я только делал вид, что спокоен. Я не хотел огорчать Жана, поддавшись своим чувствам. Я говорил, что это замечательно, что никогда молодой актер не переживал подобного и что я этим очень горд. Я притворялся спокойным и перед Полем, который внешне ничем не выказывал своих чувств.

Отовсюду я получал письма с выражениями протеста против травли. Телефон не переставал звонить. Я не отвечал на звонки. Усталый, на грани нервного срыва, я

наконец снял трубку и услышал голос девушки: «Месье, я только хотела сказать, что очень огорчена из-за «Андромахи». Я ответил: «Я также, мадемуазель». Повесил трубку и разрыдался.

Мне пришлось лечь в больницу для удаления гланд. Жан навещал меня. Он рассказал, как на обеде в испанском посольстве посол сказал ему: «Я был на «Андромахе» с дочерью Лавалья. Мы нашли спектакль прекрасным и аплодировали изо всех сил. На следующий день меня стыдили за мой энтузиазм. Жозе Лаваль не смела больше рта раскрыть. Мне сказали: «Вы не француз, вы не можете понять». В Испании мы мало знаем Расина, мы предпочитаем Шекспира. На «Андромахе» Маре я понимал Расина, я жил, я восхищался. Наверное, я был неправ. Я ничего не понимаю, все зрители вокруг нас рукоплескали».

Друзья сообщили мне, что на Филиппа Анрио совершено покушение. В шутку спросили, где я был в момент покушения. Я ответил, что в больнице, удалял гланды. А газеты раструбили, что мне сделана операция специально вызванным из Японии хирургом, который «вживил мне голосовые связки кошки».

С некоторых пор я вернулся на улицу Монпансье. Бомбардировки все учащаются. Все мечтают о высадке союзников. Наконец это произошло. Мы живем в ужасной неуверенности. Никто не знает, где находятся войска. Газеты Соппротивления публикуют воззвание:

«Каждый наст оящий француз должен прийт и в свой рабочий цент р и пост упит ь в наше распоряжение».

Мой рабочий центр — Союз артистов. Соппротивление меня не приняло, я уже рассказывал почему. Я спросил совета у Жана, он сказал, что нужно пойти туда. Я пошел. Меня послали в Театральный центр, на улицу Рояль. Я прибыл туда как раз в момент облавы немецкой полицией. Они всех обыскивают, допрашивают и уходят, ничего не обнаружив... Даже револьвер Луи Журдана в его куртке, которую он повесил на ручку двери, пока зашел пропустить стаканчик в бистро напротив, тоже не нашли. Меня принимают, возможно, благодаря спокойствию, которое я проявил во время обыска. А что бы я мог еще сделать? Мне дают повязку ФВС*, револьвер и отправляют обратно в Союз.

* Французские внутренние силы.

Мулук, как всегда, сопровождает меня. Он бежит рядом с моим велосипедом. В конце улицы Рояль заслон из немецких полицейских останавливает и обыскивает всех прохожих. Если я поверну назад, это вызовет подозрение. Если поеду вперед, меня обыщут. Я в тисках. В первый день участия в движении Соппротивления, ничего не совершив, быть арестованным — это слишком глупо! На мне костюм из небесно-голубого твида и все еще длинные волосы для «Андромахи». Попробуй проехать незамеченным! Я зову Мулука, он прыгает мне на плечи. Он лежит у меня на шее, подобно дамскому воротнику из чернобурки. Я направляю велосипед прямо на производящего обыск немца, придав лицу идиотское и пассивное выражение, останавливаюсь перед ним. У него перехватывает дыхание при виде такого придурковатого стилияги. Он говорит «гаус»*, и я проезжаю. Стилиягами называли юношей, носивших длинные волосы. Невольно я ввел эту моду, отрастив длинные волосы, чтобы не надевать парик и отличаться от коротко остриженных немцев. Многие молодые люди последовали моему примеру. Но мне было неприятно, когда меня называли стилиягой, и я несколько раз даже дрался из-за этого. Реджани тоже. Как-то один господин сделал замечание по поводу наших волос. Я пытался объяснить ему, что мы носим такие прически, поскольку того требует наша профессия.

— Хорошенькая профессия! — сказал он насмешливо.

Реджани:

— Вам повезло, что у вас очки, иначе я залепил бы вам пощечину.

Господин снял очки. Реджани дал ему пощечину.

* «Проваливай» (нем.).

В Союзе артистов не знают, что со мной делать. Требуются добровольцы в мэрию VIII округа. Иду туда. Мне дают автомат и с несколькими другими добровольцами посылают к больнице Божон захватить грузовик с немецким оружием. Нет ничего легче. Грузовик никем не охраняется. Мы доставляем его, хотя в этом нет никакой нашей заслуги. Потом меня с моим автоматом послали занять позицию перед Елисейским дворцом. Я должен стрелять, как только замечу вражескую колонну. Я забыл предупредить, что не умею стрелять из автомата. Молю Бога, чтобы немецкий транспорт не появился. Он не появился. Мое дежурство прошло спокойно, и вскоре меня сменили.

Я зашел за Жаном на улицу Монпансье. Мы должны обедать у Хосе-Мариа Серта. Странно, жизнь идет своим чередом, так же как и освобождение Парижа. Почти везде улицы пустынные. Преследуемые полицейские прячутся на крышах. Я все еще в своем твидовом костюме небесно-голубого цвета, оскорбительном, должен признаться, в подобный момент. Я об этом не подумал. Мы пешком пересекаем проспект Оперы, свернув с нынешней улицы Казановы. Проспект пустынен, везде разбросаны бумаги, газеты. Участники Сопротивления, по-видимому, разгромили газету Алена Лобро «Же сюи парту» и выбросили все бумаги в окна. Какой-то господин, свернув с улицы Пти-Шан, идет нам навстречу. Сейчас он пройдет мимо нас. В тот момент, когда он приблизился к нам, с крыши раздался выстрел. Человек упал. По его спине струйкой течет кровь. Он приподнимается и снова падает, уже замертво. Я всегда считал, что стреляли в меня. Для загнанных на крыши полицейских все было кончено. Они должны были умереть. Они это знали. Эти голубой костюм и длинные волосы были для них оскорблением. И они выстрелили.

Квартира Хосе-Мариа Серта прекрасно обставлена: черепаховый стол, огромный блок из цельного хрусталя, мебель Буля в стиле эпохи Людовика XIV. Особенно хорош шкаф, выполненный в той же манере. Картина Эль Греко «Мученичество святого Маврикия», еще более необычная, чем оригинал в Эскориале, следовательно, более подлинная; первые издания Паскаля, Расина, Декарта. Роскошные ткани времен Людовика XIV, в которые я драпируюсь с разрешения хозяина. Шикарный обед, блестящая беседа, уводящая нас далеко от баррикад.

Наконец Париж освобожден. Дивизия Леклерка вступила в город. Полицейские, отставшие от войск немцы продолжают стрелять с крыш. Радость и беда ходят рука об руку. Перед освобождением Парижа один молодой солдат позвонил своим родным из ближайшего предместья и сообщил, что вечером сможет их обнять. Семья на балконе ждала своего сына-героя, участвовавшего в высадке десанта и сотню раз рисковавшего своей жизнью, чтобы встретиться с ними. И вот он уже возле дома. Он машет им рукой. Как вдруг падает, убитый наповал выстрелом с крыши.

Весь Париж, собравшийся на площади Согласия, не сговариваясь, одет в синее, красное или белое, или в одежду всех трех цветов. Мы находимся в номере отеля «Крийон», отсюда лучше наблюдать за парадом, в котором принимает участие генерал де Голль. Он проходит спокойный, один в центре марширующих войск, медленно двигаясь на значительном расстоянии от них. Генерал представляет собой хорошую мишень. Раздается автоматная очередь. Все танки, участвовавшие в параде, разворачиваются в сторону нашего окна и начинают стрелять. Я вижу жерла пушек. Они сбивают одну из колонн. Поль кричит: «Ложись, ложись!» Я ощущаю на теле удары отлетающих кусков штукатурки и говорю, как идиот: «Осколки, это не больно!» Жан и Поль лежат ничком на полу. Я остаюсь у окна, чтобы видеть это фантастическое зрелище. Чем дольше я задерживаюсь у окна, тем больше они стреляют. Они видят только мою голову.

Полицейские стреляли с крыши, как раз над нашими головами. Мы спускаемся на площадь Согласия, Жан и Поль уходят. Мы договариваемся встретиться в шесть часов на площади перед Нотр-Дам. Там будет выступать де Голль.

Толпа криками выражает радость освобождения: все говорят, перебивая друг друга, обнимаются. Люди ощущают потребность высказаться. Меня узнают. Бросаются ко мне, женщины целуют. Скоро я весь вымазан губной помадой. Можно подумать, что это я освободил Париж! Я кричу: «Мулук! Мулук! Осторожней, вы затопчете Мулука!» Мулука рядом нет, он исчез. Мне удается выбраться из толпы. Дома Мулука тоже нет. Я ищу его. Наконец наступает час, назначенный для встречи, я иду к Нотр-Дам. Там я нахожу Жана и Поля с Мулуком.

— Где ты его нашел?

— На площади, он нас ждал.

Иногда Мулук ездил один на метро ко мне в театр. Это еще можно объяснить: я каждый день ездил с ним на метро и сходил на одной и той же станции. На этот раз мы имели дело с чудом... или с человеческим разумом.

Все носили на руке повязку ФВС. Я спрятал свою в ящик, стыдясь того, что ничего не сделал, чтобы ее заслужить. Но поскольку я все еще был в распоряжении своего профсоюза, мне поручили арестовать Рене Роше. Я отказался, объяснив, что во время оккупации Роше стал моим личным врагом и это будет выглядеть как месть. Тогда мне поручили потребовать крупную сумму денег у Алисы Косеа и Пьера Френе. Пьер Френе ничем себя не запятнал. Поэтому я снова категорически отказался.

Частично для того, чтобы положить конец такого рода поручениям, я решил вступить в дивизию Леклерка. Там в чине капитана служил мой друг, к которому я обратился за помощью. Сначала он отказал, утверждая, что я принесу больше пользы в театре. Но я настаивал. Я сказал, что не хочу проходить подготовку в Сен-Жермен, что готов немедленно отправиться с ними.

— Тогда ты не сможешь быть в экипаже танка.

— Ну и что?

— Ладно. Я займусь этим. Позвоню тебе завтра.

Как сказать Жану, что я уезжаю? Мы должны были ужинать у супругов В., которые живут над нами. Я не пошел к ним. Жан и Поль возвратились после ужина, присели ко мне на кровать.

— Ты играешь героев в театре и кино. Ты должен быть героем и в жизни, ты должен записаться в дивизию Леклерка.

Я смотрю на них с изумлением.

— Это уже решено. Капитан Д. должен позвонить мне завтра. Я как раз думал, как вам об этом сказать.

Следующую ночь я провел уже в Булонском лесу в ожидании отъезда. Мои новые товарищи не знали, кто я. Все они были из Англии, Северной Африки и еще более отдаленных мест. За плечами у них год или несколько лет войны. Они жаловались, что их не пускают в некоторые парижские увеселительные заведения.

— Пойдемте со мной, я вас приглашаю, вы сможете войти, куда захотите, — предложил я.

Я зашел домой за Мулуком, и мы отправились. Ребята в восторге от Мулука и хотят, чтобы я взял его с собой. Мне только это и было нужно, я охотно согласился. Они чуть ли не благодарят меня.

Через два дня мы покидаем Париж. Шесть часов утра. Погода великолепная. Я в военной форме, на голове черный берет. Солдат, один из многих, следовательно, незаметен. Мулук сидит рядом со мной в открытом дожде. В предместье Парижа собралась толпа, чтобы посмотреть на отъезд дивизии. Раздаются приветственные крики. Вдруг кто-то восклицает: «Он похож на Мулука! Это Мулук! Собака Жана Маре! Да это же сам Жан Маре!»

Толпа бросается ко мне, меня обнимают, забрасывают подарками: ликерами,

вином, кофе, конфетами, пирожными. Мои товарищи смотрят на меня, ничего не понимая. Они тянули солдатскую лямку четыре года, они освободили Париж, а овации устраивают новичку, который ничего не сделал! Навели справки обо мне. Выяснилось, что я актер, и Мулук тоже. Это вызвало подозрение, что я — скрывающийся коллаборационист. Предупредили офицеров. Сделали запрос на меня. Мои товарищи не знают, как ко мне относиться. Я не в курсе того, что затевается, и думаю лишь о том, чтобы весело выполнять поручаемую мне работу. Так, я один разгружаю и вновь нагружаю грузовик в отсутствие товарища, которому я должен был помогать. Его фамилия Одас* (какая фамилия для солдата!). Это им нравится. Они думали, что актер будет отлынивать от работы. Очень скоро мы становимся друзьями. Обо всем этом я узнал, когда на запрос был получен ответ, что я невиновен.

* Отвага (фр.).

И вот я в конечном итоге помощник водителя бензовоза. Я загружаю в машину и разгружаю двадцатилитровые бидоны. Мы наполняем бензобаки танков. Я научился водить американский грузовик. Меня восхищают американские военные пайки, так красиво упакованные, что каждый раз кажется, будто получаешь рождественский подарок. Я стараюсь улучшить готовкой вкус выдаваемых нам консервированных бобов и делю еду с Одасом. На ферме покупаю кур, масло, яйца. Ночуем мы где придется — чаще всего у местных жителей. Нередко мы с водителем спим в одной постели.

Самый старший в роте, довольно толстый и некрасивый по фамилии Голдштайн, почти всегда устраивал так, чтобы у меня была постель. Я считал совершенно естественным, что он делил ее со мной. Через восемь месяцев такой жизни он сказал:

- У парижан очень злые языки.
- Почему? — спросил я.
- Ты помнишь, как водил нас в ночной клуб.
- Да, ну и что?
- Так вот, мне сказали, что ты педераст.
- И что теперь?
- Теперь я знаю, что это неправда.

Я все спрашивал, когда же я увижу огонь.

- Огонь? Но ты же видишь его каждый день!
- Нет, я никогда не видел огня.
- Как? Ты же вчера заправлял танки.
- Да, но огня не было.
- Правда... Сегодня вечером увидишь, началось движение, будет жарко.

Вечером жарко не было. Наверное, мне не суждено стать героем. Танки не возвращаются для заправки, мы заправляем их на месте, в разгар боя. Но стоит появиться мне, как стрельба прекращается.

Скоро я получил собственный грузовик. Помощником водителя у меня был Мулук. Все его обожали. Однажды, когда 2-я бронетанковая дивизия была в полной боевой готовности и ждала только приказа, офицеры специально задержали выступление, чтобы дать возможность Мулуку закончить свои любовные дела с местной сучкой. Перед этим было испробовано все: их пытались разлить водой и даже стреляли из револьвера в воздух.

Один раз, заправившись бензином, я возвращался на базу и оказался перед только что разрушенным мостом. От него остались одни обломки. Надеюсь выехать на свою дорогу по другому мосту, я спустился по косогору и увидел ленту с предупреждающей надписью: «Заминировано». Нельзя было дать задний ход, настолько крута дорога. Теперь или никогда я могу проверить свою удачу. Крылья моего грузовика срывают ленту, и я разворачиваюсь посреди якобы заминированного

поля. Все обошлось.

В следующий раз, выполняя задание, я проезжал по небольшому деревянному мостику. Возвращаясь, я снова хотел по нему проехать. Но проезд, оказывается, уже запрещен, он охраняется.

— Почему?

— Мост заминирован.

— Я только что по нему проезжал. Они решили, что я шучу.

Я всегда получал много писем от Жана, посылки из «Максима», от Коко Шанель и от многих друзей. Мне снова пришлось попросить, чтобы мне отдавали корреспонденцию отдельно.

Фактически только один раз я видел огонь. И при этом еще абсолютно незаслуженно получил военный крест. В связи с этим два года спустя произошла забавная история. Жак Варенн, с которым я был знаком по «Двуглавному орлу», спросил, не хочу ли я вступить в Ассоциацию актеров — ветеранов войны.

— Они оказывают тебе честь и не понимают причины твоего отказа.

Тогда я решил вступить в Ассоциацию. Я пришел туда и был подвергнут дружескому, но пристрастному допросу.

— Что вы совершили героического?

— Я? Ничего.

— Вы убивали немцев?

— Никогда.

— Вы брали пленных?

— Да, но они сами просили, чтобы их подобрали. Танки не могут брать пленных. Когда я заканчивал заправку танков и возвращался порожняком, немцы просили их подвезти. Я привозил их в часть, но меня за это ругали: не знали, куда их девать.

— Вы получили военный крест?

— Да.

— Так за что же вы его получили?

— За то, что ел варенье.

И это чистая правда. Я никогда не носил крест из уважения к настоящим героям, по праву заслужившим эту награду. Я всегда попадаю в неловкие положения. Произошло это в Марькольсхайме, в Эльзасе, на дороге, тянущейся вдоль заснеженных полей, в тот единственный день, когда, по собственному признанию, я видел огонь. Был чертовский мороз, а я боюсь холода. Мы были отрезаны, окружены, обстреливались немцами со всех сторон. Недалеко от того места, где мы находились, я заметил машину «скорой помощи» с пробитыми осколками снарядами шинами. Я считал естественным помочь санитаркам, проявлявшим огромное мужество и приносившим настоящую пользу. Снаряды стали падать дальше. Я закончил ремонт машины «скорой помощи», не подвергаясь никакой опасности. Но тут обстрел возобновился. Снаряды падали совсем близко. Одна из санитарок крикнула, чтобы я ложился. Мне очень не хотелось лечь в снег; но если я останусь стоять, подумают, что я делаю это из бравады. Я лег. Но, едва оказавшись на снегу, я заметил, что она закрывает меня своим телом от снарядов. Я сказал: «О, простите...» — встал и перелег на другую сторону. Спустя какое-то время я возвратился в кабину своего грузовика, завел мотор, чтобы согреться, и принялся есть варенье.

Я никогда ничего не брал у немцев. Другие отбирали у них сапоги, часы. Они удивлялись, что я этого не делаю. Чтобы они не думали, что я их осуждаю, я сочинил отговорку: я якобы настолько не терплю немцев, что не смог бы носить то, к чему они прикасались. Таким образом, я не вызывал подозрения.

В домах, покинутых эльзасцами, мы обычно обнаруживали следы грабежа. Когда у меня было время, я наводил порядок и чистоту. Нужно сказать, что мне было приятнее спать в чистом месте.

Но перед вареньем я не мог устоять. В качестве оправдания я говорил себе, что оно все равно пропадет. К тому же оно слишком напоминало варенье моей бабушки, уроженки Эльзаса... Короче говоря, я складывал банки с вареньем к себе в грузовик.

Итак, в тот день я ел вишневое варенье, сплевывая косточки в снег. Мои товарищи, лежавшие за дорожной насыпью, кричали: «Иди сюда, идиот, тебя пристрелят!» Они ползком добрались до меня, увидели, что я ем варенье, а снег вокруг усеян вишневыми косточками. Вечером они рассказали об этом офицерам. А категорический приказ командования гласил, что мы должны оставаться в своих грузовиках, не глуша мотора. Меня представили к награде — военному кресту. Мой капитан вызвал меня, чтобы сообщить об этом. Я сказал, что не заслужил награды и подозреваю, что она мне дана просто, чтобы сделать приятное Жану Маре.

— Какая-то доля правды в этом есть,— ответил он,— но мы считаем, что вы ее заслужили.

— Вы действительно хотите сделать мне приятное, капитан?

— Да.

— Тогда я бы предпочел, чтобы вместо меня награду получил Мулук. Я бы очень гордился, если бы он вернулся со мной в Париж с военным крестом на шее.

Он не рассердился, а объяснил, что собака должна совершить особый подвиг, чтобы быть награжденной.

Так я получил военный крест...

Солдаты, служившие в дивизии с самого начала, естественно, получали отпуска. Я их не получал. Мои товарищи возвращались из отпусков разочарованные. Париж, казалось, забыл о них. Так, например, им приходилось, как и всем, стоять в очереди в кино, хотя у них было мало времени. Я пожаловался на это в письме Жану Кокто, он предпринял необходимые шаги, чтобы добиться льгот для солдат.

Я узнал, что в случае женитьбы дается четыре дня отпуска. Наполовину в шутку, наполовину всерьез я написал Миле П., моей подруге из фильма «Кровать со стойками», спрашивая, согласится ли она выйти за меня замуж, чтобы я получил отпуск. Я добавил, что, если потом она захочет развестись, я не стану возражать. К моему большому стыду, она прислала мне в ответ очень серьезное письмо, в котором призналась, что желает этого всем сердцем. Мне очень нравилась Мила. Она была красивая, веселая, очаровательная. Она знала мой образ жизни и мои вкусы. Я спросил совета у Жана и Поля. Первый ответил мне очаровательным письмом, в котором говорил, что мое счастье для него важнее всего. Второй иронизировал: «У Милы негустые волосы, а у тебя плохое зрение; представь, что у вас будет лысый ребенок в очках».

После Эльзасской и Лотарингской кампаний нас отправили на отдых в Шатору. Там царил скука. Мила приехала повидать меня. Она оставила памятный знак на моем грузовике, поцеловав его. На нем отпечатался след ее губной помады. Ниже она расписалась: «*Мила*». Когда в Париже мой дивизион участвовал в параде, я жил у Милы. Перед возвращением в Шатору я сказал ей: «Если это и есть брак, не будем больше об этом говорить». Я уже не мог выйти один даже за пачкой сигарет.

Я надеялся, что от курения мой голос станет более низким. Я ненавидел табак и с большим трудом к нему привык.

16

Жан хотел снимать «Красавицу и чудовище». Он получил разрешение генерала Леклерка освободить меня на время отдыха войск в Эндре. Я вернулся в Париж как мобилизованный на работу вне рядов армии. Один раз в неделю я должен был отмечаться в Доме инвалидов: подписывать документ, удостоверяющий мое присутствие в Париже.

Желая сделать прощальный подарок Жозетт Дей, с которой он разводился, Паньоль попросил Жана взять ее на роль Красавицы. Помню, с этой целью был

организован ужин у Лили де Ротшильд, как раз перед ее арестом гестапо. Это было, конечно, до Освобождения. Элегантная, очаровательная женщина погибла ужасной смертью в газовой камере.

Она не была еврейкой, поскольку ее девичья фамилия Шамбрэн. Французские полицейские, которые пришли за ней, дали ей время одеться. А в тот вечер Лили должна была ужинать с Шарлем Трене. Она думала, что ее сейчас же отпустят, и вместо того, чтобы воспользоваться возможностью бежать, позволила себя увести. Ее отправили в Дахау. Она носила ортопедические стельки и через несколько месяцев пребывания в лагере не могла ходить. Однажды утром, несмотря на мольбы своих подруг-заключенных, она отказалась встать. Ее отправили в газовую камеру. Кто мог подумать в тот вечер, когда мы ужинали у нее, что эту замечательную женщину постигнет такая участь! На ужине были Берар, Паньоль, Жозетт Дей, Жан и я. Жан смотрел на завитую мелкими кудряшками голову Жозетт Дей и не видел в ней Красавицы. Тогда Берар увел Жозетт в туалет, сунул ее голову под кран, стянул волосы на затылке и скрутил их в маленький пучок. Затем он вернулся, подталкивая Жозетт, и объявил: «Вот Красавица!»

Я представлял себе чудовище с головой оленя. Я думал лишь о красоте оленьих рогов. Берар объяснил мне, что это должно быть не травоядное животное, а хищник. Рога, даже великолепные рога оленя, вызовут смех в зале, где соберется простая публика. Чудовище должно пугать. Он был прав.

Я обратился к знаменитому изготовителю париков Понте. Мы с Жаном решили сделать маску. В качестве примера я привел шерсть Мулука.

— Обратите внимание, — сказал я ему, — как от природы шерсти зависит ее окраска...

Понте все прекрасно понял. Он проделал необыкновенную работу, и моя маска приняла трагически реальный вид. И вдруг Польве, наш продюсер, заявил, что не будет снимать фильм, считая, что никого не заинтересует актер, наряженный зверем. Жан предложил сделать пробу. Польве согласился. Я посоветовал взять самую волнующую сцену фильма. И Жан, как какой-нибудь дебютант, сделал пробу.

Супруга продюсера плакала на просмотре. Это решило дело. Фильм был принят к постановке.

До этого у нас были другие неприятности. Фильм должна была снимать фирма «Гомон». Когда продюсеры прочитали сценарий, директор производства господин Бертру был уволен за то, что взял его. Контракты были аннулированы. Польве взял фильм. Я потребовал у него на пятьсот тысяч франков больше, чем за последний фильм, чтобы наказать его за то, что он не захотел оплатить мой контракт на фильм «Жюльетта, или Сонник». Он сказал, что я не в своем уме. Тогда я попросил выплачивать мне проценты от полученных сборов и выиграл миллионы.

Жан пригласил на остальные роли Милу Парели, Нейн Жермон, Марселя Андре, Мишеля Оклера. Он говорил:

— Я не хочу делать фильмы, я хочу сделать один фильм, мобилизовать глубинные силы, присущие Франции, которые в области духа делают ее недостижимой.

Он говорил также:

— Сверхъестественное имеет свои законы, в нем нельзя действовать беспорядочно.

Сотни препятствий возникали на пути воплощения этого шедевра. Отсутствие электричества вынуждало нас снимать ночью. Семья Лабедуайер не разрешила использовать свой парк для натуральных съемок замка Зверя. С большим трудом доставали пленку. Мила упала с лошади, в результате — воспалительный процесс; у меня — карбункул. Но самое худшее — это болезнь Жана: уже много месяцев он страдал сразу несколькими кожными заболеваниями. Во время съемок он почти одновременно перенес импетиго, крапивную лихорадку, экзему, фурункулы, карбункулы и флегмону. Свет юпитеров причинял ему боль. Он не мог бриться. Он

работал в шляпе, к которой прикреплял бельевыми булавками лист черной бумаги с двумя прорезями для глаз. Несмотря на все страдания, он руководил нами с беспримерным терпением и вежливостью. Более того, он шутил. Чтобы поднять настроение у актеров, он изображал старого, впавшего в детство генерала.

— Генерал никогда не должен сдаваться, даже перед очевидным фактом, — говорил он дрожащим голосом. Или же: — Тыл — это фронт военачальников. — Или еще: — Преимущество войны перед кино в том, что она идет при любой погоде.

Все смеялись и обращались к нему «мой генерал». Видя, какие страдания причиняет мне грим, он говорил:

— Вот видишь. Бог наказывает меня за то, что я подвергаю тебя такой пытке. Он и меня покрывает коростой.

Для нанесения грима мне требовалось пять часов: три — на лицо и по часу на каждую руку. Моя маска была сделана как парик: каждый волосок крепился на тюле и приклеивался в трех местах. Мои зубы частично покрывали черным лаком, чтобы они казались острыми; на мои клыки надевались звериные клыки, державшиеся с помощью золотых крючков. За обеденным столом Лабедуайеров (они в конце концов согласились предоставить свой парк) на глазах у их детей, не приходивших в себя от изумления, этот хищный зверь мог есть только пюре и компоты. Опасаясь, что грим отклеится, я говорил мало, едва шевеля губами, что делало мою речь непонятной, отсюда мое дурное настроение...

У Жана был очень хороший ассистент, Рене Клеман. Прекрасно выполняя свою работу, он, однако, не позволил бы себе сделать больше, чем от него ожидали. Он часто говорил, что очень многому научился у Жана, так как Жан создавал на съемочной площадке совершенно особый мир. Мы восхищались постоянными выдумками нашего режиссера, а он без устали импровизировал. Внимательный, вежливый со всеми — от низшего персонала до высшего. Все обожали его. Где он научился техническим навыкам? На съемочных площадках фильмов «Кровать со стойками», «Горящий флаг», «Вечное возвращение» он, конечно, наблюдал, следил за монтажом, расспрашивал оператора, звукорежиссера. Но в конечном итоге это была его собственная техника, основанная на врожденном чутье.

Однажды мне в студию позвонил профессор Мондор и сказал, что, если съемки не приостановить и не госпитализировать Жана в Институте Пастера, он может в течение двух суток умереть от заражения крови. Я решил сражаться, если нужно, чтобы уговорить его. Жан был измучен до предела. Со слезами на глазах он согласился. Его поместили в стеклянную камеру. Испробовали пенициллин, доставленный из Нью-Йорка (во Франции его еще не было). Вылечить полностью его не смогли, но от смерти спасли.

Жан не боялся смерти. Напротив, он относился к ней как к живущей в нем подруге. Он хотел только закончить свой фильм. Он его закончил. Первой его заботой было показать фильм своим постановщикам, электрикам, всей группе. Я знаю мало режиссеров или авторов, которые думают об этом.

Фильм имел огромный успех, но не сразу. Он пришел медленно, незаметно, почти тайно.

Из-за натуральных съемок «Красавицы и чудовища» я не смог отметить в Доме инвалидов. Так я оказался дезертиром. Придя наконец туда, я узнал, что моя дивизия вернулась в Германию. Меня не очень-то приветливо встретили в кабинете. Я хотел догнать роту своим ходом, но мне отказались сообщить, где она находится:

— Выпутывайтесь сами. Для нас вы — дезертир.

В дивизии никто не обратил внимания на мое отсутствие. Вскоре был подписан мир. По возвращении дивизии меня демобилизовали без проблем.

Жан пишет одну из своих лучших книг — «Трудность бытия». Прочитав ее, я был потрясен. Чем больше я чту Жана, тем больше стыжусь за себя. Работая над этой книгой, Жан живет как монах. Он говорит, что в его возрасте определенные отношения

были бы суетными и смешными.

Возобновляется постановка «Трудных родителей». Какое счастье! Маленькая репетиция, когда-то происходившая в спальне Ивонны де Бре, наконец-то перенесена на сцену. Лицо Ивонны преображается при моем появлении. Я бросаюсь на кровать, сжимаю ее в своих объятиях, целую, ласкаю. Она дает волю материнским, льющимся бурным потоком, словам любви, вырывающимся за рамки текста. И я даю себя подхватить этому потоку. При создании спектакля я думал, что мне помогают только мои недостатки; я чувствую, что играю своего героя лучше, чем десять лет назад, ведь в моих объятиях была Ивонна.

К сожалению, я должен покинуть Ивонну из-за «Двуглавого орла». Эберто не хочет ждать. Даниэль Желен заменяет меня в «Трудных родителях». Между двумя пьесами есть перерыв в несколько дней. Наконец-то я увижу «Трудных родителей» с Ивонной! И вот я в зале, занавес поднимается. Марсель Андре, Габриэлла Дорзиа удивительно правдивы. Входит Ивонна, растерянная, спотыкающаяся, потрясенная, полумертвая, как того требует роль. Зал аплодирует. Но я чувствую, что с ней что-то происходит. Я прав: она не может произнести ни слова. Ивонна мертвецки пьяна. Публика кричит:

— Вернуть деньги! Вернуть деньги!

Занавес опускается. Я бросаюсь в примерную и застаю Ивонну перед большим зеркалом. Она смотрит на себя в оцепенении, наконец замечает меня. Не поворачивая головы, спрашивает:

— Я тебе противна, да?

Я со слезами на глазах заключаю ее в свои объятия. Я не могу на нее сердиться.

— Я не могу играть с ним, — говорит она, — я не хочу играть с ним.

— Ивонна, Даниэль очень неплох.

— От него дурно пахнет.

Да, это мать из «Трудных родителей», это моя мать, это Розали.

Эберто отремонтировал свой театр к премьере «Двуглавого орла».

Я зашел в его кабинет, чтобы обсудить условия контракта. Увидев меня, он присвистнул:

— Какой красивый костюм! Сколько ты за него заплатил?

— Тридцать тысяч франков.

— Я не смогу оплачивать актера, который выкладывает за свои костюмы тридцать тысяч франков.

— Хорошо, тогда я покупаю ваш театр.

— Аренда, недвижимость или и то и другое?

— И то и другое. — У меня не было ни гроша.

— И то и другое! Видишь ли, это очень дорого.

— Не важно. Он мне почти ничего не будет стоить. Вы очень старый, я покупаю его у вас в обмен на пожизненную ренту.

Это было жестоко. Но между нами были тысячи старых счетов, хотя бы ужин с Аленом Лобро, когда я избил его.

Для меня в «Двуглавом орле» самым важным было то, что впервые после «Рыцарей Круглого стола» я согласился, чтобы Жан был режиссером театрального спектакля, в котором я играл. Если бы я всегда следовал его указаниям, разве не рисковал бы я превратиться в некий автомат, неспособный сыграть пьесу, в которой режиссером был бы не он? В кино все актеры в той или иной степени являются винтиками одной машины. Поэтому я соглашался, но при этом не мог заставить себя не противоречить ему, тогда как другие актеры, даже самые великие, принимали его советы с благодарностью. Жан страдал из-за этого, но понимал, что это мой защитный рефлекс. Перешагнув за тридцать, я наконец согласился играть в поставленном им спектакле, чувствуя, что теперь у меня достаточно сил, чтобы по-своему интерпретировать его указания.

Совместная работа доставляла нам огромную радость. Эдвиж Фейер была примером послушания, доброй воли, трудолюбия, элегантности, профессионализма. Для меня было счастьем стать ее партнером.

Мы играли целый год с аншлагом. Когда кто-нибудь хотел приобрести билеты в театр, ему говорили: «Все билеты проданы, но, возможно, вы их сможете достать в таком-то агентстве». «Такое-то агентство» принадлежало Эберто.

Критики довольно сурово отнеслись к Жану Кокто и особенно ко мне. Они писали: «*Чт о касает ся Жана Маре, т о эт о акробат , и т олько*». Это напомнило мне еще одно замечание, сделанное после моего первого спектакля: «Что касается Жана Маре, он красив, и только».

Это критическое замечание было вызвано моим падением навзничь с лестницы в конце спектакля. Но, насколько мне известно, акробат репетирует свой номер. А я никогда не репетировал. Обеспокоенный Жан спрашивал, когда же я буду падать. Я отвечал: «Когда буду играть по-настоящему».

На одной из последних репетиций я играл так, как если бы в зале сидела публика. Я упал. Присутствовавшие при этом издали крик ужаса. Это был мой первый каскад. Я совершенно не ушибся. Почему? Потому что в действительности падал не я, а персонаж, которого я воплощал. Мое тело защищалось не больше, чем тело мертвеца. Я ударился только один раз: в тот вечер, когда, уступив уговорам, упал «нарочно» для фотографа из «Франс-Диманш».

По наивности я думал, что после Освобождения газеты станут такими же, как до войны. Увы! Стиль коллаборационистов оставил свои следы. По-видимому, журналисты пришли к выводу, что злоба оплачивается лучше. Странно, но злобу принимают за проявление ума, а доброту за глупость.

Но критики меня не раздражают. Труднее понравиться самому себе, чем другим. Нужно быть своим самым суровым критиком. Если критик несправедлив, следует самому искать то, что справедливо, потому что, если он ошибся, у нас, определенно, есть другие ошибки, которых он не заметил.

О моем падении с лестницы много Говорили. Мне предложили сниматься в приключенческом фильме по сценарию Жана Кокто «Рюи Блаз».

По окончании спектаклей я поехал на съемки, в Италию. Я снимаюсь исключительно во всех испанских сюжетах в Италии. Венеция... Нельзя лучше увидеть город, чем глазами и сердцем Жана. Прекрасное и необычной раскрывается мне через призму его видения.

Добраться до студии можно только в гондоле или на моторке. Мы жили в венецианском ритме.

В фильме я исполнял сразу две роли: Рюи Блаза и дона Сезара де Базана, что в театре невозможно. Оба персонажа похожи, как близнецы.

Мне пришлось спорить с режиссером Пьером Бийоном: он не хотел, чтобы я рисковал. Но я был упрям. Однажды я больше часа просидел наверху приставной лестницы, откуда должен был лететь, схватившись за конец веревки, и пробить своим телом витраж. В действительности вместо веревки должна была быть люстра, но, если бы я раскачивался на ней, размах был бы недостаточным. Бийон пригласил дублера. Тогда я взобрался на лестницу раньше него и отказывался спуститься. Режиссер отказывался снимать. Мы теряли драгоценное время. В конце концов он сдался.

Работая в этом фильме, я приобрел привычку не повторять опасные или физически трудные сцены. В роли дона Сезара мне пришлось скакать на лошади, не касаясь стремян (что наездники делают очень легко). На репетициях мне это не удается. Раздается команда «Мотор! Поехали!», и у меня все получается. Я понял, что способен во время съемок сделать то, что не смог бы сделать специально. Впредь я придерживался этой методы, удивлявшей многих профессионалов.

В «Рюи Блазе» я чуть не утонул. Нужно было переплыть поток, чтобы нарвать на

другом берегу любимые цветы королевы. Такой поток мы нашли только во Франции, около местечка Тинь, когда там еще не было плотины. Я должен был позволить бурлящей воде унести меня и перебросить через три, расположенных друг за другом, порога. Вода была белой от пены, ледяной и неслась с огромной скоростью. Никто не предполагал, что я решусь на это. К тому же я терпеть не могу холодную воду.

Мое решение сниматься без репетиции заставило режиссера пригласить пожарника, который должен был репетировать вместо меня. Но, когда он увидел бурный поток, категорически отказался. Таким образом, я снимался в этой сцене без репетиции. Я решил, что буду падать через пороги ногами вперед, чтобы не разбить о камни голову. Но из-за того, что по сценарию я оказывал сопротивление потоку воды, меня понесло через первый порог головой вперед. Я оказался в водяном смерче, зажатым в расщелине между скалами ногами вверх и вниз головой. Никто не знал, где я. Камера меня потеряла. Я попытался перевернуться. Сначала удивился, что никто не пришел мне на помощь. Меня душил немой гнев, и не без причины! Мысленно я честил всю группу на чем свет стоит. Этот гнев меня и спас, удесятирив силы. Посылая ко всем чертям технический персонал группы, я цеплялся за скалы, чтобы выбраться оттуда. Наконец меня заметили, совершенно обессилевшего. Я снова скатился в свою расщелину, и следом тонны воды обрушились мне на голову. «То, что я сделал один раз, я смогу сделать и во второй», — подумал я. Я снова слегка высываюсь из воды. Слышу крики: «Не тяните! Не тяните! У него веревка вокруг шеи». Тут я замечаю, что мне бросили веревку со скользящей петлей, и она действительно обвилась вокруг моей шеи. Обрушившаяся, ослепившая меня вода не дала мне возможности увидеть ее и почувствовать. Это чудо. Я хватаюсь за веревку. Меня вытаскивают из воды. И только тогда я осознаю, что она ледяная, и чувствую, как сильно я замерз.

Меня раздевают, растирают, дают выпить горячительного. Я прошу сигарету. Зажигаю ее и слышу рев оператора:

— Скажите Жанно, чтобы прыгал в воду сейчас же, потому что солнце уходит.

Мы находились в ущелье, куда солнце заглядывало ненадолго. Мне пришлось трижды прыгать в воду, стараясь при этом лететь через водопады ногами вперед.

Вечером в местном бистро я услышал:

— Ох уж эти киношники, хотите заставить нас поверить, что один из вас будет купаться в Изере.

Они не поверили, когда я сказал, что сделал это сегодня. Позднее Тинь был затоплен*. Я мог бы наивно поверить в наказание Божье, поскольку имею смелость думать, что зло, которое мне причиняют, судьба всегда наказывает.

* Тинь был затоплен в 1952 г. при строительстве плотины.

Во время съемок «Рюи Блаза» позвонил Эберто и пригласил меня сыграть в «Двуглавом орле» в «Фениче» на театральном Биеннале в Венеции.

— Это для Жана и для Франции, — сказал он, — расходы слишком большие: оплачивать работу актеров нет возможности. Я дал согласие и после съемок снова поехал в Венецию.

— Что вы собираетесь покупать? — спросила меня Эдвиж.

— Ничего. У меня нет денег.

— Я хочу сказать: что бы вы хотели купить, если бы они у вас были?

Это показалось мне подозрительным.

Накануне нашего спектакля в «Фениче» давали очень красивый балет Жана «Юноша и смерть», который я не смог посмотреть в Париже, поскольку был занят в театре. Я попросил директора «Фениче» предоставить мне место в зале. Мне дали место на галерке, да такое неудобное, что мне пришлось спуститься в королевскую ложу и стоять позади занимавших ее людей, предварительно спросив у них разрешения.

Изумительный балет с великолепными Жаном Бабиле и Натали Филиппар в хореографии Ролана Пети. На следующий день я встретился с директором фестиваля и говорю ему:

— Если бы я потребовал заплатить мне за то, что я играю здесь в «Двуглавом орле», я мог бы купить сорок билетов. Неужели нельзя было по крайней мере дать мне приличное место?

— Как? Вам не платят? Я дал пятьсот тысяч франков господину Эберто.

— Пятьсот тысяч франков на все дорожные издержки, декорации, костюмы, актеров? Да этого хватит только на то, чтобы еле-еле свести концы с концами.

— Да нет же. За все это я сам плачу. Я дал пятьсот тысяч франков для актеров.

— Хорошо. Это все, что я хотел знать.

Иду к Эберто:

— Итак, ты положил пятьсот тысяч франков себе в карман?

Я узнаю, что ни Эдвиж, ни Варенн не согласились работать даром. Им заплатили.

— Так вот, я хочу получить такую же сумму, как Эдвиж, я разделю деньги с товарищами, иначе я не буду играть, — говорю я.

— Ну и что ж. Значит, ты не будешь играть. Сделаем объявление для публики, что ты отказываешься играть. Не надо было соглашаться работать бесплатно.

Вынужденный играть, я поклялся, что ноги моей больше не будет в театре Эберто. И сдержал слово. Поэтому пьеса не была возобновлена. Иначе мы бы закончили сезон с аншлагом.

Вернувшись в Париж, я снимаюсь в нескольких фильмах. Сначала в «Майерлинге» режиссера Жана Деланнуа. Здесь я встретился с Доминик Бланшар, которую знал еще ребенком. Она совсем юная, ей пятнадцать лет. Красивая, обаятельная, чистая, полная детского очарования. Мы подружились, и все это заметили. Несмотря на разницу в возрасте (я более чем в два раза старше), друзья воображают идиллию и будущую свадьбу. Мы с Доминик единственные, кто ничего не подозревает. Газеты ухватились за эту новость. А наш продюсер думал только о рекламе фильма. Одна наша общая знакомая даже решила серьезно поговорить со мной об этом. Я успокоил ее: «Я слишком люблю Доминик, чтобы желать ей такого мужа, как я». Это было правдой.

Жан Деланнуа хочет снять еще один фильм с Жаном Кокто и со мной. Каждый день он приходит на улицу Монпансье и просит Жана написать сюжет для нас с Мишель Морган. Жан не хотел заниматься фильмом. Он увлеченно работал над большой фантастической поэмой «Распятие», и любая другая работа отвлекала бы его.

Не зная, что ответить Деланнуа, Жан смотрит прямо перед собой. На красном бархате, которым обиты стены его спальни, прикреплены все гравюры, сделанные Делакура для «Фауста». Жан рассказывает Деланнуа сюжет «Фауста». Он меняет только одно:

— Когда доктор Фауст, став молодым, просит Маргариту выйти за него замуж, она отвечает: «Я не свободна, я люблю доктора Фауста». Попросите Жоржа Неве написать сценарий, — добавил он, — я не имею такой возможности.

Деланнуа обратился к Неве, тот написал сценарий на другой, собственный сюжет под названием «Глаза памяти». В этом фильме я и снялся вместе с Мишель Морган — единственной женщиной, которую я смог бы по-настоящему полюбить. Но мне не повезло. Она только что познакомилась с Анри Видалем, которого сразу страстно полюбила и который впоследствии стал ее мужем.

Жан больше не мог работать в квартире на улице Монпансье. Постоянно отвлекали телефонные звонки, посетители, приходившие к нему и ко мне. Он мечтал о доме. Поль нашел то, что нужно, в Мийи-ля-Форе. Мы все трое влюбились в этот дом с первого взгляда. Нам нравилось все: его стиль, портик, строгие башни, придающие ему вид аббатства, водяные рвы, сад, напоминающий монастырский, лес и парк Фонтенбло в двух шагах.

Ни у меня, ни у Жана не было необходимой суммы, но, объединившись и заняв денег, мы ухитрились купить дом. Так же как при покупке дома, мы дали Полю одинаковые суммы на обустройство интерьеров. Каждый занимает свою половину: Жан — второй этаж, я — третий. Первый этаж — общий; там Жан сможет писать, рисовать, я — заниматься живописью, учиться, Мулук — прогуливаться.

Начинаются съемки «Трудных родителей». Жан говорит, что от театральных постановок ничего не остается, а он хотел бы запечатлеть нашу навсегда. Он решает оставить пьесу целиком, как она есть, в замкнутом пространстве. Но благодаря его гениальности она превращается в такое же необычное произведение, как «Кровь поэта», потому что он «пишет» камерой так же, как ручкой. Киноплёнка становится его чернилами.

Во время съемок он ежеминутно поражал нас. Вершиной стала последняя сцена. Мы с Жозетт Дей стоим у постели только что умершей Ивонны де Бре. Камера, снимавшая нас крупным планом, отъезжает на тревелинге, и вот уже видны Габриэль Дорзиа, Марсель Андре. Постепенно камера охватывает всю комнату, квартиру, и на экране появляется слово «конец».

По окончании съемок декорации разобрали. Наша потрясающая семья распалась. Во время просмотра оказалось, что рельсы тревелинга были плохо закреплены и изображение дрожало. Все — продюсер, операторы, исполнители — смотрят друг на друга в растерянности. Придется восстанавливать декорации, переснимать сцену.

— Нет, — говорит Жан. — Мы не будем ничего переделывать. Я скажу текст за кадром: «А кибитка продолжает свой путь».

Это подрагивание создавало впечатление, что вся квартира — большая, подпрыгивающая на ухабах кибитка. Поэт даже неудачу сумел облечь в поэтический образ.

Мы снимаем «Двуглавого орла». Жану хотелось оставить материальное свидетельство игры актеров, которых он любит.

Фильм отличается истинной утонченной элегантностью, такой необычной, что она поражает, тем более что у пьесы нет исторической основы.

Во время съемок последней сцены фильма собрались все страховщики. Лестница насчитывала более тридцати ступеней, и все боялись, что я покалечусь. Жан сказал:

— Когда ты упадешь, постарайся не двигаться, пока я не скажу «стоп», а то придется все начинать сначала.

Я падаю. Жан так взволнован, что забывает сказать «стоп». Я не двигаюсь. Воцарилось нескончаемое молчание. Все затаили дыхание, особенно я, изображающий мертвого. И тут тревожный крик Жана:

— Жан! Ты ранен? — Он думал, что я разбился. Я встаю. Ни единого синяка.

В квартире на улице Монпансье Жан приютил одного друга, которому хотел помочь. В комнате Жана тесно, я предлагаю ему перейти в мою — она побольше. Но он не хочет ни в чем меня стеснять и деликатно отклоняет мое предложение.

Мне хочется, чтобы в жизни Жана было больше комфорта. Если я перееду, Жан будет огорчен. Тогда я нашел предлог, будто мне необходимо больше воздуха и света, а квартира на улице Монпансье освещена только фонарями садов Пале-Рояля, поскольку окна находятся под арками. Я решил, что покупка катера будет расценена как временная прихоть. Я нашел небольшой крытый катер и поставил его в несудо-

ходном рукаве Сены, в Нейи. Таким образом, мой отъезд не выглядел таковым.

Если бы я нуждался в рекламе, я не мог бы придумать ничего лучше. Во всех газетах появились фотографии моего нового жилища, а его декор воспроизводился даже на выставках антиквариата. Повсюду красное дерево и медь, даже на полу, а мебель — как на судах XIX века. На берегу я разбил хорошенький садик.

Однажды зимой Коко Шанель пожелала прийти пообедать ко мне на катер. Как Коко Шанель, столь любящая роскошь, будет чувствовать себя в моей плавучей кибитке? Время года отнюдь не способствовало праздничной обстановке. Я купил у цветочника двести тюльпанов, разумеется, срезанных, воткнул их в землю в своем саду. Коко в восторге. К моменту ее ухода все тюльпаны нагнулись к земле.

— Они кланяются, чтобы попрощаться с вами, — сказал я. Она все поняла и от души рассмеялась.

Жан часто приходил на «Кочевник»*. Я также бывал на улице Монпансье. Жан писал французский вариант пьесы «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса. Я мечтал сыграть в этой пьесе.

* Название катера Жана Маре.

— Колетт хочет, чтобы ты сыграл главную роль в «Шери», — сказал Жан.

Я уже участвовал в радиопостановке этой пьесы с Ивонной де Бре в роли Леи, где она была изумительна. Передача имела большой успех. Директору театра «Ля Мадлен» пришла в голову идея возобновить пьесу.

— Но, Жан, Колетт всегда считала, что я не тот персонаж.

— Из уважения к большому писателю ты должен встретиться с ней.

Я иду к Колетт. Я имел счастье быть ее другом, к тому же она очень любила Мулука. Всякий раз в ее выступлениях по радио, как и в книгах, которые, подобно листьям с деревьев в нашем саду, перелетали из ее комнаты в Пале-Рояле в мою, я находил свидетельства ее огромного расположения ко мне. Поэтому мне было очень неловко отказываться играть в «Шери». Я робко напомнил ей, что прежде она не могла себе представить Шери блондином и что я уже не в том возрасте. Она ответила своим чудесным голосом, одновременно нежным и властным:

— Пьесу написала я, и я лучше кого-либо другого знаю, кто Шери. Шери — это ты.

Как тут не согласиться? Я отказываюсь от «Трамвая «Желание», и мы репетируем «Шери». Очарование Валентины Тессье, доброжелательность Андре Брюле, удивительный профессионализм режиссера Жана Балла, добросовестность других актеров заставляют меня броситься в воду вниз головой. Я стараюсь быть похожим на идеального Шери.

И вот триумф. Валентине, совершенно необыкновенной, критики поют дифирамбы. Обо мне, как о ребенке, говорят, что я добился некоторых успехов. В сущности, это меня устраивает. Я горжусь тем, что за десять лет добился успехов. Если я буду продолжать в том же духе, чего только я не достигну?

Более того, если добиваться успеха — привилегия детей, значит, я — настоящий актер, поскольку актеры всегда остаются детьми. Как и они, мы постоянно сдаем экзамены.

Во время постановки «Шери», как раз в день смерти Марселя Сердана, заболел Мулук. У него начался кашель, похожий скорее на удушье, хрип. Я звоню ветеринару и жду его в ресторанчике рядом с театром, по щекам у меня текут слезы. Я стыжусь своей слабости. Положив локти на стол, прячу глаза. Прибежал мой директор Андре Брюле:

— Жанно, тебя так огорчила смерть Марселя Сердана?

Мне становится еще более стыдно, и я бормочу:

— Нет, Мулук умирает.

Мне пора в гримерную. Ветеринар пришел туда. Он определил, что у Мулука сердечная астма. В течение двух последующих лет я всегда буду выходить из дома с

раствором камфары, шприцом, эфиром и ватой. У Мулука случаются обмороки, и, где бы это ни произошло, я делаю ему укол. Однажды в метро я уронил коробку, шприц, эфир и остальное — все покатило по полу. Окружающие смотрели на меня с осуждением, приняв за наркомана.

Я все реже беру Мулука с собой на прогулку. Подумываю о покупке детской коляски, чтобы он мог со мной гулять. Но потом вспоминаю о репортерах, которые, конечно же, не упустят такого случая. Пришлось отказаться от этой мысли. Мулуку нужен сад, и я принимаюсь за поиски участка, нахожу подходящий в Марн-ля-Кокет. Разрабатываются планы дома, тут же начинаются строительные работы.

Мулук умер прежде, чем был закончен дом. Однажды утром он попросился выйти и умер вне дома. Все утро я занимаюсь изготовлением дубового ящика, затем оцинкованного, в который я вложу дубовый, чтобы не проникала вода.

Жан должен прийти обедать. Он не спрашивает о Мулуке. А сам я не в силах вымолвить: «Мулук умер».

Через неделю Жан снова обедает у меня. На этот раз он спросил о моем друге и очень огорчился, что я ему раньше ничего не сказал.

Я от всех скрываю смерть Мулука, опасаясь репортеров. Что я могу сказать? Кроме того, если я начну об этом говорить, я не смогу сдержать слез. И потом, не покажется ли смешным, что я говорю о Мулуке, как о человеке, лучшем друге? Нет, я лгу. Мой лучший друг — Жан. Несмотря на любовь, которую я питал к Мулуку, когда мне бросали избитую фразу «О собаки! Лучшего друга быть не может!», я отвечал: «Нет, у меня есть еще лучший друг, это Жан Кокто».

Впрочем, я странно устроен. Если бы для спасения человека, каким бы он ни был, мне пришлось пожертвовать Мулуком, я, определенно, сделал бы это, но потом возненавидел бы этого человека.

18

Один молодой человек как-то сказал Жану:

— Актеры — это не люди, это сверхъестественные существа, божества.

Кино создает ореол божественности, лишает актера человеческих черт.

Однажды, подписывая фотографии на каком-то благотворительном базаре, я высморкался. Одна девушка изумленно вскрикнула: «Как! Он сморкается?» — и упала в обморок.

Жан-Пьер Омон, вернувшись из Америки, где он сделал блестящую карьеру, пришел к Жану Кокто с просьбой написать сценарий для него и его жены, Марии Монтез. Жан спросил, не буду ли я возражать. Я заверил его, что нет. Он подписал контракт с продюсером Жан-Пьера Дешармом, получил от него аванс, остальное должно быть выплачено, когда сценарий будет написан.

Жан-Пьер снова уехал в Соединенные Штаты. Закончив работу над сценарием «Орфея», Жан прочитал его мне. В нем заключалась вся мифология Жана. Это был не просто сценарий, а значительное поэтическое произведение. Я сказал об этом Жану. Сказал и о том, что мне так нравится сценарий, что я согласился бы сниматься даже в эпизодической роли. Впрочем, в нем было две главные роли: Орфей и Эртебиз. Я мог бы сыграть Эртебиза.

Жан только об этом и мечтал. Он послал сценарий Жан-Пьеру и спросил, согласится ли он, чтобы я играл вторую роль. Жан-Пьер ответил отказом, пояснив, что ему бы не хотелось, чтобы в его первом фильме после возвращения во Францию я играл вместе с ним. Жан передал мне его ответ. Я с грустью покорился тому, что не буду участвовать в фильме, который считал самым значительным кинематографическим произведением Жана.

Но моя судьба не дремала.

Жан показал сценарий Дешарму, но тот ничего не понял в произведении, столь отличающемся от тех, которые он привык читать. Он решил, что над ним издеваются,

что Жан сделал халтуру, лишь бы побыстрее получить остаток гонорара. Дешарм аннулировал контракт и телеграфировал Жан-Пьеру, что фильма не будет.

Жан в отчаянии. Он настолько захвачен своим сюжетом, что для него будет настоящей драмой, если он не сможет его реализовать. Мы, друзья, видя его отчаяние, пытаемся помочь. Особенно старается мой импресарио и наш общий друг госпожа Ватье. Она предложила Жану самому поставить фильм на паях с исполнителями, представляемыми со-продюсером, все тем же Польве.

Все это потребовало времени. Когда мадам Ватье (для меня просто Люлю) удалось все организовать, Жан-Пьер Омон уже был занят. Роль Орфея предложили мне. Счастливый, я согласился. Нужен актер на роль ангела Эртебиза. Я предложил Жерара Филипа. Но он отказался. Жан пригласил Франсуа Перье.

На роль Смерти он хотел пригласить сначала Гарбо, потом Марлен Дитрих, наконец, Марию Казарес.

И, как всегда, все члены съемочной группы восхищались режиссерскими находками Жана. Он старался все понять, постичь, ничего не оставляя без внимания. Сам того не желая, Жан по-новому использовал технические приемы. Он строил некоторые декорации так, что стены домов стали полом, а пол стеной, что затрудняло походку актеров и придавало ей необычность. Поначалу техники съемочной группы сомневались, но на просмотре ревели от восторга.

Жан без конца придумывал новые трюки для зеркала, через которое мы должны были проходить. А главное, он использовал сверхъестественное экономно, подчиняя его определенным законам. Берар умер до начала съемок фильма, для которого он сотворил чудеса. Мы больше не увидим его бороду, шляпу, неряшливые костюмы, его собаку непонятного окраса, его пухлые руки ребенка, создающие красоту. Для нас это невозможная утрата, для Жана — больше, чем для всех остальных.

Когда фильм выйдет на экран, Жана, как обычно, назовут волшебником, не задумываясь, в чем секрет его успеха.

После фильма Жан уехал в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он прислал мне стихотворение:

Рождество 1950

Мой Жанно! О, пусть небо
Нам позволит соединиться!
Без тебя жизнь нелепа
Даже в солнечной Ницце.

Приезжай сюда тоже,
Здесь царит красота.
Красота на тебя похожа,
И ее сестра — доброта.

Известный менеджер Фернан Лумброзо, организующий турне, предложил мне создать «Труппу Жана Маре». Я выбрал семь пьес, составивших шесть спектаклей: «Адская машина», «Священные чудовища», «Трудные родители» Жана Кокто, «Леокадия» Ануя, «Британик» Расина, «За закрытыми дверями» Сартра и «Леони пришла раньше» Фейдо. Я должен был играть в каждой из этих пьес, но в конечном итоге отказался от участия в пьесах «Леони пришла раньше» и «Священные чудовища».

Мы отправляемся в Египет и Турцию. Играть в Ливане нам не пришлось, уж не знаю, по какой причине. Жан и коллеги воспользовались этим, чтобы открыть для себя все чудесные места нашего маршрута. Меня работа приковывает к театру.

Наше турне проходит блестяще благодаря Жану. Он выступает перед публикой и озаряет своим светом всю труппу.

Меня предупреждали, что, раз мы не везем с собой хороших девушек, мы не

будем иметь успех в этих странах. Но, что гораздо важнее, у нас были прекрасные актрисы — Габриэлла Дорзиа, Ивонна де Бре, Таня Балашова, Габи Сильвия. Нас повсюду ждал триумф.

Жан Кокто настолько мало был знаком с современной Турцией, что перед отъездом спросил у Фернана Лумброзо, почему мы едем в Стамбул, а не в Константинополь. По прибытии мы узнали, что все билеты на наши спектакли давно проданы, за исключением «Британика». Одна труппа играла эту пьесу до нас в плохой постановке и с недобросовестными актерами, которые не знали текста. Это кажется мне чудовищным.

Жан знает, как я дорожу этим спектаклем. Он предлагает выступить на следующий день с лекцией. Я люблю его слушать, поэтому присутствую в зале. Перед железным занавесом, который забыли раздвинуть, находится красный занавес. Жан поднимается на сцену и начинает говорить. Он говорит, что публика, как стихия, вызывает у актера морскую болезнь...

Рабочие сцены замечают, что железный занавес не раздвинут, и включают механизм, приводящий его в движение. Возникший при этом поток воздуха подхватывает красный занавес и несет его в сторону зала, облепив тело стоящего посередине сцены Жана. Любой другой на его месте выглядел бы смешным. А он продолжает, как будто все это было заранее предусмотрено сценарием: «Сцена — это корабль, влекомый красными, расшитыми золотом, парусами, и рискующий попасть в бурю».

Буря разразилась, но... буря аплодисментов. Затем Жан рассказывает о Турции, о ее городах, деревнях, о революции в ее литературе, о школах, учителях, о корнях ее языка, заимствованного у многих народов. Помня, как малы его познания об этой стране, я думаю, что он сошел с ума, у меня на лбу выступает холодный пот. И снова триумф! Публика устраивает ему настоящую овацию.

Жан представляет «Британика», да с таким жаром, что мне приходится потихоньку уйти из зала. Уже из-за кулис я слышу, как он просит всех присутствующих прийти на спектакль. В тот же вечер все билеты были проданы.

После лекции я спросил Жана, откуда он так хорошо знает Турцию.

— Сегодня утром, — ответил он, — я попросил разрешения посетить университет.

Никогда еще у меня не было такой хорошей прессы. Вот урок, который актер может извлечь из турне: хвалят гораздо больше, чем в Париже, а слушать комплименты опасно. Я избегаю этой опасности тем, что не читаю газет, чем часто удивляю своих товарищей.

В свободное время мы совершали экскурсии по этому прекрасному городу. Нас предупредили никогда ничего не давать маленьким нищим. Как-то мы попали в бедный квартал. Едва мы успели выйти из нашего «кадиллака», как навстречу нам бросились дети с протянутыми руками. Мы сделали вид, что не замечаем их. Мое внимание привлек мальчик с бесформенным, скрюченным телом, он калека. После моего отказа он горько заплакал. Я подумал: «Черт побери, будь что будет!» — и дал ему мелочь. Мальчишка расхохотался и распрямился. Он оказался замечательным актером. Каждый вечер после спектакля я заставлял его у дверей театра и всегда давал ему мелочь. Ему было, наверное, лет десять. Я подумывал о том, чтобы усыновить его. Но мне отсоветовали.

Когда я вернулся в Париж, мне предложили сниматься в экранизации «Шери». Но продюсер господин Дольберг не хотел приглашать Валентину Тессье на роль Леи, хотя она была в ней великолепна. Он находил ее слишком старой для этой роли. Я предложил Валентине сделать тайком фотопробы. Она выглядит на них лет на тридцать девять, не больше, это как раз возраст персонажа. Я послал их продюсеру. Несмотря на мои уговоры, Валентина настояла на встрече с Дольбергом. Мы пошли к нему вместе.

— Вы видели пробы? — спрашиваю я его.

— Да.

— Ну и что?

— А то, что важна не только внешность, но и талант. Мне хотелось дать ему пощечину, но нельзя было сжигать мосты. Иду за ним.

— Я буду сниматься в фильме бесплатно, если вы возьмете Валентину.

— Нет, даже если ты мне предложишь двадцать пять миллионов.

Я увел Валентину всю в слезах, отказавшись сниматься у Дольберга.

Жан пишет обо мне книгу. Чтобы не ошибиться в некоторых подробностях моего детства, он просит мои заметки. Опасаясь, что дружба заставит его нарисовать приукрашенный портрет, я вспоминаю обо всех своих недостатках. Он переписет кое-что из этих заметок, опровергая их. Эту книгу можно рассматривать как завет: через Жана Маре рассматривается проблема актера вообще. Поэтому книга мне нравится. Кроме того, я горд и счастлив. Какой необыкновенный подарок мне сделал Жан!

Я снимаюсь еще в одном фильме режиссера Ива Аллегре «Чудеса случаются только раз». Главную женскую роль исполняет Алида Валли — красивая женщина, прекрасная актриса, мой хороший товарищ до того момента, когда снимали сцену поцелуя в открытой машине. После этого эпизода, который, как часто бывает в кино, мы повторяем не менее десяти раз, Алида продолжает оставаться очаровательной со всеми, но ко мне относится ужасно. Меня расспрашивают, но я сам озадачен и не могу понять, что я ей сделал. Кто-то высказал предположение, что она влюблена в меня. Но я знаю, что она любит своего мужа, он тоже здесь, с нами, она любит своих детей... Ситуация не улучшилась до конца съемок. На вечеринке по случаю окончания работы кто-то посоветовал мне пригласить Алиду на танец.

— Я не смею.

— Пригласи.

Я пригласил ее. И тут она призналась. Мой друг оказался прав. Но как я мог догадаться?

На вечере у друзей мы играли в игру «Скажи правду». Для меня она завершилась обедом с англичанином по имени Робин. Затем этот Робин пригласил меня в «Лидо», где танцует его друг. Я принял приглашение. Здесь я впервые увидел Жоржа Р. Робин повел меня за кулисы, познакомил нас. Жорж — американец, но его американский акцент не сильно выражен. Он не говорит по-французски, а я очень плохо говорю по-английски. Он чем-то похож на меня, но на тринадцать лет моложе. Держится со мной довольно холодно. Мы с Робинем уходим, чтобы посмотреть вторую часть представления. После спектакля Робин простился со мной, и я остался один. Мне захотелось еще раз увидеть Жоржа, и я поднялся к нему. На мое предложение выпить по стаканчику он ответил отказом. Я очень плохо воспитан — я еще не привык, чтобы мне отказывали. Я стал настаивать. Наконец Жорж из вежливости согласился поужинать у меня на следующей неделе.

Ужин состоялся в моем плавучем доме. Гость подсмеивался над моим английским, я тоже. Он видел в Америке мой фильм — «Вечное возвращение» и «Кармен», на которые его привел кто-то из друзей. Он признался, что только поэтому принял мое приглашение.

Несмотря на такое трудное начало, мы несколько раз ужинали вместе. Он не так давно во Франции, но у него уже есть близкий друг, француз, и он видел много спектаклей, балетов, фильмов. Видел он и «Орфея», фильм ему не понравился.

После ужина я подвозил его на машине в «Лидо», чтобы он не опоздал на спектакль, затем возвращался домой.

Как-то вечером, я уже лег спать, кто-то позвал меня с берега. Выглядываю. Это Шарль Р. Я пригласил его зайти. Мы разговорились, я спросил, счастлив ли он. Да, он

счастливы.

— Да ты его знаешь, наверное. Ты был в «Лидо»?

— Это Жорж Р.?

— Да.

Я рассказал ему, как тактично Жорж говорил мне о нем, не называя имени. Я решил, что впредь буду избегать встреч с Жоржем.

— Почему? — спросил Шарль.— Вы похожи друг на друга. Наверное, это замечательно видеть вас вместе.

Итак, я продолжаю встречаться с Жоржем. Однажды, ужиная на катере, он почувствовал сильную боль в области солнечного сплетения. Я вызвал врача. Не могло быть и речи о том, чтобы он танцевал в этот вечер и на следующий день тоже. Возможно, это лишь нервные спазмы, но может быть и что-то более серьезное. Врач запретил ему вставать с постели даже при условии, что я отвезу его в отель. И он остался у меня.

Он останется у меня на десять лет.

С Луизой Конт мы играем «Ринальдо и Армиду» в Руане. Она сказала, что П.-А. Тушар хочет, чтобы я снова поступил в «Комеди Франсез». Согласен ли я? Я попросил несколько дней на размышления.

Жан только что написал новую пьесу — «Вахх». Перед тем как приступить к работе над пьесой, он рассказал мне ее сюжет. Меня смутил юный возраст персонажа, и я сказал ему об этом.

— Ему двадцать девять лет, — ответил он.

Мне тогда было тридцать шесть. Возможно, на сцене я смогу выглядеть на двадцать девять... Но, когда Жан прочитал мне пьесу, хотя он и указал там возраст Вахха, написанная им роль подходила скорее девятнадцатилетнему юноше. Кроме того, он хотел, чтобы брата девушки играл Эдуар Дермит*. Мне очень нравился этот друг Жана, но не как актер. Во время турне по Среднему Востоку мне не понравилось его исполнение. Зная себя, я понимал, что на репетициях не сдержусь и выскажу свое мнение вслух. Я хотел избежать этого.

* Приемный сын Жана Кокто.

Я спросил Жана, что он думает о сделанном мне предложении поступить в «Комеди Франсез». Он ответил:

— Трагический актер и герой становятся редкостью. Ты соединяешь в себе обоих, ты той же породы, что Муне и де Макс. Не скажу, что ты на них похож, но, как и они, ты лишаешь роли их условности. Ты любишь только хорошие тексты, ты должен поступить в этот театр.

Мы больше не говорим о «Ваххе». Я предполагаю, что Жан отдаст пьесу в «Комеди Франсез», тогда я буду в ней играть. Если же он не отдаст пьесу в «Комеди Франсез», тогда я не смогу в ней играть. Таким образом, дружеские чувства Жана не будут подвергнуты испытанию.

Пьеса была поставлена в театре «Марины» Жаном-Луи Барро. Через неделю репетиций он попросил заменить Эдуара Дермита. Барро уж никак нельзя было обвинить в предвзятости.

Костюмы и декорации Жана Кокто были замечательны, постановка Барро — просто великолепна. Жан Десайи, на мой взгляд, как и я, слишком стар для роли Вахха, и внешность его не идеальна для этой роли. Но он очень талантлив, что гораздо важнее. Все исполнители играли безупречно. В то время я снимался в Жуанвилле. По дороге в театр «Марины» путь мне преградил густой туман... Определенно, даже природа хотела помешать мне стать свидетелем реакции Франсуа Мориака! И все же я приехал вовремя и посмотрел спектакль. Пьеса была на высоте. Вера кардинала бесспорна, так же как и его желание спасти Ганса для вечной

жизни. Франсуа Мориак поднялся до окончания спектакля, заявив во всеуслышание, что это кощунство, и покинул театр.

Жан очень переживал. Мориак написал суровую статью, свидетельствующую о том, что он пришел на спектакль, с предвзятым мнением.

Жан ответил другой статьей, умной и страстной, озаглавленной *«Я т ебя обвиняю»*.

И вот я снова в «Комеди Франсез». Мне позвонила Луиза Конт, организовавшая встречу с администратором театра П.-А. Тушаром. Я соглашаюсь поступить в «Комеди Франсез» при условии, что буду ставить «Британика», взяв на себя режиссуру и декорации, и дебютирую в роли Нерона. Тушар дал согласие. Я спросил, не боится ли он скандала (я и не предполагал, как близок к истине).

— Мне нужен приток свежих сил, — ответил он.

Достаточно ложных положений. Моим настоящим положением станет «Комеди Франсез». И как только такое могло прийти мне в голову?

Я прошу, чтобы Мари Белл играла Агриппину.

— Она еще никогда не играла роль матери и вряд ли согласится, — говорят мне.

Я выстраиваю вокруг нее остальной состав исполнителей: Рене Фор, Кларийон, Ролан Александр, Жан Шеврие, Луиза Конт. Мой основополагающий принцип — не говорить громко, не выкрикивать государственные или любовные тайны. Однажды я случайно услышал, как одна исполнительница говорила своему партнеру: «Делай, как он требует. На публике будешь играть, как захочешь». По-видимому, дисциплина не является обязательной в этом театре. Но в целом я почти доволен спектаклем.

За неделю до генеральной репетиции меня вызвали в контору администрации. Там были Жан Мейер, Жюльен Берто и П.-А. Тушар.

— Вот что, — сказал Берто, — мы считаем, что твоя постановка не в духе «Комеди Франсез», ты должен выбрать инспектора между Жаном Мейером и мной.

Я становлюсь на дыбы:

— Я считаю свою постановку в духе «Комеди Франсез», а также единственной постановкой, достойной этого театра, и отказываюсь от наблюдателя. Скажи-ка, Жюльен, разве ты не говорил несколько лет назад, что в «Британике» мне удалось то, что не удалось тебе?

— Это правда, но ведь это было не в «Комеди Франсез». Если ты не примешь наше предложение, спектакля не будет.

— Если спектакля не будет, я подаю в отставку.

Вернувшись домой, я позвонил Жану в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он был возмущен и одобрил мое решение. Через полчаса он позвонил сам.

— Я подумал: если ты не будешь играть, скажут, что твой спектакль был плох. Ты должен играть. Что сможет сделать инспектор за неделю? Ничего. Соглашайся и играй.

Как сказать о том, что я передумал? К счастью, позвонил сам П.-А. Тушар. Он в отчаянии. Оказывается, это комитет решил назначить наблюдателя. П.-А. Тушар считает, что если я снова уйду из «Комеди Франсез», так ни разу и не сыграв, пресса поднимет шум.

Я заставляю себя упрашивать, зная заранее, что соглашусь, хотя такое поведение мне претит. Господин Тушар облегчил мне задачу. В конце концов я соглашаюсь и выбираю Жюльена Берто в качестве инспектора.

Жан оказался прав. Берто не вмешивался в мою режиссуру. Более того, он по-настоящему помогал мне в работе с некоторыми исполнителями, в создании световых эффектов. В этом у него большой опыт. Мне дали примерную постоянную члена труппы, которую я оборудовал по своему вкусу. В день генеральной репетиции мои железные доспехи не готовы. Мне пришлось надеть доспехи из очень твердого картона, в которых я играл «Британика» в театре «Буфф-Паризьен». Я сделал завивку и посыпал волосы и брови красной металлической пудрой. Разумеется, я волнуюсь

перед дебютом в «Комеди Франсез». И кто бы на моем месте не волновался? Меня одевают мой постоянный костюмер и костюмер театра. Я должен появиться только во втором акте. Жду, когда меня позовут. Я нахожусь на этаже Марс*. Я знаю, что если буду прислушиваться к происходящему на сцене, начну еще больше волноваться. Поэтому спущусь в последнюю минуту. У меня есть время до выхода, чтобы узнать, все ли в порядке на сцене. Говорят, что все идет хорошо. Чтобы не расстраивать меня, от меня скрыли, что мои декорации освистали. Вот и мой выход. Сначала появляется моя рука. Затем я распахиваю большой красный занавес: я нахожусь наверху лестницы, в центре сцены, неподвижный, освистываемый публикой. Это — скандал!

* Каждый из шести этажей «Комеди Франсез» носит имя известного актера, игравшего на сцене этого театра. Четвертый этаж назван в честь Анны Буле Марс (1779 - 1847), любимой актрисы Наполеона I.

При поступлении в театр я спросил господина Тушара, не боится ли он, что из-за меня будет скандал. Я забыл, что это возможно.

Публика ревет, свистит. Затем раздаются аплодисменты и крики «Браво!». Между зрителями идет настоящее сражение.

А я продолжаю неподвижно стоять, не раскрывая рта. В зале стоит такой шум, что моего голоса не услышали бы. Несколько минут я жду, пока публика успокоится.

— Не сомневайтесь, Бурр.

Наконец в зале наступает тишина. Мои товарищи вопросительно смотрят на меня, найду ли я в себе силы продолжать. Я чувствую, что говорю со злостью, это меня самого удивляет. Это война. И я хочу выиграть эту битву. Волнение охватывает меня с головы до ног. Правая нога дрожит, промокшие от пота доспехи лопаются, пудра осыпается с волос на лицо, грим слезает. Рукоплескания, раздавшиеся при моем появлении, заглушаются воплями и свистом. За кулисами меня обнимают, предлагают остановить спектакль. Но я твердо уверен, что нужно продолжать.

Судорога свела все тело, я испытываю физическую боль, пронзившую желудок. Снова выхожу на сцену. Вопли, аплодисменты, ободряющие крики, свист. Этот шум будет возобновляться при каждом выходе. В четвертом акте я даже слышу чей-то возмущенный вопль: «О! Снова он!»

Актеры, которых я просил говорить не очень громко, произносят тексты, как это было принято в то время в «Комеди Франсез», то есть максимально форсируя голос.

В пятом акте мое волнение усиливается. Наконец занавес опускается и сразу же снова поднимается. Гремят аплодисменты, почти заглушающие вопли и свист. Большинство зрителей хотят меня утешить, поддержать. Мне эта поддержка действительно не помешала бы, когда я преодолевал три этажа, ведущие к моей гримерной.

Жорж потрясен. Он впервые видит великий спектакль, который вызвал скандал! Жан называет меня великолепным Нероном, самым необычным из виденных им. Он возмущен этой травлей, но и горд тем, что и в этот раз моя судьба подобна его судьбе. Моя гримерная заполняется людьми. Актеры пришли поблагодарить меня, выразить свою поддержку.

Мнение прессы, как и мнение публики, разделяется. Меня называют либо «братом Расина», либо требуют заменить меня хорошим актером и вообще связать мне руки за спиной. Травля продолжается два месяца. Каждый вечер проходят манифестации. Вспоминают битву времен «Эрнани». Результат: зал переполнен. Я привыкаю к борьбе. Однажды мне пришла в голову мысль выйти на сцену перед началом спектакля и попросить зрителей не устраивать манифестаций, чтобы не мешать моим товарищам. За это я решил пообещать им, что один раз выйду на поклон без других актеров, чтобы они смогли освистывать меня, сколько им захочется.

В тот день, когда я собрался это сделать, никаких манифестаций уже не было!

Это настолько выбило меня из колеи, что я остался недоволен своей игрой.

На следующий день снова поднялся сильный шум в зале. И так в течение месяца — регулярно, через день. Как тут не поверить в травлю?

Однажды, в день очередной битвы, ко мне в гримерную пришел Лукино Висконти. Я очень огорчился, что он попал на спектакль именно в такой день. Но он в восторге:

— Только во Франции возможно такое — скандал из-за «Британика»!

Вскоре битвы вовсе прекратились. Но несколькими неделями позже освистали Жана Шеврие, игравшего Бурра. Тут же двое полицейских задержали юношу и девушку. Их допросили в присутствии Жана Шеврие и Мари Белл.

— Вы освистали Жана Шеврие, потому что спутали его с Жаном Маре?

— Нет, потому, что нам не нравится Жан Шеврие.

Мне рассказали этот случай.

По окончании спектакля актер «Комеди Франсез» господин де Шамбрёй, присутствовавший в зале, поздравил меня и спросил, где найти Мари Белл.

— Если ее нет в гримерной, она может быть в душе, я как раз иду туда.

Мы направляемся в душевые, де Шамбрёй идет впереди. Он позвал Мари. Через закрытую дверь Шамбрёй высказал ей свое восхищение.

Мари не знает, что я здесь. Я слышу, как она говорит господину де Шамбрёю:

— Ты видел, Жана Шеврие освистали, потому что приняли его за Жана Маре.

Жан показал мне письмо, которое ему прислал Роже Мартен дю Гар:

«Я обязан Вам чудесным вечером, дорогой друг. Жан Маре прост о великолепен. Я восхищаюсь им с самого начала его карьеры и думаю, что видел его во всех ролях. Однако вчера вечером мне показалось, что до сих пор я не знал всей глубины его дарования трагика. Меня потрясли его царственное благородство в позе, уверенность жестов, мощь голоса. Некоторые моменты интонации, некоторые моменты жестов и напомнили мне де Макса.

Удивительный сплав простоты, человеческих чувств и величия. Я два часа не отводил бинокль от его лица, я не упустил ни одного движения губ, ни одного взгляда из-под полупущенных век. Я знал, что он умен, начитан, знал, что он артист до мозга костей. И тем не менее я восхищен силой его экспрессии, тонкостью и разнообразием нюансов.

Простота возмущает сильно, когда думаешь обо всех глупостях, которые писали об этом героическом исполнении.

*Еще раз благодарю Вас, дорогой друг, всегда Ваш,
Роже Мартен дю Гар».*

Меня вызвал к себе господин Тушар.

— Садитесь, — сказал он. — Угадайте, кто вас приглашает на роль Ксифареса в «Митридате»? Ионнель.

* «Митридат» — трагедия Жана Расина (1673 г.)

Администратор часто говорил мне, что для этого человека я был воплощением всего, что он ненавидел в театре.

— Что вы намерены делать?

— Согласиться.

Этот актер традиционного стиля считал, не знаю уж почему, что я буду строить из себя звезду и не захочу подчиняться его указаниям. И был удивлен тем, что я всегда первым приходил на репетиции, старательно следовал его указаниям. Для меня это было естественно, поскольку я считаю, что, если ты согласился, чтобы тобой руководили, нужно слушаться. Очень скоро этот человек стал питать ко мне уважение и даже дружбу.

Спектакль имел большой успех. На этот раз я был принят публикой и критиками.

В истории «Комеди Франсез» постановка «Британика» была первым и пока единственным случаем, когда актер дебютировал одновременно как режиссер, декоратор и актер. В «Митридате» я довольствовался тем, что играл Ксифареса. Однако я не смог побороть желание улучшить свой костюм. В этом спектакле я снова встретился с Анни Дюко.

Мне предложили сыграть Ромео. Напрасно я объясняю, что стар для этой роли — мне исполнилось тридцать шесть лет. И мне не нравился перевод Сармана. Об этом, однако, я не говорил.

Зарабатывал я мало: восемьдесят тысяч франков в месяц, отказываясь от предложений сниматься в фильмах. Я хотел посвятить себя классической трагедии.

Мой импресарио переживала настоящую трагедию из-за того, что я должен был уплатить одиннадцать миллионов франков налогов. Она не представляла себе, как с моим маленьким жалованьем в «Комеди Франсез» (я получал меньше, чем главный машинист сцены) я смогу выйти из положения.

Меня пригласили на роль отца Роберто Бенци в фильме «Призыв судьбы». Предложили очень деликатно, опасаясь, что я откажусь играть отца. Я же, наоборот, согласился только по этой причине, так как собирался менять амплуа.

Подошло время отпусков. Значит, никаких проблем с «Комеди Франсез». Мне полагается три месяца отпуска.

Я уже готов отбыть в Италию, где должен сниматься фильм. Дирекция «Комеди Франсез» осведомляется, не смогу ли я отложить свой отъезд на два дня, чтобы сыграть «Британика» в классическом дневном спектакле в четверг. Ладно. Я договариваюсь с продюсером фильма. В четверг утром мне снова звонят из дирекции, чтобы предупредить, что после дневного спектакля будет репетиция «Ромео и Джульетты». Удивленный, я спрашиваю, настолько ли это необходимо, потому что на следующий день я уезжаю на три месяца. Не лучше ли все репетиции провести после моего возвращения. Дирекция соглашается и освобождает меня от репетиции.

Я играю «Британика». Между сценами отдыхаю в гримерной Рашель, которая служит нам фойе. Там меня нашел взбешенный Жюльен Берто.

— Итак, корчишь из себя звезду, отказываешься репетировать Ромео?

Я не отношусь к тому типу актеров, которым нужно много времени, чтобы сосредоточиться перед выходом на сцену. Но тем не менее мне важно быть спокойным и нормально себя чувствовать.

Поэтому я отказываюсь обсуждать этот вопрос с Жюльеном и прошу его уйти.

— Я здесь у себя, — кричит он (он — акционер театра, а я только актер на окладе).

— Тем более, если ты здесь у себя, то должен принять меня вежливо. Теперь будь любезен покинуть мою гримерную, или мне придется применить силу.

— Значит, ты не будешь играть Ромео.

— Тем лучше, у меня нет на это никакого желания. В тот же вечер я послал нашему администратору письмо с просьбой об отставке. Я уже не помню точных выражений, но это было примерно следующее:

«Господин администратор!

Я решил оставить актёрскую профессию на окладе всю жизнь, но если я терплю оскорбления от публики и прессы, я не позволю, чтобы актёр, являющийся акционером «Комеди Франсез», позволял себе относиться ко мне с меньшим уважением, чем ко мне относились, когда я работал актёром у Шарля Дюллена. Поэт ому прошу меня уволить».

И отправился в Италию. По дороге остановился в Сен-Жан-Кап-Ферра, чтобы обнять Жана. Я застал его негодующим на окружающую его роскошь. Мне знакомы такие его кризисы. Постарался его успокоить. Едва только я пересек границу, как увидел голосующего на обочине дороги человека. Останавливаюсь. «Куда вы едете?»

— спрашивает он. «В Рим». — «Я тоже». И зачем только я сказал, что еду в Рим! В мою машину садится некто очень странно одетый: на нем что-то вроде зеленого костюма с широкой черной полосой по шву драных брюк, порванная куртка, такая же грязная, как он сам. На ногах выдавшие виды сандалии. Белья у него не было. Наверное, когда его волосы чистые, он блондин. Видно, что он не брился несколько дней. Он худой и кажется некрасивым. Воображаю, какое темное у него прошлое. Скоро мне придется остановиться пообедать. Как же его пригласить даже в самую скромную харчевню. Он рассказал, что сидел в тюрьме и только что освобожден. Теперь едет в Рим, где живет его семья.

— Скажите, вы не хотели бы побриться? — спрашиваю я осторожно.

— Хотел бы, но у меня нет денег.

Я останавливаюсь возле парикмахерской в ближайшей деревне, даю моему спутнику деньги и жду его на террасе соседнего бистро. У меня возникает желание уехать. Но я не чувствую себя вправе поступить так. Вдруг подходит какой-то незнакомец. Ба! Да это же обладатель зеленого костюма. Да, это он, но неузнаваемый. Его не только побрили, но и подстригли, и причесали. Теплая салфетка после бритья очистила лицо.

Мы снова отправляемся в путь. Боясь его обидеть, я робко спрашиваю, не хотел бы он надеть чистое белье. Останавливаюсь прямо на горной дороге, открываю свои чемоданы и даю ему брюки, рубашку, сандалии. Возможно, он воспользуется этим пустынным местом, чтобы убить меня...

Мы останавливаемся у ближайшего ресторана. Я смотрю на своего спутника, он так преобразился, что стал почти красивым.

— Возьмите меня к себе на службу, я буду чистить вам обувь.

Наверное, это казалось ему выражением высшей преданности. Но я не мог оставить его у себя.

Я снимаюсь в фильме «Призыв судьбы». Мне доставляет огромную радость сниматься с Роберто Бенци, я играю его отца. Нет ничего более волнующего, чем видеть, как этот ребенок мгновенно превращается в выдающегося дирижера, а после этого снова становится ребенком. На первых репетициях многие музыканты не верили в его исключительный дар. Они расставляли ему ловушки. Роберто стучал по пюпитру своей дирижерской палочкой и кричал: «до-диез» или называл какую-нибудь другую ноту, которой ему не сыграли. Вскоре все его обожали.

Я согласился участвовать в этом фильме в надежде на то, что теперь меня будут приглашать не только на роли героев-любовников.

Вернувшись в Париж, я отправился к администратору «Комеди Франсез». На лестнице я столкнулся с Мари Белл и Фернаном Леду. Они стали расспрашивать о моих планах.

— Как? Вы не знаете, что я уволился?

Господин Тушар принял меня очень сердечно.

— Я никому не говорил о вашем уходе, надеюсь, что вы передумаете.

— Нет, господин администратор. Впрочем, все равно уже слишком поздно. Я только что сказал об этом Мари Белл и Фернану Леду.

Оказалось, что заявление нужно подавать за шесть месяцев до ухода. Следовательно, я должен работать в театре еще три месяца. Кроме того, Лоренс Оливье приглашает меня в свой театр в Лондоне, чтобы я показал свою постановку «Британика». Но, поскольку вместе со мной приглашается вся «Комеди Франсез», я не могу принять приглашение, если не буду членом труппы. Господин Тушар предложил возобновить контракт на год, обещая, что предоставит мне полную свободу.

Комитет направил письмо Лоренсу Оливье, в котором сообщалось, что я играл в двух пьесах Расина: в «Британике» и «Митридат». Ему советовали посмотреть обе и сделать выбор. Лоренс Оливье приехал в Париж и в субботу посмотрел вечерний спектакль «Митридат», а в воскресенье утром — «Британик». Это был последний раз,

когда я играл Нерона. Публика устроила мне овацию, и в конце спектакля меня одного вызывали на поклон не менее пятнадцати раз. Мне несли охапки цветов, а площадь перед «Комеди Франсез» была черна от народа, когда я выходил из театра. Толпа окружила меня. Каждый старался протиснуться поближе.

Вернувшись в Лондон, Лоренс Оливье сообщил, что он выбирает «Британик». Было еще несколько писем. В конце концов Лоренс Оливье прислал телеграмму. Телеграммы обычно кратки и точны, иногда их текст может показаться резким. Телеграмма Оливье была составлена следующим образом: «Если я не получу «Британика» с Маре, я отказываюсь приглашать «Комеди Франсез».

Значит, приглашают не «Комеди Франсез», а Жана Маре в окружении «Комеди Франсез»! Разразился грандиозный скандал.

Неожиданно серьезно заболела находившаяся в Голливуде Вивьен Ли, и Лоренс Оливье тут же отправился к ней. А администрация «Комеди Франсез» напрямую договорилась с театром Олд Вик, что труппа приедет со спектаклем «Британик» без Жана Маре.

19

Кокто снимает «Завещание Орфея». Мое участие ограничивается одним днем съемок, и я снова поражаюсь и восхищаюсь всем, что делает Жан.

Я отправляюсь в турне, которое устраивает Эрбер, играть в спектакле «Адская машина». Во время поездки я узнаю о смерти Ивонны де Бре. Она играла в пьесе Жана Жироду «Ради Лукреции». Однажды она сказала смеясь:

— Представь себе, меня просят играть в пьесе Жана Жироду.

— И что же?

— Я не могу играть в пьесах Жироду.

— Ты все можешь, Ивонна. Нужно, чтобы ты сыграла в этой пьесе.

Она сыграла потрясающе. Настолько потрясающе, что, когда она появлялась, все остальное становилось ничтожным.

Та зима была очень холодной. Она возвращалась из театра, расположенного неподалеку от ее дома, без пальто и заболела. Диагноз — гиперемия в результате воспаления легких. Она умерла в своей постели, читая книгу.

Я был потрясен. Мое горе было безмерно. И я сам удивился, что могу страдать так сильно. Я абсолютно не отдавал себе отчета в том, как сильно люблю Ивонну.

Первой моей мыслью было прервать турне и лететь в Париж. Вся труппа отговаривала меня, доказывая, что сама Ивонна предпочла бы, чтобы я остался.

— Что ты будешь делать в Париже? Лучше, если ты сохранишь ее в памяти живой.

Я остался. Вечером, после спектакля, друзья говорили:

— Когда ты сказал об Иокасте: «Она умерла», — это прозвучало очень убедительно и сильно.

— Если вы полагаете, что я думал об Ивонне, вы ошибаетесь, — ответил я. — Я ни секунды не думал о ней.

Ивонна так радовалась при мысли, что побывает в моем доме в Марне. Увы! Она не увидела его. Мой друг Люлю Ватье приходила в отчаяние от сумм, которые я тратил на содержание дома. Однако, видя, что она не сможет меня ограничить, уже гораздо позже она сказала:

— Чтобы заставить тебя сохранить хоть что-то, нужно позволить тебе тратить,

Подруга Жана Мисиа Серт говаривала:

— Люди, которые копят, ничего не имеют. Богат только тогда, когда тратишь.

Еще будучи совсем молодым, я заметил: когда я трачу, деньги сами текут ко мне, а когда экономлю — их приток прекращается. Я и сейчас придерживаюсь этого

принципа.

У меня всегда бывали то взлеты, то падения в области финансов. Пока я строил дом в Марне, то претерпевал период весьма угрожающего падения. Люлю рассказала об этом Жану, а он, чтобы помочь мне, предложил выкупить за четыре миллиона мою часть дома в Мийи-ля-Форе. Сумма показалась мне несколько маленькой, но я знаю, что дружба подвергается опасности, когда возникают денежные вопросы. Жан добавил, конечно, чтобы оправдать свое скромное предложение:

— Этот дом всегда останется твоим.

Я не хотел торговаться и сделал встречное предложение — выкупить его часть за шесть миллионов, при этом, разумеется, Мийи всегда останется его домом. И напротив, если он выкупит мою часть за шесть миллионов, эти деньги послужат мне для строительства Марн-ля-Кокет, который станет также и его домом.

Пока мы обсуждали сумму, мое финансовое положение улучшилось. В конечном итоге Жан выкупил мою часть в Мийи за шесть миллионов.

Я поселился в Марне, Жан часто приезжал туда.

— Твой дом досконально продуман, — говорил он, — хотя он новый, в нем есть душа.

И еще он как-то при мне сказал друзьям:

— Когда Жанно обзаводится домом, это отвращает вас от вашего.

Я снимаюсь в «Дортуаре для старшекласниц». Я упоминаю об этом фильме, потому что на съемках я познакомился с Жанной Моро, она играла эпизодическую роль. Я восхищен ее талантом и внешностью. Спрашиваю, какую роль она мечтает сыграть в театре. Оказывается, Элизу в «Пигмалионе»*.

* «Пигмалион» — пьеса Бернарда Шоу (1912).

Я пообещал поставить эту пьесу для нее. Альбер Виллемец предложил мне стать его компаньоном в театре «Буфф-Паризьен». Я становлюсь художественным руководителем театра. Чтобы положить хорошее начало, выбираю пьесу Жана и предлагаю Жанне Моро сыграть Сфинкса в «Адской машине» до «Пигмалиона», который я поставлю следующим.

Я пригласил на роль Иокасты Эльвиру Попеско, специально написанную для нее, от которой она поначалу отказалась. Пьеса заявлена на сорок представлений, но мы играем вдвое больше. Эльвира и Жанна великолепны.

Из уважения к памяти Берара я использовал его декорации. Режиссуру я осуществляю сам. Эльвира говорит более сложным языком, чем язык пьесы. Я обращаю ее внимание на это.

—Прррррава?

— Уверяю тебя. Поэтому ты и не помнишь текста. Постарайся произносить то, что написано у автора, и ты увидишь, насколько будет легче.

Она следует моему совету и говорит: «Верррррно».

Появление Эльвиры всегда сопровождалось аплодисментами. Когда появляюсь на сцене я, аплодисментов нет. Однажды, выйдя на сцену, я увидел, как стали хлопать в ладоши сначала рабочие сцены, а за ними и публика. Я покраснел от стыда. Вернувшись за кулисы, я попросил рабочих больше этого не делать. Они объяснили, что это Эльвира просила аплодировать при ее выходе, а они считают несправедливым не делать этого же для меня.

Этот случай напомнил мне о моем самом большом разочаровании в театре. Выше я рассказывал о том, что пока играл «Трудных родителей» в театре «Амбассадёр», мне аплодировали при каждом выходе и в середине второго акта. Я очень гордился этим. И вдруг на Рождество в мою гримерную стучатся какие-то молодые люди:

— Мы пришли за рождественскими подарками.

— Кто вы?

— Клакеры.

Ловко же все устроил мой директор господин Капгра! Какое разочарование! И какая гротескная ситуация! Оплачивать своих собственных клакеров...

Роль Сфинкса написана в восхитительно точном стиле. Актриса, исполняющая эту роль, должна как бы скользить по рельсам. Но Жанна противится моим указаниям. У нее свое видение, свой подход к роли, и я напрасно спорю с ней.

Через месяц после генеральной репетиции Жанна все же признала, что я был прав. Слишком поздно: она уже встала на другие рельсы, свои, и не могла с них сойти. И, несмотря на это, она была замечательна.

Мне предложили сняться в фильме «Жюльетта» по книге Луизы де Вильморен. Книга мне очень понравилась. Я читал ее в самолете и хохотал так громко, что пассажиры удивленно оборачивались в мою сторону. Я с радостью согласился сниматься.

Но, читая сценарий, я ни разу не улыбнулся. Сценаристка, стремясь оправдать свой контракт, все поставила с ног на голову! Я отправился к Марку Аллегре, чтобы отказаться от съемок. Он спросил о причине. Я прочел ему вслух отрывки из книги. Все присутствующие надрывались от хохота.

— Вот причина моего отказа. Все смешное выхолощено в вашем сценарии.

Меня спросили, не знаю ли я другого сценариста, поскольку Луиза отсутствует. Я позвонил Жану в надежде, что он согласится. Он направил меня к молодому талантливому журналисту Роже Вадиму. Все сложилось очень удачно: Вадим — друг Марка Аллегре.

У нас нет Жюльетты. Нужна пятнадцатилетняя девушка, которая обладала бы одновременно и сексапильностью, и чистотой. Мы не можем найти такую. Дома, в Марне, я рассказал об этом Жоржу, который жил у меня. Он вспомнил, что видел на обложке «Пари-Матч» именно такую девушку. Как-то вечером мы пошли на премьеру в «Лидо». В перерыве между двумя отделениями публика танцевала.

— Смотри, — говорит мне Жорж, — вон девушка с обложки «Пари-Матч».

Я замечаю Вадима за другим столиком и бросаюсь к нему:

— Смотри, вон Жюльетта! — И показываю ему на женщину-ребенка.

— Это моя жена, — отвечает он, — ее зовут Брижитт.

— Ты знаешь, что мы повсюду ищем Жюльетту. А внешность твоей жены в точности соответствует внешности персонажа, и ты молчишь!

— Потому что она моя жена. В любом случае уже слишком поздно. Сегодня Марк уже подписал контракт с Дани Робен.

Я разговариваю с Марком. Может быть, еще можно что-то изменить? Нет, слишком поздно, но он обещает занять ее в своем следующем фильме «Будущие звезды». Имя этой девушки Брижитт Бардо.

Во время представлений «Адской машины» Марк Аллегре каждый вечер приходил ко мне за кулисы, уговаривая сняться в «Будущих звездах». Я объяснял ему, что, поскольку я занимаюсь декорациями и играю главную мужскую роль в «Пигмалионе», мне трудно будет еще и сниматься. Это было правдой, но правдой было и то, что мне не нравился фильм. Да и Брижитт Бардо я не представлял себе в роли вагнеровской певицы... Но в конце концов я уступил.

Как я мог выполнять все эти обязательства одновременно? Кроме всего прочего, мне еще пришлось осуществлять режиссуру «Пигмалиона». Я выбрал Жана Валла в качестве режиссера, потому что мы очень хорошо работали с ним над «Шери». К несчастью, через три дня Жанна Моро заявила:

— Или он, или я. Я не могу работать под руководством Жана Валла, его указания всегда противоречат тому, что чувствую я.

— Кого же ты хочешь в качестве режиссера?

— Тебя.

Нужно было срочно что-то делать. По истечении шести дней контракт считается принятым, а при его расторжении приходится платить большую неустойку.

Больше всего я дорожу Жанной Моро. Пришлось пожертвовать Жаном Валлом.

И вот я — импровизированный режиссер. Подготовка декораций, примерка костюмов, режиссура, съемки, работа над ролью Хиггинса, роль в «Будущих звездах», участие в пьесе «Адская машина» — и все это одновременно! Я снимаю комнату в отеле напротив театра, сплю два часа в сутки. Любопытная деталь: профессор Хиггинс — пурист фонетики, а меня постоянно критиковали за то, как я говорю на сцене. То есть этой ролью я бросаю вызов. Так что помимо всей той работы, которую я взял на себя, мне пришлось еще выполнять упражнения по дикции, зажав карандаш между зубами. Со временем я убедился, что упражнения помогают мне поставить голос и снимают усталость голосовых связок. После этого спектакля я уже больше никогда не услышу замечаний по поводу своего голоса.

«Пигмалион» пользуется огромным успехом — каждый вечер мы играем при переполненном зале. Жанна Моро тоже имеет настоящий успех. Хвалят мое благородство по отношению к ней, потому что я строю мизансцену в ее пользу, а не в свою. Я объясняю, что делаю это с эгоистической целью: хочу, чтобы она стала звездой и чтобы мой театр работал и в случае моих вынужденных отлучек. Это была правда.

Жорж ушел из «Лидо». Он хочет иметь собственную труппу.

— Так создай ее, — посоветовал я.

— Но никто не ангажирует неизвестную труппу.

— Ты создай, а я обеспечу ей популярность. Он сформировал труппу. Я сделал макеты декораций, придумал костюмы. В театре «Буфф-Паризьен» снова оборудовали оркестровую яму. Я пригласил двадцать пять человек, в основном директоров мюзик-холлов. Но зал переполнен. Этого я не предвидел. Мне пришлось стать импровизированной билетершей и самому размещать людей. Спектакль длился всего сорок пять минут. Цель Жоржа — выступать в «Бобино» или в «Олимпии», то есть составлять часть программы. Мы показывали эти балеты днем, поэтому удалось пригласить оркестр из «Лидо». Джаз звучал совершенно фантастически в этом небольшом, прекрасно спроектированном театре. Он задал такой тон, что с момента поднятия занавеса и до финального аккорда аплодисменты не смолкали. Жорж едва успевал подписывать контракты.

Мой импресарио так хорошо составила мой контракт с «Буфф-Паризьен», что, если удача мне не изменит, я могу стать владельцем театра. Виллемец испугался и решил его продать. Я пользуюсь приоритетом как покупатель, но у меня нет необходимых средств.

Мне предложили сыграть в спектакле «Цезарь и Клеопатра» в «Театре Сары Бернар». Мы репетируем уже месяц, а до генеральной репетиции осталось две недели. Роль меня увлекает, потому что позволяет мне опередить свой возраст.

— Ты же не собираешься себя старить, — забеспокоился Андре Жюльен. — Я пригласил Жана Маре вовсе не для того, чтобы он себя обезобразил и состарил.

— Нужно воздать Цезарю Цезарево.

У моего Цезаря почти лысая голова, нос с горбинкой. Голос я также изменяю. Выхожу я спиной к публике, так как разговариваю со Сфинксом, находящимся в глубине сцены. Зрители не узнают моего голоса, я поворачиваюсь к залу, они не узнают моего лица. Я слышу, как один зритель в первом ряду говорит: «Это не Жан Маре играет». Именно этот невольный комплимент был одним из самых приятных в моей артистической карьере.

Жорж Невё написал мне письмо.

«Дорогой Жан Марс!

*Вам удалось все, вплоть до удивит ельной головы вашего персонажа. Считает ся, чт о юмор и величие несовмест имы. Вам удалась эт а сложнейшая задача — совмести т ь их. Ваш Цезарь — именно Цезарь Шоу, но в вашей т ракт овке он ст ановит ся героем. Да, эт о необыкновенно. Вашего Цезаря невозможно забыть ь. С дружеским привет ом,
Жорж Невё».*

Я занимаю примерную Сары Бернар. Мне немного совестно нарушать неприкосновенность места, которое должно было бы быть запретным для всех. Ее телефон еще здесь. Как бы мне хотелось, чтобы она позвонила! Я вспоминаю Дюллена, он тоже нарушил табу этого святилища, заняв его в свое время, как я занимаю его сегодня.

Дюллен... Сколько воспоминаний! Я не переставал почитать его. Помню, как радостно он меня встретил, когда я проводывал его в больнице Ларибуазьер. «Ты пришел, ты!» В этих словах было столько признательности... Я любил Шарля Дюллена, как любил театр, и театр, как и я, потерял с его смертью что-то очень важное.

20

Я участвую в нескольких фильмах, один из которых снимается в Японии, два в Югославии и один на Корсике.

Жорж уезжает в Голливуд, где будет сниматься с балетом Ролана Пети в «Хрустальном башмачке» — Лесли Карон в главной роли. Он приглашает меня приехать туда к нему в отпуск. Если я поеду в Голливуд без официального приглашения, могут подумать, что я приехал в надежде получить контракт. Мне этого не хотелось, но я все же поехал. В Нью-Йорке нужно сделать пересадку на внутреннюю линию. Предстояло шесть часов ожидания. Ко мне бросаются фоторепортеры. Но не потому, что я очень известен в США, просто авиакомпании сообщают фамилии V.I.P.* А в самолете Париж — Нью-Йорк не оказалось другой персоны, которая могла бы заинтересовать прессу. Мне задают вопросы:

- Вы останетесь в Нью-Йорке?
- Да.
- Подождите минутку, мы приведем журналистов.

* Very important person — высокопоставленное лицо (англ.)

Но я сбежал. На такси я добрался до города, снял номер в отеле, принял душ и вышел побродить. Никто меня не останавливал. Только одного негра я, кажется, заинтересовал. Он подошел ко мне и спросил, французский ли на мне костюм. Я был разочарован, потому что считал, что одет как американец.

На внутренних линиях персонал не предупреждает, кто находится в самолете. Жорж встретил меня в зале прибытия. Он снял с друзьями дом в обычном квартале. В Голливуде я провожу время, занимаясь хозяйственными делами, готовлю для всех, мою посуду. Я никуда не выхожу, бываю разве что у Ролана Пети, у которого есть бассейн. Я съездил только в Салтон-Си и Сан-Франциско.

Когда я захожу в магазины за покупками, меня спрашивают:

- Вы француз?
- Да.
- Вы работаете в МГМ, как и ваши товарищи?
- Нет.
- А чем вы занимаетесь?
- Живописью.

Жорж удивлялся, что торговцы помогали мне донести покупки до самого дома. Здесь это не принято. Поскольку дом находился близко от рынка, я не мог даже

воспользоваться машиной Жоржа. Впрочем, я вообще не осмелился бы сесть за руль. Огромный поток машин и многочисленные ремни приводили меня в ужас: я боялся в них запутаться.

Пришла телеграмма от Эдуара Дермита. Жан очень болен, у него инфаркт. Я срочно возвращаюсь в Париж. Близкая подруга Жана превратила свой дом в клинику. Лифтом пользоваться запрещено, чтобы избежать шума. В доме постоянно находятся медсестры, врачи. Мне не разрешили свидание сразу же по прибытии. Жан знает, что я в Голливуде, и мое возвращение может быть для него потрясением. Я в смятении и тревоге.

Наконец на следующий день мне разрешили его повидать. Жану объясняют, что мне пришлось вернуться из-за срочной работы. Он лежит совершенно неподвижно: ему нельзя даже шевельнуть головой. Он улыбается.

— Они снова сделают меня наркоманом, — говорит он, — мне колют морфий.

Врач отвел меня в сторону, чтобы успокоить. Он объяснил, что ежедневно снижает дозы и скоро в шприце не будет ни одной капли морфия.

Жан разговаривает, шутит. Какое мужество! Прикованный к постели, он по-прежнему элегантен и благороден.

В мельчайших своих поступках он остается поэтом. Я сказал ему об этом. Он снова улыбнулся:

— Моя мать сказала однажды: «Не знаю, как мне удалось родить поэта, это очень трудно».

Профессор Сулье просил меня не позволять ему много говорить. И я, будучи по натуре неразговорчивым, вынужден говорить, чтобы ему приходилось только слушать. Я рассказываю ему о Пике, где я видел, как ящерицы, эти пугливые животные, которые обычно не подпускают человека близко к себе, взбираются на ногу посетителя и позволяют гладить себя тросточкой.

— А помнишь, на острове Самоа загорал совершенно обнаженным и заснул. А когда проснулся, перед тобой стоял молодой англичанин. Твое тело облепили ящерицы, кузнечики, бабочки, а мужские достоинства были прикрыты книгой, которую англичанин положил для приличия. Эта принадлежавшая ему книга была твоя пьеса «Орфей».

После длительного восстановительного периода по совету врача Жан поехал в горы. Оттуда он прислал мне стихотворение.

Открытка на память

Под снегом зимородок спит.
Где? Угадайте. Сам не знаю.
В таверне «Серна Золотая»
Нам зимовать судьба велит.

Рассвет над горною грядю
Снег в белый бархат обратил.
И в синь небес, мой друг, с тобою
Взлетели мы без всяких крыл.

Пока мы там с тобой парили,
Смертельный холод нас сковал,
И души медленно застыли, —
В них крокус майский крепко спал.

Но зимородок вновь проснется —
Весенний крокус снег пробьет,

И путь к тебе опять найдет
Мой крик, что из груди несется.

Жорж мечтает поставить балет. Я посоветовал ему найти сюжет, который раскрывался бы в нескольких, отличающихся друг от друга, балетах. Он согласился, но не мог найти тему. Я предложил сюжет «Ученика факира» и посоветовал найти опытного литератора для написания текста. Вскоре после этого я уехал в Италию на съемки в «Белых ночах» у Висконти. Роль небольшая, но какое несравненное счастье работать у этого великого режиссера. К тому же он мой друг! Когда он бывает в Париже, всегда подает мне весточку. Однажды за ужином он рассказал, что ищет актера для своего будущего фильма. Я перечислил ему фамилии актеров.

Безрезультатно.

— Назови мне звезду, которая воплощала бы твой персонаж, — говорю я ему, — чтобы я представил себе тип нужного актера.

— Ты, — ответил он.

— Тогда почему ты не предлагаешь мне сниматься?

— Потому что это небольшая роль.

— У тебя не бывает небольших ролей. Я согласен.

Во время съемок я получил письмо от Жоржа. Он просил письменно изложить сюжет «Ученика факира», прежде чем он будет договариваться с автором. Я нацарапал сюжет и поясняющие его тексты песен, сделав пометку, что это только наброски и нужно найти талантливого человека, который напишет настоящий сценарий.

Вскоре я возвратился в Париж. Жорж обратился к талантливому американскому музыканту Джеффу Дэвису с просьбой написать музыку к будущему спектаклю.

— Так ты отнес кому-нибудь сюжет?

— Нет. Мы с Джеффом Дэвисом решили, что ты очень хорошо написал. Мы поставим спектакль по твоему сценарию.

— Но я же не писатель.

— Джефф уже начал сочинять музыку. То, что ты написал, превосходно.

— Нужно по крайней мере внести исправления, отредактировать...

И вот помимо воли я стал автором музыкальной комедии!

Снова мне пришлось уехать на съемки. На этот раз в Югославию. Там я получил письмо от Жоржа, в котором он просил меня нарисовать эскизы костюмов. Это было нелегко сделать, потому что костюмы должны были полностью трансформироваться, превращаться в другие на глазах у зрителей. Я нарисовал эскизы и послал, их Жоржу, советуя обратиться к хорошему дизайнеру. По возвращении я узнал, что оставили мои эскизы. То же самое получилось с декорациями и с афишей. Постепенно весь спектакль оказался на мне, поскольку меня попросили быть режиссером и распорядителем. Я потерял на этом кучу денег, хотя зал был все время полным и спектакль пользовался большим успехом. Дело в том, что у меня нет чувства меры, я не коммерсант. Были задействованы оркестр из пятидесяти музыкантов и большая балетная труппа, некоторых исполнителей специально пригласили из Америки. Кроме того, декорации и костюмы изготовили в неопишемом количестве. Я купил также для этого спектакля номера иллюзионистов (так я узнал, что все покупается...).

Словом, даже при полных залах мы терпели убытки. К счастью, спектакли продлились всего два месяца и получили благоприятные отзывы иностранной критики — американской, немецкой, английской. Французская критика упрекала меня в том, что я заставил петь танцоров, а петь они якобы не умеют. В качестве доказательства обратного я приведу только один пример. Моя звезда, профессиональная танцовщица Николь Круазиль с тех пор с большим успехом выступает как певица.

Во время репетиций этой музыкальной комедии со мной приключилась любопытная история.

Когда я вернулся в Марн, моя экономка Элоди рассказала, что мне несколько раз

звонил какой-то барон.

— Я не знаю никакого барона.

— Это барон де Р.

— Я не знаком с бароном де Р.

— Насколько я поняла, речь идет о нотариальном деле.

— В таком случае нотариус мне сообщит.

Как-то утром, когда я был дома, позвонил барон и сказал, что хочет со мной встретиться.

Я объяснил, что у меня много работы и я совершенно не располагаю свободным временем. Тогда он рассказал невероятную историю. Только что умер его брат, а дочь барона де Р. — единственная наследница. Она получит по наследству миллиард при условии, если выйдет за меня замуж.

— Что?! — воскликнул я.

— Мой брат ненавидел мою дочь. Он знал, что она не любит актеров, и вас в частности. Он хотел над ней посмеяться.

— Но, месье, я вовсе не намерен жениться.

— Вы получите пятьсот миллионов и разведетесь потом, если захотите. Моя дочь будет этому только рада.

У меня такое впечатление, что я участвую в каком-то смешном спектакле. Может быть, это шутка? Чтобы убедиться в этом, я соглашаюсь встретиться с бароном на следующий день в перерыве между двумя сценами «Ученика факира».

Я рассказал эту историю коллегам. Мы решили, что я приму барона в кабинете, отделенном от соседнего помещения тонкой, не доходящей до потолка перегородкой. Мои товарищи будут в соседней комнате, оттуда все слышно.

Появился барон, он представил меня своей дочери. Он очень высокий — почти гигант, довольно элегантный, с тщательно подстриженными седыми волосами и усами. У дочери вид не очень утонченный, несмотря на тщетные попытки придать своим манерам изящество и благородство.

Барон повторил то, что уже рассказал мне по телефону.

— Но я не хочу выходить замуж за этого господина, — говорит его дочь очень высокомерно.

— Успокойтесь, — отвечаю я. — У меня тоже нет намерения жениться.

— Папа, ты выставляешь меня в смешном свете. Пойдем.

Остолбеневший, я присутствую при ссоре между отцом и дочерью. Барон доходит до того, что дает ей пощечину. Очень сухо я попросил их удалиться.

Мои товарищи вышли из соседней комнаты, и мы все вместе долго смеялись. Без сомнения, речь шла о каком-то мошенничестве. Жаль, что я так и не узнал, как закончилась бы эта история, прими я предложение.

— Ты прав, — сказал Ален Нобис, работавший у меня ассистентом режиссера, — этот барон похож на бывшего лейтенанта Ставиского*.

* Известный мошенник, замешанный в скандале с банком «Креди Мюнисипаль» (1934).

А эти пятьсот миллионов хорошо поправили бы мои дела, потому что после «Ученика факира» у меня был трудный период как в области финансов, так и в работе.

Театр «Амбассадёр» предложил мне пьесу Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Луизе де Вильморен заказали сделать французский вариант. Поскольку в пьесе только два персонажа, я отказываюсь быть режиссером. Называю имя Лукино Висконти. «Он никогда не согласится!» — отвечают мне.

Но он согласился. Может быть, из дружбы, может быть, потому, что я согласился играть в «Белых ночах». Я испытываю великое счастье снова работать под его руководством и не устаю восхищаться его гениальностью. Анни Жирардо, игравшая женскую роль, проявляла такой же энтузиазм, как и я. Лукино одинаково хорошо давал указания по мужской и по женской роли. Он без конца находил для нас бесподобные

детали. Он фантастический актер, и я почти сожалел, что он сам не играет эту роль, настолько он был в ней удивителен, настолько воплощал персонаж. Он был также автором декораций.

Спектакль имел большой успех на премьере, но в последующие дни билеты продавались плохо. Благодаря Анни Жирардо все уладилось. В своих статьях критики провозгласили ее новой Режан. После этих статей «Пари-Матч» дал репортаж на трех страницах об Анни, новой Режан. На следующий день зал был полон. Предварительная продажа билетов шла хорошо.

Анни — замечательная партнерша на сцене и прекрасный товарищ в жизни. Я никогда не встречал такой актрисы. Точная, собранная, дисциплинированная, она всегда следовала режиссерским указаниям и никогда не пыталась выиграть за счет своего партнера. Хотя необходимость играть каждый вечер одну и ту же роль ее огорчала, она выкладывалась полностью на каждом представлении.

В одной из сцен я должен был сладострастно целовать ее, чтобы она спросила: «Сколько дней вы постились?» Это вызывало смех. На одном представлении наши зубы столкнулись с таким стуком, что в зале наступила мертвая тишина. Мы оба серьезно испугались за свои зубы.

Пока я был занят в этой пьесе, жизнь меня не баловала. У меня был трудный финансовый период. Кроме того, заболел брат. Его врач сказал, что брату осталось жить полгода. Я забрал его к себе. Дом в Марне был идеальным местом: одноэтажный, окруженный садом, недалеко от Парижа.

В это же время Жорж ушел из дома. Я заметил, что он стал каким-то другим: печальным, озабоченным. Я с улыбкой спросил, не влюблен ли он? Он разрыдался — я попал в точку. Я обнял его, стараясь утешить.

— Чего же ты плачешь? Это замечательно — любить, я помогу тебе быть счастливым. Если бы ты заболел, я бы тебя лечил. Так вот, считай, что я тебя лечу.

— Ну а тебя, тебя кто будет лечить?

— Мне никто не нужен. Я сильный. Этот дом твой, Жорж. Ты можешь принимать кого хочешь.

И все-таки он ушел.

Я ощутил пустоту. Я строил этот дом в надежде на то, что ему здесь понравится. Очень трудолюбивый, он привносил в жизнь дома в Марне свет и солнце. Я относился к нему, как к младшему брату. Возможно, я хотел стать для него тем, кем был для меня Жан. Но я не был Жаном Кокто, я не обладал ни его культурой, ни его умом, ни его гениальностью.

По окончании представлений «Рыцарей Круглого стола», первой настоящей пьесы Жана Кокто, которую я сыграл, я говорил себе: «Нужно платить, платить, платить». Так вот, очевидно, я платил за то, чем я был в жизни. Возможно, это была расплата за ту боль, которую я причинил Жану. Я написал ему об этом. Он ответил, что я никогда не причинил ему ни малейшей боли и; если я хочу, он бросит все и приедет. Жан был на юге Франции. Я знал, что он завершает там большую работу, поэтому ответил, что он доставит мне огромную радость, если приедет на один-два месяца в Марн, когда закончит свой труд.

Он написал, что это невозможно.

Вечером я ужинаю со своим больным, то есть с моим братом Анри, с матерью и племянницами. Потом смотрю телевизор, смотрю, но ничего не вижу, ничего не слышу. Отправляясь спать, иду в свою комнату, но не останавливаюсь там. Сам не зная зачем, прохожу в комнату Жоржа. У меня нет никакого желания выходить из дома, но пока я так думаю, ноги несут меня в мою комнату, я одеваюсь, выхожу, сажусь в машину. Машина с открытым верхом, и я надеюсь, что воздух меня освежит. Включаю радио и медленно еду без всякой цели. Я в Париже. До площади Согласия я не думаю о том, куда еду. Я думаю о Жорже. Где он? В Канне. Мне хотелось, чтобы он был счастлив. Клянусь, это правда. Неужели я лгу самому себе? Не думаю, и все-таки мне грустно. Я запрещаю себе грустить.

Ну, если бы в восемнадцать лет я проснулся утром в своем собственном доме, который люблю, стоящем без фундамента на естественном зеленом ковре, с бассейном, художественной мастерской, если бы у меня была эта машина, в которой я еду сейчас, известное имя, роли, был бы я грустным? Нет... Значит... Значит, просто мне не восемнадцать лет.

На углу улиц Сент-Оноре и Сен-Рош я зашел в знакомый бар, заказал виски. Чувствую себя неловко, оттого что я здесь один. Я уже жалею, что зашел. Хочу уйти, но не уйду. На меня посматривают с любопытством. В конце концов, я возвращаюсь в Марн. Перед тем, как лечь спать, звоню Мадлен, подруге Жоржа, у которой он живет. Она, кажется, обрадовалась, услышав мой голос.

— Я звоню, чтобы поздравить тебя с праздником, завтра праздник святой Магдалины.

Она передает трубку Жоржу. Разговор не клеится, то и дело возникают длинные паузы. Он снова передает трубку Мадлен. Она посоветовала мне выпить скотч. Они с Жоржем тоже выпьют. Таким образом, мысленно мы выпьем вместе. Я пообещал и повесил трубку, погасил свет. Чтобы заснуть, я грежу наяву до тех пор, пока смогу грезить во сне. Мой сон наяву странен, и мне нечем гордиться. Мне даже стыдно. Это сон плохого актеришки. Я представляю себе, что снова звоню Мадлен и заявляю, что в честь ее праздника я кончаю жизнь самоубийством. В ответ я слышу:

— Что? Что ты говоришь?

— Я вскрываю себе вены, пока звоню тебе.

— Ты с ума сошел. Жорж! Жорж!

— Я подумал, что твоим клиентам на пляже будет интересно завтра узнать подробности моего самоубийства. Я поставил вокруг себя сосуды, кровь течет в них.

Я слышу: «Жорж! Жорж! Жанно вскрыл себе вены. Вызывай «скорую помощь»! Звони в какую-нибудь парижскую больницу!»

Настоящий телефонный звонок отрывает меня от этих глупостей. Это Жорж. Он позвонил, чтобы сказать, что они выпили виски, думая обо мне.

— Я тоже.

Я забыл сказать, что выпил виски перед тем, как лечь.

— Я не привык пить один, это на меня очень странно подействовало.

Он смеется.

Я пытаюсь читать. Не получается. Не могу заснуть.

На следующий день я работаю в мастерской, готовлю декорации для пьесы Робера Ламурё, продумываю режиссуру пьесы «Пел соловей». Робер уже вторично обращается ко мне, и я тронут его настойчивостью.

Я открыл для себя новый способ живописи. Работая сразу над несколькими полотнами, я могу отдохнуть от одного, работая над другим. Но мне всегда трудно определить, когда картина завершена. Я то и дело возвращаюсь к ней. Это недостаток, имеющий, однако, определенные преимущества. Например, это позволяет мне пройтись, если можно так выразиться, каждый день по лицам моих лучших друзей Жана и Жоржа. В портрете Жоржа я дорисовываю его собаку Кюрану, которую он мне оставил. Я сделал так, что его рука лежит на ошейнике Кюраны. Его рука — это моя рука.

Я собираюсь в Германию в четвертый раз получать «Бамби» (немецкого «Оскара»). Я прошу перевести текст моей речи, чтобы произнести ее по-немецки. Вот она:

«Высокая честь, кот орую вы мне оказывает е, предст авляет ся мне доказат ельст вом беспримерной верност и. Поскольку я знаю, чт о она адресует ся больше Франции, чем мне, и поскольку я ст авлю моральные качест ва арт ист а гораздо выше его т алант а, я испыт ываю безграничную благодарност ь, кот орую и хоч у выразит ь вам от всего сердца».

Когда мне выпадает такая честь, я прихожу к выводу, что труднее понравиться самому себе, чем другим. Здесь есть определенный парадокс: других в нас чаще привлекают наши недостатки, которые со временем формируют нашу личность.

Если ты считаешь себя несовершенно — тебе повезло. Будь я уверен, что достиг совершенства, моя профессия утратила бы для меня интерес.

Мы рождаемся красивыми или безобразными, умными или глупыми, одаренными или нет. И за это мы не ответственны. Удача моей жизни состоит в том, что я пытался исправить недостатки, стоящие между тем, чем я хотел бы быть, и тем, чем являюсь. Моя удача была в том, что я любил театр, рисовал картины, требующие внимания в течение долгих месяцев и не позволяющие мне оставаться бездеятельным.

У Розали не было этого везения. Сколько раз я с сожалением думал об этом! В противном случае она, конечно, не пускалась бы в авантюры и не сделала бы свою жизнь такой драматичной. Уже давно у нее не было необходимости «работать». Однако, когда она дарила подарки моему брату, невестке, племянницам и мне, по некоторым признакам я мог определить, что она их не покупала. Я молчал в присутствии других, но наедине упрекал ее в том, что она не сдержала слова. Это порождало конфликты, делавшие и ее и меня несчастными.

Она, со своей стороны, попрекала меня моими друзьями. Ни один не был достоин ее снисхождения. Она говорила о них в недопустимых выражениях, но я не мог не признать, что в ее словах была доля истины.

Однажды Жан очень серьезно заявил мне, что хочет жениться на Розали, а потом усыновить меня. Таким образом, я стану его настоящим сыном.

— Никогда не делай этого, — сказал я ему. — Как только у Розали будет обручальное кольцо на пальце, она превратится в Венеру Илльскую. Как статуя Мериме, она раздавит тебя.

Прошло два года после смерти Ивонны де Бре. Ее мать пожаловалась как-то моей костюмерше, которая раньше была костюмершей Ивонны, что у меня в гримерной нет фотографии ее дочери, хотя есть фотографии других партнерш. Это была правда. Зная ревность Розали, я спрятал фотографию Ивонны.

Моей костюмерше пришлось пойти на святую ложь. Она сказала, что фотография есть, что она находится на зеркале слева. Чтобы частично оправдать свою ложь, она повесила фотографию.

Моя гримерная находится очень далеко от улицы. Добраться туда можно, пройдя по коридорам и двум пролетам лестниц. Но уже с улицы я слышу вопли. Узнаю голос матери. Поспешно поднимаюсь. Она увидела фотографию Ивонны, Жанна, моя костюмерша, объяснила, что это она повесила ее.

— Она поступила правильно, — сказал я. — Эта фотография останется там, где она находится. С моей стороны было бы малодушием не повесить ее здесь.

— Я выйду в зал, когда ты будешь играть, и крикну публике, что де Бре была пьяницей и дрянью.

— Ты устраиваешь мне сцену, будто ты мне не мать, а любовница.

Мне нужно было одеться, загримироваться, подготовиться к выходу на сцену. Я играл «Пигмалиона». Я попросил мать оставить меня.

— Ты меня прогоняешь?

— Я тебя не прогоняю, но для того, чтобы играть, нужен минимум душевного спокойствия. Если бы я был наладчиком на заводе или служащим в банке, ты не приходила бы устраивать скандалы. Окажи мне услугу — уйди, пожалуйста.

— Ты меня прогоняешь! Хорошо. Ты меня больше никогда не увидишь.

Она ушла. В тот вечер я играл кое-как. Когда после окончания спектакля я вернулся в гримерную, меня позвали к телефону. Нужно было спуститься к консьержке.

— Скажите, что я ушел.

— Это из больницы Ларибуазьер по поводу вашей матери.

Я иду к телефону. Меня просили немедленно приехать в больницу.

— Это серьезно?

— Нет, приезжайте.

Я мчусь на своей машине. Весь персонал встречает меня во дворе.

— Успокойтесь, — говорят они. — Ее нашли без чувств на перроне метро и привезли к нам. Она сказала, что она ваша мать, что вы играете в театре «Буфф-Паризьен». Ей измерили давление, сделали электрокардиограмму. С ней все в порядке. Сначала мы ей не поверили, подумали, что имеем дело с симулянткой. Но потом поняли, что это не так. Вы заберете ее домой?

— Да, завтра я попрошу профессора Сулье осмотреть ее.

— В этом нет необходимости — сердце у нее в порядке.

— И все-таки я проконсультируюсь с профессором Сулье.

Мне удалось добиться встречи с этим известным профессором только благодаря помощи Жана Кокто, которого он лечил. Но мать отказалась пойти на прием.

В другой раз я снимался на Корсике в «SOS Норона». Розали гостила в Марн-ля-Кокет. Жорж был в Америке. Вернувшись, он позвонил мне в Кальви, где проходили съемки.

— Я звоню от консьержа. Твоя мать не впускает меня в дом.

Я пришел в бешенство. Позвонил Розали и потребовал, чтобы онапустила Жоржа, объяснив, что мой дом — его дом.

— Хорошо, — ответила она. — Тебя не было, и я не знала, должна ли я впускать его. Мало ли что может быть. Господи! Что бы я ни сделала, все плохо.

— Послушай, ты егопустишь, он у себя дома. Ты меня поняла?

Бедная женщина начинала плохо слышать.

— Да, я поняла.

— Но я прошу тебя не приезжать на Корсику, как было договорено раньше. После всего, что сегодня произошло, я не смогу быть с тобой любезным.

— Договорились, я приеду.

— Нет! Я тебе говорю не приезжать.

— Я буду в субботу, как договорились.

Я кричу в трубку:

— Нет, не приезжай.

— Не беспокойся за меня, я сумею сама сесть в самолет.

— Я говорю «нет»...

На этот раз она действительно меня не слышала, потому что повесила трубку. Весь «Отель де Кальви» собрался вокруг меня и в изумлении слушал наш разговор.

В субботу она приехала. Здесь не было моих друзей, и она была очаровательна. Она могла быть остроумной и веселой, когда хотела этого. Все сразу полюбили ее. Но ее стихией были несчастья и катастрофы. Она была бы по-настоящему счастлива, будь я покинутым, больным, чтобы она могла заключить меня в свои объятия и ухаживать за мной, потому что она меня обожала. У нее совершенно отсутствовала всякая материальная заинтересованность, совсем наоборот. Чтобы сделать ей подарок, помимо тех денег, которые я ежемесячно давал ей на хозяйство, мне приходилось прибегать ко всяческим хитростям. Все, что я ей дарил, она считала слишком дорогим, слишком красивым. Напротив, если я привозил подарок из путешествия, она была счастлива, потому что видела в этом доказательство того, что я думал о ней. Я писал ей почти каждый день, но ей этого было мало. Тогда она посылала мне письма, полные упреков, на которые я вынужден был отвечать. Наверное, она воображала, что я пишу исключительно для того, чтобы оправдаться, и умножала упреки. Все это было следствием ее одиночества. Бабушка умерла, брат женился. Розали жила с домоправительницей, женщиной ее возраста. Чего только не приходилось от нее терпеть бедной женщине!

Квартира на улице Пти-Отель, в которой жила мать, стала неописуемой: грязные стены, старая мебель, кое-как починенная усилиями пожилой женщины, разрозненная посуда, чаще всего треснутая, стол в гостиной, постоянно заваленный коробками с

моими фотографиями в разном возрасте, списками, счетами, конвертами, марками, наконец, всем, что ей было нужно, чтобы отвечать моим поклонникам. Она жила как бродяжка. Но когда она выходила на улицу, предварительно потратив часы, чтобы накраситься и одеться, она выглядела почти элегантно, хотя ее вкус очень изменился. На людях и дома — это были два совершенно разных человека. Всю жизнь она была двойственным существом.

Когда я был еще ребенком, мать взяла с меня слово, что я скажу ей правду, если когда-нибудь она наденет смешную шляпу. Я вспомнил о своем обещании и однажды сказал ей правду. Она восприняла это как проявление жестокости с моей стороны и, конечно, не последовала моим советам.

Ей хотелось, чтобы я чаще приходил к ней. Но ни мой брат, ни я, ни, впрочем, никто другой не имели права прийти, не предупредив заранее.

Я предложил ей сменить квартиру и выбросить все, чем завалена ее нынешняя. Такой совет показался ей безумным.

Кроме праздников, мать приезжала в Марн каждое воскресенье. Кухня была ее столом справок. Персонал рассказывал ей с моего разрешения обо всем, что здесь происходило. Все это были милые и преданные мне люди, настоящие друзья.

— Что нам делать, когда мадам Маре станет нас спрашивать? — спросили они меня с самого начала.

— Отвечать правду. Старайтесь делать так, чтобы она никогда не могла вас ни в чем упрекнуть.

У Розали была своя тактика — заставить собеседника солгать ей, пусть даже из вежливости, обещать какой-нибудь пустяк, который он забудет сделать, с тем, чтобы впоследствии поймать его на этом.

Чтобы я не заподозрил Жака и Элоди в том, что они разглашают мои тайны, она придумала таинственную мадам Жандр, которая якобы живет в ее квартале и, будучи человеком моей профессии, сообщает ей эти сведения. Я делал вид, что верю, но часто это приводило к стычкам. Воскресенья становились все более и более тягостными. Друзья старались не приходиться в этот день. И все-таки я хотел, чтобы Розали переехала в Марн. Жан говорил:

— Я тебя знаю, через неделю после переезда матери ты переселишься в отель.

21

Однажды я получил письмо.

«Мадам Пьер Мут он, сохранившая о господине Жане Маре наилучшие воспоминания, хот ела бы предупредит ь его о безнадежном сост оянии здоровья его от ца. После т рет ьей операции по удалению опухоли предст ат ельной железы мет аст азы распрост ранились на област ь мочевого пузыря. Больной вынужден был покинут ь свой дом в Шербуре, на улице Дюше, 28, и лечь в клинику Экердрвилль для переливания крови. Он не знает о моем письме».

Сначала я не понял, о чем идет речь. Вместо «отец» я понял «брат» (мой брат был очень болен). А потом слово Шербур все мне объяснило. Речь шла о моем отце.

Фамилия этой мадам Мутон ни о чем мне не говорила. Может быть, она родственница? Да и правда ли то, что написано в письме?

Я позвонил в клинику, спросил о господине Маре. Объяснил, что речь идет о больном, которому только что сделали операцию. Меня спросили, кем я прихожусь больному.

— Я его сын Жан Маре.

На противоположном конце провода наступило долгое молчание. Наконец мне сказали, что отец выписался из клиники две недели назад. Когда я спросил его адрес, снова наступило молчание. По-видимому, они подумали, что если я действительно

сын, то должен знать адрес отца. Мне ответили, что адрес им неизвестен. Думаю, им показалось странным и подозрительным, что сын звонит с опозданием на две недели и не знает адреса собственного отца. Я повесил трубку. Возможно, в письме этой госпожи Мутон указан правильный адрес.

«Дорогой от ец».

Должен я говорить ему «вы» или «ты»? Подходит ли слово «дорогой» для человека, который никогда не давал о себе знать?

У меня нет копии этого письма, но вот его примерный текст:

«Дорогой от ец!

Я получил письмо от некой госпожи Мут он, сообщившей, чт о т ы болен. Я звонил в клинику Экердрвиля, но т ы от т уда уже вышел. Я всегда хот ел вст рет ит ься с т обой. Два года назад я пыт ался т ебя разыскат ь, но безуспешно. Хочешь ли т ы, чт обы я приехал? Желат ельно, чт обы эт о было в понедельник, эт о мой выходной день. Я приеду т олько с т воего разрешения и если т ы сам эт ого хочешь.

С искренней любовью

Твой сын Жан».

С обратной почтой я получил следующее трогательное прекрасное письмо.

«Мой дорогой Жан!

Приезжай, пот ому чт о я т оже жду т ебя много лет . Ты увидишь очень изменившегося от ца, по крайней мере внешне. Но эт о не важно, пот ому чт о, приехав ко мне, движимый искренним порывом, т ы совершишь чудо, на кот оре я уже не надеялся. Телеграфируй мне, в какой понедельник т ы рассчит ываешь приехат ь, сейчас или позже, как позволит т воя работ а в т еат ре. И не забудь ут очнит ь, в какое время т ы придешь на улицу Дюше. Несмот ря на мое плохое самочувст вие, я с радост ью в сердце обнимаю т ебя и говорю:

«До скорой вст речи».

Твой от ец Альфред Маре».

Я не могу поверить, что он ответил так быстро. Я читаю и перечитываю его письмо, оно мне кажется прекрасным: простым, волнующим и точным. Я взволнован. Я отправил ему телеграмму:

«Понедельник девят ого буду улице Дюше десят ь часов очень взволнован т вой сын Жан».

В субботу еду на вокзал Сен-Лазар. С этим вокзалом связано все мое детство. Я чувствую себя здесь одновременно и потерянным, и своим. Беру билет на поезд, отправляющийся в 0.15. Затем еду в «Олимпию» на встречу с Розали, которую я пригласил посмотреть балеты Жоржа. Мне кажется, что моя тайна рвется из меня и лицо меня выдает. Но мать ничего не замечает и ни о чем не догадывается. Балеты прекрасны, я горжусь Жоржем. Розали проявляет меньший энтузиазм. Я провожаю ее домой и возвращаюсь поужинать с Жоржем.

У меня такое ощущение, что жизнь идет как бы в замедленном темпе и до понедельника еще очень далеко. Я спокоен или делаю вид, что спокоен, не знаю. Но когда в понедельник утром я закрываю чемодан, чувствую, что нервничаю.

Боясь опоздать на поезд, я попросил сократить антракты во время вечернего представления. Я быстро разгримировался. Жорж обещал отвезти меня на вокзал, но в последнюю минуту сообщил, что не сможет. Я вызвал такси, хотя времени было

более чем достаточно, чтобы добраться до вокзала пешком.

Моим соседом по купе оказался преподаватель философии Шербурского лицея. Он удивился, что могло побудить меня ехать в такой некрасивый и скучный город. «Это мой родной город», — объяснил я. Он извинился.

Я приехал в Шербур в половине седьмого утра. Узнал адрес лучшей гостиницы, разбудил дежурного, который, несмотря на ранний час, согласился подать мне чай. Заполнил карточку, и дежурный проводил меня в номер. Наполнил ванну, начал раздеваться. И тут услышал телефонный звонок. Меня спросили, не хочу ли я перейти в лучший номер. В отношении ко мне у персонала гостиницы чувствовалась перемена. Наверное, они прочитали заполненную мною карточку, в которой забавы ради в графе «место рождения» я поставил: «Шербур». Я отказался менять номер.

К восьми часам я был готов. Я бродил по улицам, набережным, по порту, надеялся, что ноги сами приведут меня на площадь д'Иветт, где я родился. Но после часа скитаний я вынужден был признаться, что инстинкт меня плохо направлял. Я спросил дорогу и неожиданно оказался перед домом, где родился. Я узнал его, хотя он сильно отличался от того, который сохранился в моей памяти, во всяком случае, он показался мне меньше. Площадь д'Иветт вокруг него, наоборот, кажется больше. Дом печальный, мрачный, он достоин фильма Карне. Когда я проходил в ворота, я ощущал на себе подозрительные взгляды. Не посмев идти дальше, я ушел и бродил по городу до десяти часов.

Со мной здоровались: «Добрый день, месье Маре». Здоровались не с актером, а с «господином Маре, родившимся в Шербуре». Никто не просил автограф, люди просто снимали шляпы и говорили: «Добрый день, месье Маре», будто я никогда не покидал этот город. Я — один из них. Какой-то человек здоровается со мной за руку.

— Вы идете повидать отца?

— Да.

— Я знаю вашего отца, мой дом на той же улице. Он живет у мадам Леруа. Я вас провожу.

Так я узнал, что отец живет не один. В десять часов я позвонил в дверь. Мне открыла дама.

— Я госпожа Леруа, двоюродная сестра вашего отца.

Она проводила меня в небольшую гостиную, предложила сесть и сама села напротив.

— Мы одного возраста с вашей матерью, мне тоже семьдесят два года.

Она держится очень прямо. На ней черная юбка, корсаж в цветочек неопределенного цвета, шемизетка из той же ткани. Волнистые волосы собраны в пучок, лицо без пудры. Она выглядит моложе своих лет. Она напоминает мне тетю Жозефину, которая была сестрой моей бабушки.

Она сразу заговорила об отце:

— Он очень болен. Я рада, что вы приехали. Если бы с вашим отцом случилось что-нибудь серьезное, что бы я делала? Я одинока, вдова с тридцать девятого года, вашему отцу прихожусь дальней родственницей. Ваш отец очень рассеянный, он ничего не смыслит в делах. — (Узнаю себя).

Он продал свой ветеринарный кабинет, не понимая, что вместе с ним продает и дом. Так он оказался без жилья. Я предложила ему квартиру в мансарде на третьем этаже своего дома. Он живет один. Две недели назад ему пришлось нанять прислугу. Он не любит, чтобы за ним ухаживали, но из-за болезни был вынужден пойти на это. Вы бы посоветовали ему лечь в клинику или устроиться в дом престарелых. Он сейчас спустится. Я разожгла огонь в соседней гостиной, чтобы ему было тепло. Я скажу, когда можно будет туда войти. Вы знаете, мне ведь все известно.

После паузы она продолжала:

— Думаю, он произведет на вас тягостное впечатление. Он очень исхудал. Он не

может есть, его постоянно мучает жажда.

Пока она говорит, я вспоминаю, что мать рассказывала, будто у отца была любовница, с которой он жил. И будто с ней он путешествовал по Египту. Я смотрю на эту даму, преданную отцу скорее из чувства долга, чем из любви, которая к тому же явно хочет избавиться от него. Трудно поверить, чтобы эта холодная женщина могла быть чьей-то любовницей.

Она встала.

— Пойду узнаю, может ли сейчас ваш отец принять вас. Она открыла дверь и оставила ее открытой. Потом открыла другую, ведущую в небольшую гостиную. Эту дверь она тоже оставила распахнутой. С места, где я нахожусь, мне видны только ноги, ноги сидящего человека и низ коричневых брюк. И еще горящие в камине дрова. Госпожа Леруа возвращается.

— Я провожу вас к отцу через несколько минут.

Прикрыв дверь, она снова села. Я не выдерживаю.

— Он в соседней комнате? — спрашиваю я.

— Да. После вашего телефонного звонка несколько лет назад ваш отец написал вам письмо, но так и не получил ответа. Больше месяца он поджидал почтальона, надеясь получить от вас письмо.

Я тут же догадался, каким образом мать узнала о том, что мы с Анри звонили отцу. Я объяснил госпоже Леруа, что был очень удивлен, так и не получив никаких известий от отца после этого телефонного звонка. В свое время я спрашивал у брата, не проболтался ли он или кто-нибудь из его семьи.

Розали устроила мне жуткую сцену, она плакала, кричала, что моя попытка встретиться с отцом есть самая большая измена, какую только я мог совершить по отношению к ней.

А узнала она об этом очень просто: вскрыла письмо, поскольку занималась моей корреспонденцией.

— Я могу сказать об этом отцу?

— Нет, — ответила она. Но по ее тону я понял, что ей бы этого хотелось. — Вы и ваш брат являетесь его наследниками. Постарайтесь убедить отца лечь в клинику.

Она встала, вошла в соседнюю комнату и жестом пригласила войти меня. Очевидно, отец хотел отдышаться после спуска с третьего этажа и успокоиться перед свиданием со мной.

Я оказался в его объятиях, прежде чем смог увидеть его лицо. Он прижался своей щекой к моей. Наверное, ему было трудно бриться, несколько оставшихся на коже щетинок кололись. Я видел лишь его плечо. Моя щека стала влажной — он плакал. Я тоже был очень взволнован, но не плакал. Мы продолжали стоять, крепко обнявшись. Конечно, он не хотел, чтобы я видел его слезы. А мне хотелось поскорее увидеть его лицо.

Так мы стояли несколько минут. Наконец мы разжали объятия. Отец садится в кресло, не сводя с меня глаз. Я никогда не видел таких голубых, таких ясных глаз. Этот семидесятивосьмилетний старик все еще очень красив. Он очень высокий — примерно метр девяносто. Волосы у него когда-то были, очевидно, золотистыми, теперь — седые, кожа слегка красноватая, особенно на скулах, нос прямой, более длинный и тонкий, чем у меня; губы тонкие, очень красные, слегка дряблые. На нем добротный коричневый костюм, Галстук темно-коричневого цвета, безупречной белизны, с накрахмаленным воротником рубашка, черные туфли. Я не мог отвести от него глаз.

Несколько секунд длилось молчание. Потом мы разговаривали так, будто не виделись несколько недель. Мы говорили о моей работе, о его операциях, о здоровье Анри. Я колебался, говорить ли ему, насколько серьезно болен брат, но его взгляд вынуждает меня сделать это. Он почти незаметно вздрагивает, когда я произношу слово «рак». Но вряд ли в эту минуту он подумал о себе. Он быстро справился с волнением.

Наконец мы заговорили о матери. И здесь я открыл в нем большое благородство. Чтобы перевести разговор на тему о клинике, я спросил, почему он живет один. Но он не так меня понял.

— Я дал слово твоей матери.

Я удивленно смотрю на него.

— Когда она уходила, то сказала, что ей не в чем меня упрекнуть. А я сказал, что готов ждать ее и двадцать, и тридцать лет подряд. Кроме того, мне запрещают это мои религиозные убеждения.

— Ты очень верующий?

— Да.

— Знаешь, ведь мать до вашей женитьбы тоже была очень верующей, она даже хотела уйти в монастырь. Так вот, теперь она атеистка, и я об этом сожалею.

— Это, конечно, моя вина. Когда я познакомился с твоей матерью, я находился под влиянием студенческой среды, в которой прожил много лет. Мы считали, что, отрицая существование Бога, возвышаем себя. Наверное, я повлиял на нее.

В его взгляде я прочел что-то похожее на сожаление. Мне нравится этот человек, который не осуждает мою мать, а, наоборот, берет вину на себя.

— Ты не стыдишься меня, моей жизни, того, что я актер?

— Есть большие актеры и маленькие.

— Есть такие, которым повезло больше, чем другим, но образ мышления у нас один.

Отец взволнован и удивлен.

— У меня собрано все, что когда-либо писали о тебе — статьи, книги. И все, что говорил и писал ты. Я знаю, как ты жил, с кем, что ты играл. Ты не похож на других, потому что создан для того, чтобы вызывать к себе любовь. Я не видел тебя ни в театре, ни в кино. Раньше для меня было бы невыносимо видеть тебя на сцене или на экране. Думаю, что теперь я смог бы.

Неужели я сын этого человека? Иногда я задавал себе этот вопрос. Я похож на него даже жестами. Я узнаю себя в нем, в его поступках. В шестьдесят лет он научился управлять самолетом. Он пишет. Как и у меня, у него нет практической жилки.

— Жизнь глупо устроена, — говорю я, — ты живешь один, мама тоже сама по себе, она несчастлива.

Он удивлен.

— Она в Париже. Твоя мать была всегда весела, красива, умна, настоящая парижанка. Она не могла жить здесь. Ей нужен был Париж, поэтому она и уехала.

Я несколько раз ездил в Шербур. Как-то вечером я вернулся от отца и застал в своей примерной Розали. Обычно я прихожу в театр по крайней мере за час до поднятия занавеса. Поэтому она удивилась, что я пришел так поздно.

— Я приехал из Шербура.

— Из Шербура?

— Да, отец очень болен. Он в больнице. Ему осталось жить несколько дней. Если ты хочешь, чтобы я восхищался тобой и уважал тебя, поедem со мной. Его самое большое желание — увидеть тебя.

— Мне не нужно ни твое восхищение, ни твое уважение, но я поеду.

На следующий день мы вместе поехали в Шербур. Я устал, но мать не давала мне отдохнуть. Всю дорогу она рассказывала об отце. Без нежности, почти с ненавистью. Конечно, она это делала для того, чтобы разрушить хорошее впечатление, которое он на меня произвел.

В палату я вошел один, чтобы предупредить отца и подготовить его к встрече с матерью. Палата размером, наверное, двадцать пять квадратных метров. Но, чтобы преодолеть пять метров, отделяющие кровать от двери, матери понадобилось двадцать минут! Как при замедленной съемке, приближалась она к умирающему отцу, стирающему к ней навстречу руки. Дойдя до кровати, она так же медленно

наклонилась над ним. Отец бросил взгляд на ее руку, носит ли она еще его обручальное кольцо. Да, кольцо было, она его носит. Она наклонилась так низко, будто собиралась поцеловать отца. Но в нескольких сантиметрах от его лица остановилась и, не отрываясь, смотрела на него. У меня мелькнула ужасная мысль: она надеялась, что он умрет у нее на глазах. Они не виделись сорок лет. Наконец она спросила:

— Ты находишь, что я изменилась?

Несмотря на драматизм ситуации, я с трудом сдержал улыбку. Отец говорил как умирающий, с придыханием. Мать плохо понимала его, я сам с трудом догадывался, что он хотел сказать. Тогда я повторил все, что отец рассказывал мне о ней раньше. Он был счастлив.

На следующий день он умер. Из моей семьи на похоронах присутствовал только я. Там я познакомился с близкими друзьями отца: доктором Эрве и отцом Альбериком. Я обещал навестить их.

От вокзала Сен-Лазар до театра «Амбассадёр» я шел пешком. Это недалеко. Вдруг слышу, как какой-то человек сказал своей спутнице:

— Посмотри на Жана Маре. Мог бы по крайней мере улыбнуться!

Поскольку я очень мало общался с отцом, у меня не было причины особо горевать, но не было причины и улыбаться. Удивительно, как люди забывают, что актер такой же человек, как и все, что у него могут быть свои заботы, неприятности, огорчения. Так мне и надо: не нужно было безумно любить эту профессию!

Неделю спустя от рака легких умер Анри. В тот день я играл в «Пете и Волке» на благотворительном вечере. Я не мог отказаться. Один критик написал: *«Жан Маре был недост ат очно жизнерадост ен»*.

Брат как-то признался: «Мне нужно было серьезно заболеть, чтобы узнать, какой ты есть на самом деле». Действительно, Розали старалась нас поссорить, чтобы безраздельно владеть каждым. Для этого она или придумывала, что один сказал про другого, или искажала смысл наших слов. Я всегда помогал брату. И когда он хотел как-то выразить свою признательность, Розали стремилась этому помешать, представляя мою помощь как унижительное подаяние.

Накануне смерти Анри было очень плохо. А Розали утомляла его своими советами и упреками. Не выдержав больше, он попросил дать ему отдохнуть.

Она ушла в ярости. Я догнал ее.

— Сейчас не время обижаться и оставлять его одного, — сказал я. Я предвидел, что Анри не переживет этой ночи, но не мог прямо сказать ей об этом.

— Нет, — ответила она, — раз Анри не желает меня видеть, я уйду.

Я не смог ей помешать.

Ночью Анри умер. Я позвонил Розали и попросил ее приехать, сказав, что Анри очень плохо. Она приехала. Я ждал ее у двери. В конце длинной аллеи она остановилась с моей костюмершей Жанной, жившей в домике привратника. Я думал, что Жанна скажет ей о смерти Анри. Поэтому встретил ее так, как если бы она была в курсе случившегося. Но нет, Розали сначала ни о чем не догадалась. Потом вдруг разом осознала все и стала проклинать Бога, как если бы он стоял перед ней. Но ведь, чтобы проклинать Бога, нужно в него верить!

Примерно через месяц со мной захотел встретиться один журналист. Зачем? Я не снимаюсь, значит, это по какому-то вопросу частного характера. Может быть, его интересует целиком сфабрикованная сплетня о том, что я якобы сделал ребенка какой-то бретонской девушке.

Я знал этого журналиста, он славный парень, работал в редакции «Франс-Диманш».

— Я твой двоюродный брат, — заявил он при встрече.

— Мой двоюродный брат?

— Да. Твоим настоящим отцом был мой дядя Эжен Удай.

Эжен Удай, мой крестный, мой ненастоящий дядя. Этот человек может знать это имя, только если ему действительно что-то известно.

— Но это невозможно! Я недавно видел своего отца, я на него похож. Я узнал себя в нем.

— Но Мадлен Удай, которая на пятнадцать лет старше тебя, тоже на тебя похожа. Много лет назад она слышала, как Эжен Удай радостно рассказывал о рождении сына, тебя. К тому же Эжен Удай обожал твою мать, твоя мать тоже его обожала. Он хотел развестись и жениться на твоей матери. Чтобы встретиться с ним в Салониках во время войны, куда француженка не имела права приезжать, она отправилась туда с партией проституток. Эжен Удай работал в Министерстве внутренних дел. От сотрудников этого министерства требовалась безупречность во всем, особенно в частной жизни. Руководство грозилось арестовать твою мать как шпионку и уволить его самого, если он пойдет на развод. Твоя мать не хотела портить карьеру своему возлюбленному и оставила его.

Неужели вся моя жизнь будет похожа на плохой бульварный роман? На следующий день я должен был обедать с матерью и решил расспросить ее обо всем. Я рассказал Розали всю эту историю.

— Так я сын Эжена Удая или нет?

Она смотрела на меня свысока, улыбающаяся, торжествующая:

— Конечно, да. Именно поэтому мне было так смешно, когда ты повез меня в Шербур. Альфред не мог иметь детей.

— Анри тоже не его сын?

— Нет.

В ее глазах, в ее тоне была такая радость, что я усомнился, правду ли она говорит. Может быть, это был способ уничтожить память о моем отце, господине Маре?

Я решил повидать господина Эрве, друга отца, с которым мы уже однажды встречались в Динаре, когда я снимался в «Целителе». Это было незадолго до нашего неудачного телефонного разговора с новым владельцем ветеринарной клиники, бывшей клиники моего отца.

Господин Эрве хотел сблизить нас с отцом и прислал мне письмо, на которое получил от меня ответ, прерывающий всякие дальнейшие отношения. Я объяснил, что это, наверное, мать написала моим почерком, который она прекрасно имитировала, так же, как и мою подпись, и что его письма я никогда не получал.

Он показал оба письма. Его:

«Месье, я имел удовольствие вие вст рет ит ься с вами в прошлом году в от еле «Прент анье» в Динаре, где вы снимались в одной из сцен «Целит еля».

Я с радост ью воспользовался возможност ью поговорит ь с вами о вашем от це, с кот орым мы были хорошими друзьями в 1914 — 1915 годах. Впрочем, я давно знал о вашем родст ве. С т ронувшей меня деликат ност ью вы рассказали об обст оят ельст вах, разлучивших вас.

Вернувшись в Париж, я получил письмо от вашего от ца. Я почувст вовал глубокую печаль, осознав личную драму, глубину кот орой он скрывает и о кот орой он, по-видимому, т ак много говорил т олько со мной.

Не буду вдават ься в подробност и его воспоминаний, скажу т олько, чт о он показывал мне документ ы и фот ографии. Ваши порт рет ы в разных ролях можно было в т о время видет ь на ст енах домов вашего родного города, и он смот рел на них, скрывая волнение.

Я с т рудом сдерживался, чт обы не написат ь вам раньше.

Вы изображали, и с большим успехом, драмат ические сит уации. Эт а — еще более драмат ическая, и мне хот елось бы, чт обы вы привели ее к счаст ливой

развязке.

Надеюсь, что не слишком надоел вам изложением весьма неясной ситуации, которую вы, хотя бы частично, можете прояснить. Вы знамениты, и по праву. Я не хочу, чтобы вы думали, будто ваша известность побудила меня написать это письмо.

У вас есть брат, о нем, как и о вас, помнит и грустит ваш отец. Но он стареет, он одинок.

Примите уверения...»

А вот мое письмо, вернее, то, которое моя мать написала, подделав мой почерк и подписавшись моим именем.

«Месье!

Хотя у меня очень мало времени, я не хочу задерживаться с ответом, которую вы, кажется, с нетерпением ждете.

Благодарю вас за любезное письмо и руководившие вами добрые намерения. Но я считаю, что семейные драмы и междоусобные войны касаются только заинтересованных и никогда посредников, которые всегда снисходительны и пристыжены по отношению к исповедующейся стороне.

Как вы сказали, сейчас я знаменит, но, пока я был молод и не известен, никто не захотел меня поддержать, оказать материальное или моральное содействие. Кто меня любил, учил и помогал в течение этих сорока лет?

Актёр исполняет самые разные роли и соприкасается с разными людьми, но никогда не берет себе советов и не пытается проникнуть в их интимный круг. У актёров это безусловное правило.

Опыт, который горько приобретает, научил нас, актёров, что у каждого в жизни своя судьба, её нельзя избежать. Нужно стараться сохранить свою индивидуальность.

Это несколько длинное предисловие должно было дать вам понять, до какой степени я был удивлён советами, содержащимися в длинном, отпечатанном на машинке послании, полученном от вас, чужого мне человека!

Когда вы подошли ко мне в Динаре, я любезно вам ответил, как от вечного всем, кто ко мне обращается. Но если завтра каждый начнет указывать мне, как себя вести, мне придется отправиться на один из островов Тихого океана, чтобы меня оставили в покое!

Разве я вмешивался в ваши дела? Даже если бы ваша жизнь была представлена мне как самый неправдоподобный сценарий, я считал бы своим долгом сделать вид, будто ничего не знаю.

С моей стороны это было бы всего лишь проявлением приличия и тактичности. К сожалению, это присуще далеко не всем.

Надеюсь, месье, что больше не буду иметь честь и получать от вас писем, и даже прошу вас, если мы встретимся снова, не обращаться ко мне.

Это единственная услуга, которую я жду от вас.

Жан Марс».

Доктор Эрве не сказал мне ничего нового. Полный решимости читать дальше роман своей жизни, я отправился в Обитель траппистов, к отцу Альберiku.

Симпатичное бородатое лицо послушника, открывшего мне дверь, светилось радостью. Но могло ли быть иначе? Ведь верить в Бога, любить его, служить ему — огромная привилегия. Как я мог представлять себе монастырь печальным? Разве не счастье жить в согласии с самим собой и любить? На каждом шагу я обнаруживал свидетельства любви. Чистота, элегантность аббатства говорили не о комфорте, а о заботе, проявляемой к обителю Господа.

Отец Альберик встретил меня доброй улыбкой. Он прекрасен своим

спокойствием, открытостью, естественностью. Мы обедаем в его кабинете. Убранство кабинета скромное, но дышит изяществом. Мы нашли общую тему для разговора. Мы говорили о Пикассо, Максе Жакобе, Жане Кокто, с которыми отец Альберик был знаком. Он не говорил со мной о религии. Но я все-таки посвятил его в то, каким странным верующим я являюсь. Впрочем, верующий ли я вообще? Нельзя жить так, как я жил, и быть верующим. Я запрещаю себе быть суеверным. Я запретил себе это раз и навсегда. Но боюсь, что то, что я называю верой, на самом деле лишь наивное суеверие. Если бы я любил Бога, я доказывал бы это своими поступками. А мои поступки свидетельствуют о противоположном. Я это знаю, поэтому прошу Бога дать мне веру.

Маритен писал: *«Бог прощает все, как т олько сердце раскаивает ся»*. Но нужно еще быть способным к раскаянию, обладать даром судить себя, разбираться в себе, верить. Я обладаю способностью судить себя, но не раскаиваться. Если бы я был способен на это, я безраздельно посвятил бы себя только Богу. При этом я бы еще заколебался. Не слишком ли это будет легко после того, как я так долго медлил, и не справедливее ли будет не получить веру, чтобы не быть спасенным? Не мне об этом судить.

Я расспрашивал отца Альберика об отце. Он сказал, что никогда не забудет его деликатности, что дружба с моим отцом, часто искавшим уединения в монастыре, была большой честью для него. Отец Альберик заверил, что двери аббатства всегда открыты для меня, как были открыты и для моего отца. Но он ничего не смог мне рассказать по поводу развода моих родителей. Значит, я никогда не узнаю их настоящей истории. Это похоже на то, как если бы я потерял один том из романа с продолжением, прежде чем узнал конец.

Я снова встретился с другом моего отца, доктором Эрве — прямым, открытым, честным человеком. Это он передал мне письмо, которое написала Розали, скопировав мой почерк и подписавшись моим именем. Он сказал, что история, рассказанная в книге *«Мои признания»* об оплеухе, которую якобы дал мне отец и которая послужила причиной развода моих родителей, не соответствует действительности. Одна вечерняя газета только что опубликовала эту историю без моего ведома. Я просил в память о моем отце внести поправку. Но это так и не было сделано.

Дружба Жана по-прежнему помогает мне жить. Мы стараемся видаться как можно чаще. После одного моего визита Жан написал письмо, опечалившее меня.

*«Мийи,
Мой Жанно.*

После т воего ухода я пережил ужасный прист уп т оски и одиночест ва, прот ив кот орого даже ст оль мудрое сердце Дуду ничего не могло поделат ь. Ты был прав, сказав, чт о «эт и визит ы невыносимы и чт о нам нужно жит ь вмест е». Когда т ы уходишь, мне кажет ся, чт о я падаю в одну пропаст ь, а т ы в другую. И я все время думаю, можно ли решит ь эт и сложные проблемы в эпоху беспорядка и жест окост и.*

Ты забыл свои меховые перчат ки. Я забрал их к себе в комнат у и целовал, сдерживая рыдания. А т ут еще эт от черт ов грипп совершенно деморализует меня. Заст авляю себя превозмочь желание все бросит ь.

*Обнимаю т ебя изо всех своих слабых сил.
Жан».*

* Так называли Эдуара Дермита.

Он писал и из Испании.

«9 август а 1961.

Вот я и в Испании, где не думал уже больше побывать. Снова нас разделяют эти жестокие километры, хотя мы должны были бы всегда быть друг подле друга. Чем дальше, тем больше печалит меня эта разбросанность людей и лиц, творящихся в тумане. Что до меня, то я переживаю другую драму, и она еще хуже, поскольку ничто не может разорвать связывающую нас нить и я ощущаю ее болезненное натяжение.

Расскажи мне немного о ролях Понтия и Марса. Я уединюсь на Марбелле, чтобы продолжить свой труд по египтологии. Это самый ранний виноград, состоящий из очень небольшого количества поэтически возвращающихся идей и слов, которые не спасут меня от моего одиночества.

Я люблю тебя, мой Жанно. Обнимаю тебя.

Жан».

Я уезжаю в Италию сниматься в «Понтии Пилате» у американского режиссера Ирвинга Раппера. Жан Кокто написал мне туда. *«Может быть, ты сможешь не приговорить Христа и не мыть руки. Попытайся, поскольку прошлое, настоящее и будущее не существуют».*

Во время съемок этого фильма со мной произошло любопытное приключение. Я снимал в тридцати километрах от Рима, в Альбано, прелестный домик среди виноградников. Я возвращался туда каждый вечер. Как-то ночью я выехал из Рима. На дороге голосовал мальчик. Я остановился. Ему нужно было в Неаполь.

— Я еду только до Альбано.

Мальчик все-таки сел в машину. Ему не больше двенадцати лет, может, меньше. Маленький, тщедушный, он держал под мышкой завернутый в газету пакет.

— Твои родители разрешают тебе голосовать на дороге ночью?

— У меня нет родителей. Моя мать умерла.

— А твой отец?

— Он в тюрьме за то, что убил мою мать.

Всего две фразы и — целая трагедия. Он сицилиец. Бежит от общественной «опеки» в Сицилию. Очень гордый, он рассказывает свою печальную историю, не позволяя себе расплакаться. Мальчик худенький, некрасивый и болезненного вида. Не будет ли справедливым усыновить этого ребенка, с которым судьба обошлась столь жестоко?

Я проехал Альбано не останавливаясь. У меня не хватило бы бензина до Неаполя и не было с собой необходимой суммы. Я остановился у заправочной, залил полный бак, отдал оставшиеся деньги мальчику и поручил его заправщику, попросив найти машину, которая довезет его до Неаполя.

— Ты знаешь, кто этот мальчик? — спросил заправщик у мальчика.

— Нет.

Тот объяснил ему. Но на мальчика это не произвело никакого впечатления.

Я попытался узнать его фамилию, узнать, где я могу его найти. Он молчал. Я вернулся в Альбано очень опечаленный, испытывая почти что угрызения совести.

На следующий день я рассказал обо всем своим итальянским коллегам. Но они не советовали мне разыскивать мальчика, а тем более усыновлять. Если отец убил мать по малоблагородным причинам, мальчик должен, в свою очередь, убить отца, когда тот выйдет из тюрьмы.

Я незаконно вошел в этот мир, поскольку, когда я родился, моя мать отказалась меня видеть. У меня, возможно, ненастоящий отец. Ненастоящие дяди, ненастоящий крестный, ненастоящие адреса и фамилии. В довершение мне предстояло иметь

ненастоящего сына, стать ненастоящим дедом и ненастоящим свекром. Моя судьба так распорядилась мною.

Как-то вечером почти помимо воли я направил свою машину к бару, расположенному вблизи Марн-ля-Кокет. Там я встретил малознамого человека. Он пристал ко мне и потащил в другой бар, в Париже. Он спросил моего разрешения пригласить за наш столик молодого цыгана. Я неохотно согласился. Он оказался еще совсем ребенком, одетым почти в лохмотья, с копной спутанных длинных волос, полными губами, живым и гордым взглядом. В первый момент он показался мне некрасивым. Он молча стоял перед нашим столиком. Человек, с которым я пришёл, обращался с ним так, словно он был выставлен на продажу. Цыган побледнел. В его глазах я увидел желание убить моего спутника. Мне стало стыдно. Стыдно за него, стыдно за себя. Наверное, этот юноша думает, что у нас с моим спутником одинаковый образ мыслей (позднее он признался, что действительно хотел дать в морду тому человеку и сдержало его только мое присутствие).

Я усадил его, завязалась беседа. Я расспросил, чем он занимается, что любит, что хотел бы делать.

Его зовут Серж. Отца нет. Ему девятнадцать лет. Живет на средства, добываемые скорее опасными путями. Я говорю с ним не как моралист, а как друг, пытаюсь доказать, что увлечение своей работой — самый надежный способ стать счастливым, что представители его нации обычно талантливы. Пусть ищет и найдет то, что заинтересует его больше всего.

— Ничто, — ответил он мне, — разве что ваша профессия.

Говорят, что люди, рожденные под знаком Стрельца, обладают даром понимания и даже способностью ставить себя на место другого человека. Я обладаю этим даром, что часто создает трудности для меня самого.

Мне легко поставить себя на место Сержа: помогают воспоминания детства.

— Ты везучий?

— Нет.

— С сегодняшнего дня ты не должен больше так думать. Я докажу, что ты везучий.

Я мог, умел привлечь удачу. Смогу ли я принести удачу этому ребенку?

— Послушай, я никогда не давал уроков. Но я могу дать тебе ровно столько, сколько нужно, чтобы ты поступил на регулярные курсы. Для меня это тоже будет полезно, поскольку, когда обучаешь кого-то, сам узнаешь столько же, сколько обучаемый.

Серж иногда приезжал в Марн, и я с ним работал. Однажды, когда он был у меня, зашел Ирвинг Рэппер, мой режиссер из «Понтия Пилата», и подарил мне ларчик из тисненой кожи, который он привез из Италии. На следующий день я должен был отправиться в поездку по Польше, России и Румынии. Я попросил Сержа быть осторожным и не совершать опрометчивых поступков в мое отсутствие. Зная, что ему не на что жить, я хотел немного помочь ему материально. Но он отказался.

— Если бы я был твоим отцом, ты бы согласился?

— Да.

— Ты не знаешь, кто твой отец. Может быть, это я. Кто знает?

Мы все весело рассмеялись. Я насильно вложил деньги Сержу в карман. Ирвинг отвезет его в Париж.

Как всегда, мы поболтали еще немного перед отъездом. Вдруг инстинкт подсказал мне, что Серж мог оставить деньги где-нибудь. Я попросил, чтобы меня подождали, а сам вернулся в гостиную. Куда он мог положить банкноты? Я нашел их в ларчике из тисненой кожи. Дождался момента, когда Серж сел в машину, и вернул ему деньги.

Серж получил хорошую оценку при поступлении на курсы. В качестве поощрения я решил взять его в поездку на Антильские острова. Я давно уже не брал отпуск,

планируя сделать это по возвращении из России. Куда отправиться? Был январь, еще слишком рано для занятий зимними видами спорта. Я подумывал о круизе. Ехать одному? А почему бы не взять с собой Сержа? Мне придется во второй раз сыграть роль профессора Хиггинса из «Пигмалиона». Но на этот раз в жизни.

Серж с восторгом принял мое предложение. Теперь его нужно одеть. Сначала я отправил его в магазин готового платья, чтобы он имел презентабельный вид у моего портного Андре Бардо. Тот сшил ему несколько костюмов, рубашек, все, что необходимо человеку, путешествующему первым классом. Я заставил его подстричь волосы. Занимаюсь его паспортом. Получаю отказ. У цыган, оказывается, нет гражданства. Удалось получить только пропуск, но этого достаточно для круиза.

На теплоходе я представил Сержа как своего крестника. Я радовался, что дал ему возможность пожить в волшебной сказке, и приписывал себе роль доброго гения. Я следил за туалетом Сержа, присматривал за ним. Но, куда бы мы ни пошли, он восхищал меня своими манерами и умением держаться. В стрельбе по глиняным голубям он победил немецкого чемпиона, и тот проникся к нему симпатией.

Я взял с собой книги, чтобы заниматься с Сержем. Но за время круиза он выучил всего три строчки. Мне хотелось все бросить. Но пути назад не было. После того как я окунул этого ребенка в комфорт и роскошь, разве справедливо будет отступить, бросить его?

Я должен сниматься на юге Франции в «Железной маске». У моего друга Клода Карлиеса, организатора моих поединков в фильмах, не хватало каскадеров. Он взял Сержа. Серж пунктуален, точен, отважен и очень хорошо справляется со своей работой.

Однажды Серж сказал, что должен вернуться в Париж. Он звонил своей матери и от нее узнал, что его разыскивает полиция — он призывается на военную службу. Он уже опоздал на два месяца, и ему грозит двухмесячное тюремное заключение.

— Как? У тебя ведь нет гражданства? Я думал, что ты выберешь национальную принадлежность в двадцать один год и будешь проходить военную службу только тогда, когда выберешь своей родиной Францию.

— Я тоже так думал, — ответил он.

Я отправил его в Мец, где он должен был предстать перед военным трибуналом. Я справился у Жана Кокто, не знаком ли он с генералом М.

— И ты с ним знаком, а с его женой ты служил в дивизии Леклерка,

Я позвонил генеральше М.

— Серж Айяла мой сын, которого я не признал. Он опоздал по моей вине: я занял его в своем фильме. Я думал, что у него еще есть время до двадцати одного года для прохождения военной службы.

Все устроилось. Дело Сержа прекратили за отсутствием состава преступления. Я послал телеграмму, чтобы поздравить его, и подписался «Твой папа Жан». Эта телеграмма произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сержа вызвали офицеры и устроили допрос. Я обратился к адвокату и признал Сержа своим сыном. Он поменял фамилию прямо в армии.

Я принял свою новую роль очень серьезно, хотя в мои планы не входило афишировать это. Я писал Сержу письма, посылал посылки, принимал его во время увольнений, показываясь с ним на людях. Серж, попав в новую обстановку, стал робким. Мне приходилось приглашать за наш стол девушек, которые ему нравились. Одна из них, кажется, нравится ему больше других. Я пригласил их вместе к себе. Когда он возвращался в казарму, я везде сопровождал ее, чтобы сохранить для него. Я одевал ее у Диора, чтобы она могла бывать со мной на премьерах. Журналисты спрашивали меня, кто она. В замешательстве я отвечал: «Подруга». Газеты объявили нас женихом и невестой.

На Рождество 1962 года Серж должен был приехать в отпуск. У него никогда не было новогодней елки. Мне очень хочется устроить для него елку, которая бы запомнилась ему на всю жизнь. Она ему запомнится, и мне тоже. И вот почему.,

Огромная пихта* касается потолка гостиной. Я задернул шторы трех наружных застекленных дверей, перед которыми мы ее установили. Пихта украшена искусственным снегом, гирляндами, шарами, лампочками и свечами. Подарки, за исключением телевизора, который я уже установил в комнате моих слуг и друзей Жака и Элоди, лежат под деревом. Франсуаза, подруга Сержа, ждет вместе с нами прибытия солдата. Раздается звонок. По внутреннему телефону мы убеждаемся, что это он. Пока он идет по аллее, мы с Франсуазой зажигаем свечи на дереве. Серж в восторге замирает на пороге. Он не верит своим глазам. Он чуть не плачет. Жак приносит шампанское, и мы поднимаем бокалы. Все дарят друг другу подарки. Жак и Элоди тоже забрасывают меня подарками.

* Во Франции наряжают пихты вместо елок.

Сержу нужно переодеться, принять ванну. Франсуаза уходит вместе с ним. Я тоже иду в свою комнату, чтобы переодеться. Через стену мы разговариваем о трудностях его военной службы. Вдруг раздается сильное хлопанье дверей и крики: «Пожар! Пожар!»

Сначала я решил, что это шутка Жака. Но нет, он бы себе этого не позволил. Я открываю дверь своей комнаты. От густого дыма перехватывает дыхание, щиплет глаза. Вхожу в гостиную. Настоящий костер! Пламя поднимается от пола до потолка и доходит до середины комнаты. Звук, который я принял за хлопанье дверей, производила лопающаяся и падающая на мебель и на пол штукатурка.

Жак вызвал пожарных, но пока они приедут, я предлагаю попытаться потушить пожар самостоятельно..

Я прошу принести ведра. Серж вспомнил о бассейне. Мы побежали к нему. Увы! Вода замерзла так сильно, что мы поломали ведро, пытаюсь разбить лед. Серж, Жак, Элоди и Франсуаза становятся цепочкой. Я снимаю халат, чтобы он не загорелся. Одно ведро воды тушит один язык пламени. Почти раздетый, я попеременно попадаю то в раскаленную печь, то в ледяной холод. Мне наверняка не миновать хорошего гриппа.

Наконец я вышел из этого сражения победителем. Но какой разгром! Черные пятна от дыма, вода, валяющаяся повсюду штукатурка, разбитое зеркало, сгоревшая и покрывшаяся пузырями мебель, превратившиеся в пепел ковер и моя картина «Птицелов», результат десятилетнего труда, покоробившиеся пластинки, лопнувшие стекла, обуглившиеся обои и шторы. И странная вещь — на потолке появилось изображение огромного орла.

Приехавшие пожарники стоят, как громом пораженные. Они подозревают, что это был не пожар, а взрыв. Пришла моя сторожиха-костюмерша Жанна с мужем. Я с улыбкой протягиваю ей единственный уцелевший под деревом подарок. Он совершенно обуглился. Она обиженно отказалась. Элоди плачет. .

— Это слишком несправедливо, слишком несправедливо, — повторяла она.

— Нет, дорогая Элоди. Гораздо справедливее, что это случилось со мной, а не с кем-то другим. Эта елка должна была быть особенной, запоминающейся. Ты ведь запомнишь ее. Серж?

Серж огорчен.

— Не беда! Будем встречать Рождество в «Сент-Илэр».

Серж удивленно посмотрел на меня:

— Но ведь сгорела твоя гостиная. И твоя картина... ты потратил на нее столько времени...

— И поделом мне — не буду вешать свои картины в гостиной. И потом, я не знаю, заметил ли ты, что пожар нарисовал на потолке другого, более красивого орла, чем тот, что был на моей картине.

Станный вечер. В двух шагах от «Сент-Илэра» мы натолкнулись на хулиганов.

Их было шестеро. Один сделал шокирующее меня замечание, и я дал ему оплеуху. Они все убежали, как последние труссы.

«Сент-Илэр» переполнен. Его хозяин Франсуа Патрис кое-как разместил нас. Франсуаза очень элегантна в своем черном с золотом костюме с небольшим норковым воротничком — моим рождественским подарком. Она почти хорошенькая, во всяком случае, очаровательная и прекрасно воспитанная. Она сидит на банкетке рядом с дамой в черном, которая нелестно высказывается в наш адрес, главным образом из-за того, что у нее отнимают жизненное пространство.

Поначалу я стараюсь не обращать на это внимания. Мы с Сержем сидим на табуретках напротив Франсуазы. Замечания дамы в черном и сопровождающей ее дамы в белом звучат все громче. Затем дама в черном ставит свой локоть на колено Франсуазы и опирается на него. Франсуаза растерялась, она не знает, как поступить. Я замечаю это и предлагаю ей поменяться со мной местами.

— Не думаю, что она посмеет проделать то же самое со мной. Это было бы похоже на заигрывание, — говорю я очень громко.

Мы поменялись местами. Дама продолжает свои маневры со мной. Более того, нелестные замечания не прекращаются.

— Я не могу ударить женщину, но если вы будете продолжать, мне придется ударить сопровождающего вас господина, — говорю я, поворачиваясь к даме в черном.

Но она продолжает. Тогда я даю пощечину тыльной стороной ладони ее спутнику, находящемуся справа от меня. У него течет кровь. Он поднимается, по-видимому, чтобы ответить мне тем же. Я снова бью, на этот раз кулаком. Женщины вопят. Танцы прекращаются. Присутствующие окружают нас. Те, кто наблюдал драку, принимают мою сторону, тем более что получивший пощечину и две его дамы еще до нашего появления не давали покоя соседям.

Франсуа Патрис предложил мне сменить столик, на что я ответил, что лучше бы сменить соседей. Наконец они ушли, и снова воцарилось спокойствие.

Во время второго отпуска Сержа я пригласил его в Канны, где собирался провести несколько дней.

Мы с ним сидим в баре спортивного пляжа, я болтаю со своей подругой Мадлен. Появляется знакомый продюсер, здороваается. Я не могу вспомнить его имя, хотя хорошо его знаю, я снимался в нескольких его фильмах. Нужно представить ему Сержа. Чтобы он не заметил моей рассеянности, я говорю:

— Ты знаком с моим сыном? Серж.

— Я не знал, что у тебя есть сын!

Он не заметил, что я не назвал его фамилии. Пятью минутами позже я лежал на пляже. Серж пошел купаться. Ко мне подошел журналист.

— Я слышал, что вы представили сопровождающего вас молодого человека как своего сына. Это действительно ваш сын?

— Да.

— Я могу сфотографировать вас вместе?

— Он ушел купаться.

— Когда он вернется... Это для газеты «Нис Матэн».

Пришел Серж, и журналист сфотографировал нас. На следующий день Мадлен показала мне газету. Мы с Сержем на первой странице. Под фотографией безобидная подпись: «Жан Маре с сыном проводит отпуск в Каннах». Я поинтересовался у Мадлен:

— Парижские журналисты читают провинциальную прессу?

— Разумеется. Ты что, с неба свалился?

Едва она успела ответить, как я увидел одного, двух, пятерых, десятерых. Они забросали меня вопросами. Бомба разорвалась. Скрывать дальше невозможно.

— Обнимите его за шею, голову ближе.

— Кто его мать?

— Она актриса?

Я объясняю, что не могу сказать, потому что она недавно вышла замуж и это было бы некорректно с моей стороны.

— Мы все равно узнаем.

Они поспешно опросили нескольких женщин, которые предположительно могли быть матерью Сержа. Они побывали даже в Португалии у Милы.

Как-то утром мне позвонил один журналист:

— Я в Антеоре с матерью Сержа. Хочешь с ней встретиться?

Этим журналистом оказался мой самозванный двоюродный брат, тот самый, который сообщил мне, что мой отец вовсе не мой отец. Он побывал в казарме Сержа, и ему дали адреса родителей: мой и его матери.

Они нашли Марию (так зовут его мать) и объяснили ей, что я на юге и хочу ее видеть. Ее привезли на машине вместе с мужем. Я не могу отказаться от встречи с этой женщиной, поверившей им и совершившей такое долгое путешествие. Мы едем с Сержем в Антеор. И как результат — фотографии, статьи. И все это с моего молчаливого согласия.

Вскоре Серж демобилизовался. Он расстался с Франсуазой, потому что встретил свою «большую любовь». Он представил ее мне. Анник — очень красивая, очаровательная, правда, немного взбалмошная девушка... Она то вскрывает себе вены, то цепляется за отъезжающую машину Сержа, то не хочет его больше видеть, то умоляет вернуться. Может дать пощечину на людях, устроить истерику...

Серж попросил у меня совета.

— Если она хотя бы три месяца сможет держать себя в руках, чтобы не свести тебя с ума и не сделать несчастным, — женись, — сказал я.

Я устроил Сержа на курсы Симона. Казалось, он делал успехи, но он оставил учебу, поссорившись с другим учеником. Так по крайней мере он сказал мне. Но я думаю, что это скорее всего из-за меня.

Как-то он начал критиковать певца, выступавшего по радио. Я сказал:

— Критиковать легко, а смог бы ты спеть лучше?

— Запросто.

— Ты хотел бы петь?

— Думаю, да.

Я устроил так, чтобы он брал уроки пения. У него красивый сильный голос. В отличие от меня, он не фальшивит.

Я познакомился с очаровательной женщиной, Жаниной Бертий, она композитор. Она согласилась положить на музыку «стихи-песни», которые Жан написал для меня.

На прослушивании Серж назвал эти песни «несколько старомодными», хотя музыка и тексты были прекрасны.

— Почему бы вам самому их не спеть? — предложила Жанина.

— Потому что я пою фальшиво, у меня нет слуха, я не запоминаю мелодию, и ничего тут не поделаешь,

— Попробуйте. Спойте мне «Говорите мне о любви». Я спел.

— Вы поете не фальшиво, — сказала она, — вы просто поете другое.

Все рассмеялись. Очень скоро мы стали большими друзьями. В течение года я брал уроки у Жанины и у госпожи Шарло, преподавательницы пения, которую я нашел для Сержа.

В Париже все очень быстро становится известно. Мне позвонил Эдди Баркли*.

— Ты обучаешься пению? Надеюсь, ты запишешь пластинку для меня.

— Я тебе не советую предлагать мне это, у меня нет таланта.

* Французский композитор и продюсер.

Мы договорились о дне прослушивания. Он пригласил восемь человек. Он чуть

не привел Шарля Азнавура! Я совершенно убит. Ну что ж, пусть они убедятся, что я смешон. Но я не испытываю никакого волнения. Они поймут, что я не могу записать пластинку. Я предпочел бы, однако, чтобы Баркли убедился в этом сам, без свидетелей.

Госпожа Шарло села за рояль. Я пою. «Замечательно», — говорит Баркли. Остальные тоже выражают восторг. Право слово, они смеются надо мной! Я исполнил все песни. Баркли заявил: «Будем делать пластинку». Я не могу прийти в себя от изумления.

Поскольку Баркли слишком долго собирается заняться этим, а киноконтракты вынуждают меня записать пластинку до начала съемок, я подписал договор с «Пате — Маркони».

Запись проходит нелегко. Я восхищаюсь терпением и талантом техников. Одновременно записываются пластинки на 33 и 45 оборотов. Мы вынуждены хитрить, потому что как только я слышу в наушниках оркестр, то забываю мелодию. Мне нужно одним ухом слышать оркестр, а другим рояль. Кроме того, дирижер подает мне знак, когда вступать.

Пластинка получила положительные отзывы критики, но пользуется относительным успехом. Я сделал все это для того, чтобы доказать Сержу, что трудом и упорством можно добиться желаемого.

«Пате — Маркони» выпустит довольно удачную пластинку с записями Сержа. Он даже запишет вторую, затем третью, уже в другой фирме, но так никогда и не увлечется этим делом и в конце концов оставит пение.

Серж снова влюблен в прелестную девушку, с которой проживет семь лет. Я помогаю им, как могу. Он просит разрешения поселиться у меня в Марне, я с радостью соглашаюсь. Я рад их присутствию.

У Розали умерла экономка, служившая у нее больше двадцати лет. Она отказывается взять другую, она все более и более одинока. И это приводит меня в отчаяние. Я узнал, что она моет стекла, стоя на стуле, при открытом окне. А у нее с некоторых пор бывают недомогания. Мысль о том, что она может упасть с третьего этажа, не дает мне покоя. Согласится ли она переехать в мой дом в Марне? Проявив настойчивость, я в конце концов сумел ее убедить. Занимаюсь ее переездом.

Квартира моей матери достойна «Затворницы из Пуатье»*. Особенно ванная комната «с привидениями» времен моего детства. На стенах всех комнат висят мои фотографии и вырезки из журналов и газет, приколотые кнопками. Ремонт здесь не делался уже тридцать лет. Обивка та же, что я помнил с детства, теперь выцветшая, залатанная, порванная. Стулья и кресла в большинстве своем с проваленными сиденьями. Везде валяются коробки, картонки, упаковочная бумага. Дверцы шкафов распахнуты, внутри — хлам. В бывшей комнате бабушки свалены предметы, которые не взял бы и старьевщик. По ней с трудом можно передвигаться. В стенных шкафах Розали сложила пустые консервные банки. Рядом лежат сложенные стопками, отделенные от них круглые железные крышки, здесь же пробки из разных материалов, булавки, гвозди, стекла, разбитая, треснутая посуда, которую она бережно хранит, газеты, бумаги. Все это под предлогом, что вещи могут пригодиться. На всем лежит слой пыли в несколько сантиметров. Мне приходится буквально сражаться, чтобы выбросить все это старье. Розали цепляется за каждый, явно не нужный предмет. «Только не это! Только не это!» — кричит она. Что до мебели, то я вызываю старьевщика и даю ему деньги, чтобы он все забрал.

* Произведение Андре Жида (1869 - 1951) о девушке, которую в течение 25 лет держали в заточении в грязной комнате с закрытыми окнами.

Приготовленная для Розали комната в Марне очень скоро тоже будет захламлена, так как она запретит кому бы то ни было туда входить.

А я ведь всю душу вложил, оборудуя эту комнату. Ее стены были обиты голубым

муаром, шторы такого же цвета, подбиты небеленым шелком, мраморная доска темно-синего терракотового камина поддерживалась фигурками двух женщин-сфинксов. Мебель из светлого дерева, на полу голубые ковры тонкой работы.

С каждым днем моя бедная Розали превращалась в женщину, с которой, не будь она моей матерью, я не хотел бы быть знаком, тем более не мог бы ее любить. Она была все еще красива. И, странное дело, когда она покидала свой грязный угол, она, как и прежде, была одета безупречно, даже кокетливо. Она проявляла скупость по отношению к себе и, как только поселилась у меня, отказалась от некоторых вещей, потому что не хотела увеличивать мои расходы. Поскольку я всегда был расточительным, это огорчало меня, часто даже злило, так как принимало у нее форму самопожертвования.

Торговцев Марна она предупреждала, что если однажды ее найдут мертвой, пусть знают, что ее убил Серж. А Серж по-настоящему любил Розали, он даже во многом повлиял на мое решение взять ее к себе.

Позднее с ней произошел несчастный случай, и именно Серж ее спас, сидел с ней все ночи в клинике, пока не было меня. После этого она не называла его иначе, как своим спасителем.

До сорокапятилетнего возраста я никогда не осуждал свою мать. Как-то вечером, после одной из яростных и несправедливых сцен, которые она имела обыкновение устраивать, я подвел итоги: как всегда, я бросался из одной крайности в другую. Мысленно я проанализировал всю свою жизнь и был совершенно потрясен, поняв, что Розали всегда лгала мне, обвиняя меня самого во лжи, хотя я никогда ее не обманывал. Разве что тогда, когда она потребовала, чтобы я поклялся собой в подтверждение того, что мой брат не болен раком. Я поклялся собой, но, когда она стала настаивать, чтобы я поклялся ею, мне пришлось сказать правду. То есть я не дошел до того, чтобы лгать до конца. Я не принимал эту «ложь во спасение».

После смерти Жана она сказала:

— В сущности, ты предпочел бы, чтобы умерла я, а не Жан Кокто.

Я ответил:

— Да, — но тут же добавил: — Я также предпочел бы умереть вместо него. Ты и я рядом с Жаном Кокто ничто.

Что она сделала, чтобы помочь мне в жизни? Я с сожалением констатировал, что, не считая ее истинной, но тиранической любви, она мне не только не помогала, а, наоборот, всегда направляла по ложному пути.

Нужно ли любить свою мать, несмотря ни на что и вопреки всему? До сих пор я думал так. И вдруг я с грустью понял, что больше не люблю Розали. Может быть, родители все-таки должны не требовать обязательной любви, а вести себя так, чтобы их уважали и любили? Наконец я проникся уверенностью, что та безграничная любовь, которую я питал к Розали, исчезла. Когда я сказал ей об этом на следующий день, она решила, что я шучу. Ей трудно было поверить в это, потому что мое отношение к ней не изменилось. Моим желанием по-прежнему было сделать ее счастливой. Увы! Она не могла, не умела быть счастливой. Более того, она не переносила той обстановки счастья, которая ее окружала.

Когда гораздо позже я признался своей Жозетт из Кабри, что больше не люблю Розали, она возмутилась.

— Вы не летали бы на самолете каждое воскресенье, чтобы повидать ее, и не справлялись бы ежедневно о ее здоровье по телефону, если бы не любили ее!

— Жозетт, я больше не люблю свою мать, и, когда она умрет, я не пролью ни одной слезинки.

— Я вам не верю!

Однако я продолжал молиться, чтобы она попала в рай. Бог часто снисходил к моим мольбам, но порой мог сыграть со мной шутку. Вот, возможно, одна из них.

Я узнал, что мать в тяжелейшем состоянии. Лечу из Парижа к ней в Кабри, на юг Франции. Приглашаю священника. Она почти без сознания, ее причащают. Вскоре она

поправится, но рассудок ее будет уже не тот, что прежде. Я вспоминаю слова Иисуса: «Блаженны нищие духом...» Ответил ли он на мою мольбу, подшутив надо мной таким образом?

В то время, когда я играл Сирано в Лионе, я получил письмо от Розали. Оно начиналось словами: «Мой дорогой Альфред», исправленными на: «Мой дорогой Жан». Альфредом звали моего отца.

Когда Розали была здорова, она проводила время за писанием писем. И если мне случалось уезжать, я получал от нее по крайней мере по одному посланию в день. Со времени своей болезни она больше не писала, и моя Жозетт настаивала, чтобы она подала мне о себе весточку. Жозетт оставалась около больной, чтобы поддерживать ее и в то же время определять по почерку ее психическое состояние. Это она заставила исправить «Мой дорогой Альфред», сказав: «Вашего сына зовут Жан, а не Альфред».

Из письма было видно, что в первых строчках она обращалась ко мне. Но дальше она снова писала своему мужу. Я так надеялся узнать хоть что-нибудь. Увы! Ничего... Она подписалась: «Твоя любимая женушка Анриетта Маре». Тогда я позвонил Жозетт и просил ее позволить матери писать все, что ей хочется, в надежде узнать правду.

Когда я вернулся в Кабри, Жозетт рассказала, что, войдя однажды неожиданно в комнату матери, она увидела, как Розали рвала письмо и поспешно засовывала обрывки в рот. (Это напомнило мне булавки в полицейском участке.) С большим трудом Жозетт удалось уговорить ее отдать эти кусочки бумаги. Она заставила Розали открыть рот и забрала бумагу, которую отдала потом мне. «Нужно, чтобы ты узнал, что твой отец...» — это все, что можно было прочесть.

Розали была кроткой и милой. Но ее истинная природа быстро возобладала. С возрастом достоинства и недостатки проявляются все сильнее. Моя Жозетт проявляла беспримерную преданность, твердость и нежность. Но несправедливое отношение моей бедной мамы убивало ее.

Я полгода был без работы, следовательно, находился около Розали. Я смотрел на ее лицо, которое теперь было похоже на ее жизнь. Она едва владела своими деформированными руками, и я спрашивал себя, не было ли это знамением, предупреждением.

Она умерла 15 августа. Я не пролил ни одной слезинки. Жозетт только в этот день поняла, что я говорил ей правду. А вот Жозетт плакала. Это моя младшая сестричка. Ненастоящая, разумеется, поскольку так распорядилась судьба.

23

Как я уже говорил, Жан Кокто умер раньше моей матери. Это была самая тяжелая минута в моей жизни, вы поймете почему. Я снимался в фильме «Достопочтенный Станислас». Как-то ночью мне приснился сон, что Жан умирает в голубой комнате Розали. Я взял его на руки, спустился в столовую моего детства, положил его возле переносной комнатной печки и возвратил к жизни, массируя ему ноги. Этот сон произвел на меня столь сильное впечатление, что, придя на съемочную площадку, я рассказал его своим гримеру и костюмерше. Чтобы успокоить меня, они стали уверять, что, если видишь во сне смерть дорогого тебе человека, это продлевает ему жизнь на десять лет. Несколько дней спустя мне сообщили по телефону, что у Жана второй инфаркт. Я помчался на улицу Монпансье. Жан снова лежал на кровати в бывшей моей комнате. Я стал на колени у его изголовья. Подвижными были только его глаза, они излучали огромную нежность. Я положил свою руку на его. Он хотел что-то сказать, но я остановил его. Мне было мучительно больно сознавать свою глупость и беспомощность.

Жан, значит, я люблю тебя так мало, что не могу тебе помочь, не могу

поменяться с тобой жизнями, возрастом, не могу отдать тебе свою силу, свое здоровье! Сейчас приедет профессор Сулье. Не испытывая к тебе той нежности, которая переполняет мое сердце, он тебя вылечит. Он тебя вылечит, он тебя спасет.

Мы по-прежнему молчим, моя рука лежит на его руке. Его глаза устремлены на меня. В них нет страха, только доброта и понимание. Наверное, он догадывается, о чем я думаю. Кажется, он благословляет меня. Он должен страдать больше, чем любой другой, потому что более восприимчив.

Наконец приехал профессор Сулье, спокойный и уверенный. Он удивился, узнав, что морфий не оказывает действия. Он действительно не понимал или делал вид, что не понимает. Он увеличил дозу. Дважды в день он навещался к больному. Днем и ночью возле Жана дежурили присланные профессором врач и сиделка. Здесь же постоянно находились Эдуар Дермит, Франсин Вайсвайлер, домоправительница Мадлен и я. Крохотная квартирка была переполнена.

Кароль Вайсвайлер тоже была здесь. Друзья заходили узнать о состоянии здоровья Жана. Все старались производить как можно меньше шума, говорили только шепотом.

Профессор Сулье просит растирать Жану ноги синтолом, чтобы восстановить кровообращение. Делая массаж, я вспоминаю свой сон.

Через несколько дней Жану стало лучше. Он попросил, чтобы мы пошли на премьеру его пьесы «Человеческий голос» в «Опера-комик». Кароль, Дуду и я посмотрели этот спектакль. Вернувшись домой, мы сказали Жану правду: спектакль замечательный. Дениза Дюваль потрясает, она великая актриса, обладающая к тому же очень красивым голосом. Жан счастлив.

Все считают, что восстановительный период Жану лучше всего провести в моем доме в Марне, под Парижем, — он одноэтажный, с садом. Но Жан отказывается. По секрету мне сказали, что он не хочет, чтобы я узнал, что он снова курит опиум.

— Скажите ему, что я давно об этом знаю. Скажите также, что только две вещи имеют для меня значение: его жизнь и, его здоровье. И вообще сейчас не время поднимать этот вопрос. Кстати, я рассказал об этом доктору, поэтому он и увеличил дозу морфия.

Итак, Жан едет в Марн. Машина «скорой помощи» кажется ему верхом комфорта и роскоши. Он шутит: «Впредь я буду ездить только на машине «скорой помощи!»

Присутствие Жана придает смысл существованию моего дома в Марне. Он устраивает свой уголок, и все преображается. Его комнаты в отеле «Кастилия», на площади Мадлен, в «Отель де ля Пост» в Монтаржи, на улице Монпансье как бы возрождаются здесь. Масляная лампа, на которой он разогревает серебряные иглы для приготовления опиума, возвращает меня во времена чтения «Рыцарей Круглого стола». Я сижу на полу возле его кровати.

— Ты не сердись, что я курю опиум?

— Жан, я давно знаю об этом. Я ничего тебе не говорил, чтобы не выдать твоих друзей, которые мне об этом сообщили... Это и есть причина, по которой ты не переехал в Марн раньше?

— Да.

После первого инфаркта Жан отказался переехать. Когда я узнал причину, было уже поздно. Лечение от наркомании чревато большой опасностью. Он мог умереть. Я понимал это и молчал.

Теперь Жан вставал. Я гулял с ним по саду, поддерживая под руку. На нем был его любимый белый купальный халат, шея, как всегда, была туго перевязана платком.

Однажды в парке Сен-Клу, прилегающем к моему дому, появились репортеры. Они сидели на деревьях и фотографировали оттуда. Жан был еще в тяжелом состоянии. Просто непостижимо, как можно обладать такой наглостью, таким бесстыдством? Если бы Жан их увидел, это рассердило бы его до такой степени, что жизнь его оказалась бы в опасности. Я отвел его в дом.

В газетах появились снимки, сделанные с помощью телеобъектива. Жан походил

на них на привидение. Его купальный халат именовался в подписях под снимками «белым бархатным халатом».

Вскоре Жан снова начал писать — он делал заметки. Бумажные странички со своими записями он насаживал на железный стержень, укрепленный на деревянной дощечке. Профессор Сулье тоже считал, что Жану нужно вернуться к работе.

— Пьеса или книга будут для него слишком утомительными, — сказал он, — нужна какая-то легкая работа, типа корректуры или адаптации романа.

Я предложил Жану сделать адаптацию «Ученика дьявола» Бернарда Шоу. Он попросил принести ему перевод Амона. Речь шла лишь о том, чтобы осовременить текст. Жан сделал эту работу без напряжения.

Обычно во второй половине дня мы принимали многочисленных гостей: у Мориса Шевалье конечной целью прогулки был наш дом, Ростан заходил к нам по-соседски. Приходили родственники Жана. Сиделка и врачи стали нашими друзьями. Эдуар Дермит жил у нас.

Мне хотелось, чтобы эта насыщенная жизнь в окружении друзей длилась вечно. Но, поправившись, Жан вернулся в Мийи-ля-Форе, где я часто навещал его.

24

11 октября 1963 года.

Позвонил Дуду. Жан скончался от отека легкого. За полчаса до этого ему сообщили о смерти Эдит Пиаф. Он очень любил Эдит, но не это было причиной его смерти.

Как только он начал задыхаться, Дуду позвонил в больницу Фонтенбло. Кислородные подушки доставили слишком поздно.

Жизнь для меня остановилась. Не знаю, как я смог вести машину до Мийи.

Жан в своем костюме академика лежал на кровати, которую перенесли в гостиную. Рядом лежала красивая шпага, эскиз которой он сделал сам. Я вспомнил, как помогал Жану одеваться у Франсин Вайсвайлер перед приемом его в Академию. У меня было такое ощущение, будто я одеваю ребенка к первому причастию. Во всем этом было что-то абсурдное и трогательное, наивное и высокое.

Сейчас он лежит напротив зеркала большого шкафа. Я невольно вспоминаю, как он заставлял меня входить в зеркала, когда я отправлялся на поиски Эвридики. Как бы я хотел, чтобы смерть взяла меня за руку и действительно провела через это зеркало, за которым витает душа Жана! У его изголовья нет масляной лампы. А то бы я мог подумать, что, закончив курить, он закрыл глаза, чтобы к нему пришли его музы. Я едва осмеливался дышать, так боялся спугнуть их.

Я умер, ты живешь, и, тьму пронзая взглядом,
Я думаю, что нет страшнее ничего,
Чем вдруг однажды не услышать рядом
Биенья сердца и дыханья твоего.

Сколько раз, произнося эти строки, написанные тобой до нашей встречи, я надеялся, что мне не придется переживать эту страшную минуту!

В доме — газетчики, радио- и телерепортеры. Мне хочется послать их всех к черту и вернуться к Жану. Они крадут у меня драгоценные минуты. Уступая, я чувствую себя подлецом, я презираю себя за то, что сажусь перед камерами. В такую минуту допустимы лишь молчание, уединение.

Я переоценил свои силы. Перед телевизионной камерой я не могу справиться с волнением. Губы дрожат, в горле комок. Я борюсь с этой слабостью. Пытаюсь что-то сказать, держусь, чтобы не заплакать. И все-таки не могу сдержать рыданий и, извинившись, поспешно ухожу. Мне обещают вырезать эти кадры.

«Пари-Матч» хочет напечатать последнюю страницу из дневника Жана

«Прошедшее определенное».

Мы с Дуду нашли дневник на письменном столе. Но если опубликовать его последнюю страницу, то это больно заденет одну подругу Жана. Мы выбираем другую страницу, где речь идет о Поэзии.

Дуду убит. У него покрасневшие глаза и лицо мертвеца. Франсин и Кароль Вайсвайлер выглядят не лучше. Вечером я предлагаю остаться с Жаном. Но предупреждаю, что я не буду бодрствовать, я буду спать. Возле кровати стоит диван, над которым находится фреска Кристиана Берара, изображающая Эдипа и Сфинкса. Меня окружают предметы, которые мы любовно выбирали с Жаном. Они не все находятся на своих обычных местах из-за принесенной сюда кровати, на которой покоится Жан. Горят свечи, и это напоминает свет масляной лампы. Другого освещения нет. Я стою и смотрю на закрытые глаза моего поэта. Если бы я не верил в Бога, он заставил бы меня поверить в него. Мне кажется невозможным, чтобы такая душа, такое сердце, такой разум перестали излучать свои волны.

Я молюсь. Это все та же молитва. Мне не нужно ее менять, потому что каждую ночь я просил счастья для тебя. Неужели Бог посмеялся надо мной? Если счастье в смерти, неужели это оттого, что я просил его для тебя, он заставил тебя пройти через зеркало? Я наклоняюсь и целую Жана в лоб, затем в губы, сажусь на диван очень близко от него.

Я не буду бодрствовать, я буду спать. Мне кажется, что ты, лежащий здесь с закрытыми глазами, борешься с неизвестными силами, как делал это, создавая свои произведения. Я так старался тогда соблюдать тишину, что вскоре погружался в сон. Когда потом я просил за это прощения, ты меня успокаивал, говоря, что мой сон тебя вдохновляет, помогает творить.

Меня немного смущают твои одежды академика. Я предпочел бы белый купальный халат с пятнами от пепла. Твоя обнаженная шпага меня шокирует, хотя шпага эта мирная. Твои руки не созданы для нее. Твои руки созданы для дружбы и любви. Твои руки — это воплощение нежности и щедрости, простоты и элегантности. Это руки внимательного творца, гениального создателя. Гибкие, подвижные, таинственные, одновременно и необъяснимые и понятные. Твои руки — это руки художника, скульптора, короля. Твои руки — это руки поэта, доброго гения. Они коснулись меня в 1937 году, и я родился. Больше, чем мои родители, ты дал мне жизнь.

Ты писал мне: *«Я верю в цифру 7. Она всегда приносила мне удачу, и вот уже чет ыре года мне удает ся от гонят ь прочь все невзгоды благодаря нашей вст рече в 1937 году, кот орый, ничем не от личаясь для других, дал нам свободу и ст ал началом новой эры».*

Эта удача была моей еще больше, чем твоей.

Для тебя было бы удачей, если бы я смог осознать, какую огромную привилегию ты мне дал, позволив жить в тени твоего солнца. Если бы я довольствовался этим вместо того, чтобы стремиться блистать самому! Победы над несчастьем — вечным спутником поэта — разве этого не достаточно, чтобы удовлетворить честолюбие? Мне надлежало смиренно служить тебе. Благодаря тебе я родился в мире, где все было лучезарным, в мире, полном дружбы и любви. Даже когда ты лежишь здесь, на этой кровати, твое лицо все еще освещено добротой. Для тебя всегда самой важной была линия сердца. И твоя линия сердца вознесла тебя высоко над всеми модами и стилями. Кроме того, ты всегда опережал время. Думая, что ошибся датой, ты покидал место, а много позже видел, как твои находки входили в моду, но никто уже не помнил, что они принадлежат тебе.

Ты неустанно шел наперекор привычкам, сбивал всех с толку своей ошеломляющей и загадочной карьерой.

У тебя было много противников, что не помешало тебе идти впереди своего времени, когда ты перевозносил талант и поддерживал молодежь, к которой

принадлежал и я.

Мой Жан, я сожалею, что не научился большому, имея возможность быть с тобой рядом и наблюдать тебя. Мне стыдно за то, что я всего лишь тот, кем являюсь. Лентяи всегда использовали, говоря о тебе, одни и те же клише: чародей, волшебник, маг, фокусник. Причиной тому — твои находки, полвека приводившие людей в восторг.

Мне кажется, что одна фраза Паскаля написана про тебя: «Универсалам не нужны вывески, для них нет различия между ремеслом поэта и ремеслом вышивальщика».

Некоторые твои поступки остались непонятными, они сбивали с толку, потому что были продиктованы твоим сердцем — честным, безыскусным, неспособным к ненависти.

Ты страдал от причиняемого тебе зла, никогда не отвечая тем же. Более того, ты его забывал.

Разве не ты сказал однажды: «Удивляюсь, что они помнят то зло, которое причинили мне и о котором я забыл».

Еще ты написал на подаренном мне рисунке:

«Прости мне зло, которое я тебе не причинил».

Жан, я люблю тебя.

В моей спальне стоят два твоих бюста из бронзы в натуральную величину. Один из них сделал в начале нашей дружбы Аппель Феноза, второй — Арно Брекер незадолго до того, как ты ушел из жизни. Вот и еще один круг прочно замкнулся... Может быть, это последнее знамение судьбы.

Жан, я люблю тебя.

Ты сказал в «Завещании Орфея»: «Друзья мои, притворитесь, что плачете, потому что Поэт лишь притворяется мертвым».

Жан, я не плачу. Я буду спать. Я засну, глядя на тебя, и умру, потому что впредь я буду делать вид, что живу.